

НОВЫЙ МИР

H-76

83315

8

МОСКВА

1945

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1945 г.

№ 8

Год издания XXII

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТ. ФЕДИН — Первые радости, роман. <i>Продолжение</i>	2
ПЕТР КОМАРОВ — Стихи	19
Н. ЕМЕЛЬЯНОВА — Весёлогонские любители, рассказ	20
АЛЕКСАНДР ЖАРОВ — Дальневосточные стихи	30
БОРИС ЛЕОНИДОВ — Третья палата, повесть	31
ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ — Стихи. Перевод с грузинского Георгия Цагарели	73
П. БАЖОВ — Рассказы	75
К. ОСИПОВ — Смерть фельдмаршала, рассказ	84
ВИКТОР УРАН — Стихотворения	96
В. БОНЧ-БРУЕВИЧ — В. И. Ленин и Библиотека Академии наук	98
Б. СОЛОВЬЕВ — Романтика мужества (В. Каверин «Два капитана»)	103
О. ГРУДЦОВА — Рассказы Андрея Платонова	110
ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ	
А. СТЕПАНОВ — О книге «Порт-Артур»	114
БИБЛИОГРАФИЯ	
Л. БЛАГИНИН — Славянская библиотека	121
В. ДМИТРЕВСКИЙ — Роман Джамса Олдриджа	125
ОЛЬГА БОРОВКОВА — Стихи А. Суркова	127
НОВЫЕ КНИГИ	129

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ

Роман*

КОНСТ. ФЕДИН

★

29.

В хмурые ветреные дни поздней осени Пастухов редко выходил. Он отыскал стряпуху, служившую долгое время его отцу, и с каким-то удовольствием старого байбака, обложившись книгами, воюя с героями своей незадавшейся пьесы, уминал лапшевники, пшенники, картофельники — немудреные произведения русской кухни, для разнообразия изготавливая собственноручно турецкий кофе и глинтвейн. Как никогда, он прислушивался к настроениям одиночества, окрашенным полутонами неувольнимого бледного колорита, словно картины французов конца века, которые он любил созерцать и которые вызывали в нем особую, грустную любовь к жизни.

В таком замкнутом, слегка разнеженном состоянии он вышел погулять незадолго до сумерек. Сухие от ночных заморозков мостовые были все еще обильны летней пылью, и она крутилась желтыми конусами смерчей, поднимаясь над домами, затягивая перспективы неприветливой мутью. Протирая глаза платком, Пастухов добрался до главной улицы, нашел ее унылой, безлюдной и хотел было возвратиться домой, когда заметил небольшую кучку людей у окна «Листка». Он мало читал газеты и решил узнать новости.

Прохожие теснились, пригибаясь к стеклу, за которым висели развернутые страницы последнего номера. Через неподвижные головы Пастухов увидел рамочки объявлений знакомых магазинов, театральные анонсы, портреты новых членов городской Управы. Среди них выделялся очень толстый, рябой коммерсант, примелькавший на улицах своей представительной походкой деятеля, за что его и избрали, как прирожденного отца города. Ничего занятого в газете не было, хотя читатели льнули к стеклу, продолжая си-

литься разобрать в нараставшей темноте слепой шрифт.

Вдруг вспыхнули оконные лампочки, и на загоревшейся желтым светом полосе Пастухов прочитал ничем не отличный от прочих заголовок: «Исчезновение Л. Н. Толстого». Взгляд быстро схватил первые фразы: «Потрясающую весть принес телеграф. Исчез из дома неизвестно куда великий писатель земли русской...» Пастухов протер крепче глаза. Пыли набилось много, она царапала веки, слеза набегала больше и больше. «...видимо, тяготился тем, что ему приходилось жить в некотором противоречии с своим учением, на что многие довольно бесцеремонно и указывали. Чуткая душа Толстого не могла не страдать от этого...»

— Что такое? — сказал Пастухов, наваливаясь всем телом на чью-то спину и перескакивая напряженным взглядом через рябившие строчки. «...От собственного корреспондента... Местопребывание неизвестно. Первые поиски безрезультатны... Графиня Софья Андреевна покушалась на самоубийство... велел заложить лошадей и... Вечерние телеграммы. Вчера в 1-м часу ночи семья Толстого вся в сборе... Горе семьи, особенно Софьи Андреевны, не поддается описанию...»

Кто-то неприятно дернулся под плечом Пастухова, и, поддаваясь чужому движению, он отошел прочь. Ноги вели его туда, куда он шел, прежде чем остановиться у газеты. Однако он ощущал, что над ним совершается насилие, что он должен вести себя иначе, потому что думал совсем не о том, что его занимало минуту назад. Он круто повернулся и снова подошел к людям у окна, грубо протискиваясь к стеклу.

«...Один землевладелец Одоевского уезда видел Толстого в поезде Рязанской дороги, между Горбачевым и Велёвым, на пути в Оптину пустынь...»

— Позвольте, — проговорил Пастухов, ни к кому не обращаясь, в возбужденном

* Продолжение. Начало см. «Новый мир», 1945 г., №№ 4, 5—6, 7.

недоумении, — какое сегодня число? Ведь это — старая газета.

— Вчерашняя. Иначе не выходила, — отозвался благовидный человек, деликатно уступаая свое место.

— Сегодня, наверно, известно, что произошло! — громко спросил Пастухов.

— Вы про Толстого?

— Ну да. Что это значит? — опять говорил сразу со всеми и уже отворачиваясь от окна, сказал Пастухов.

Он увидел очень разные лица, каждое на свой лад молча отвечавшее ему, — какого-то глянцево бритого, в морщинах, елеяного верзила, похожего на архиерейского певчего, потом — аккуратно застегнутого косенького старца в новой шляпе, рядом с ним — безусого молодца, глядевшего с крайней жестокостью, двух гимназистов, и между ними — бросающего вызов, видимо требовательного рабочего мужчину в огненных перьях давно не стриженных волос, наконец — того благовидного человека, напоминавшего похвального банковского службиста, который уступил место. Отвечая Пастухову наполненными жизнью то лукавыми, острыми, то скрытыми, насмешливыми или сочувственными взорами, эти люди выжидали, когда завяжется настоящий разговор.

— А ежели вы наблюдали, то, конечно, знаете, что животное, например, кошка, чувствуя приближение смерти, покидает дом и ищет места, где может спокойно умереть, — произнес косенький старец в очень бесстрастном разъясняющем тоне.

— При чем тут кошка? — оборвал Пастухов.

Гимназисты засмеялись, верзила свысока повел на них глазами.

— При том, — терпеливо продолжал старец, — что тем более — человек, существо высокое, даже, возможно, высочайшее во всей природе, хочет умереть вдали от суетных, от праздных интересов.

— Не знаю, — сказал Пастухов, задумываясь.

В нем как будто исчезло обычное жадное его любопытство к внешнему миру, заменившись настойчивым, единственным вопросом, который он задавал самому себе и все же не мог бы с точностью этот вопрос выразить.

— Чего тут разговаривать? — пренебрежительно мотнул головой жестокий молодец, — вышел старик из ума, а об нем два дня только и калякают.

— Умен! — вызывающе-кратко сказал огненный мужчина.

— Я полагаю, — вмешался благовидный человек, тихо дотронувшись пальцем до рукава Пастухова, — Лёв Николаевич ушел, в конце концов, от нас с вами.

— Не Лёв, а Лев, — сказал один гимназист.

— Почему — от меня? — недовольно спросил Пастухов.

— Не от вас лично, а от нас с вами, — пояснил человек и обвел скорбным взглядом все общество.

— И я бы тоже от вас ушел, — сказал жестокий молодец, повернулся и широко зашагал через дорогу.

— Тебя бы выгнали, вот ты бы и ушел, — напутствовал его огненный мужчина.

Пастухов невежливо раздвинул людей руками и отошел в сторону. Прочитав на стеклянной двери крупную белую надпись: «Редакция», он с размаху открыл вход и, перескакивая через две-три ступени лестницы, взбежал на второй этаж.

В комнате, за конторкой, заваленной влажными полосками газетных гранок, стоял корректор — кудрявый блондин в пенсне на скрученном черном шнурочке, с вонючей трубочкой во рту, в старом семинарском сюртуке, из-под которого виднелись ноги колесом.

— Я — Пастухов, — сказал Александр Владимирович, снимая шляпу.

Корректор вынул из рта трубочку, смахнул пенсне и отпил из стакана большой глоток холодного дочерна настоянного чая. Очевидно, справившись таким образом с некоторым волнением, он пожелал узнать, чем может быть полезен.

— Что известно о Толстом? Он обнаружен?

— Он болен. Он сошел с поезда в Астапове.

— Где это?

— На нашей дороге. Не так далеко.

— Есть подробности?

— В наборе. Сейчас принесут гранки. Вся Россия пишет только о Толстом. Хотите вот пока почитать, это все пойдет в завтрашнем номере.

Он отобрал несколько гранок и положил их на круглый стол за баллюстрадой, отделявшей половину комнаты. Пастухов шрошел к столу.

Он увидел прежде всего три портрета Толстого — оттиски поблескивавшей глянцевитой сажи, от которой свежо веяло керосином и аптекой. Это были с детства известные портреты — по школьным хрестоматиям, по цветным обложкам копейных книжечек, по упругим вкладкам к большому, непереломному томам. На одном из портретов Толстой показался Пастухову особенно живым — большоголовый старик с огромной, точно ветром наотмашь откинутой вбок пышной бородой, с пронзающе-светлым взглядом из-под бровей и в раскосмаченных редких прядях волос на темени. Старик думал и слегка сердился. Удивительны были морщины взлетающего над бровями лба — словно по большому полю с трудом протянул кто-то сохую борозду за бороздой. Седина была чи-

стой, как пена моря, и в пене моря спокойно светилось лицо земли — Человек.

У Пастухова оборвалось дыхание. Вдруг он понял, что с этим Человеком он родился, вырос, жил изо дня в день, не замечая его, не думая о нем, как не думают о воздухе. Пугающее изумление охватило его, подобное изумлению ребенка, внезапно потерявшего отца, за спиной которого жилось бездумно и просто. Он смотрел и смотрел на голову старика. Странно летели его мысли. Почему-то больше всего ему вспоминалось детство и какая-то причиненная взрослыми и не понятая ими обида. Потом он думал, что теперь надо переменить жизнь, начать ее по-другому — начать с необыкновенной ясности. Потом ему показалось, что начинать надо именно с побега, с бегства, как начинает новую жизнь каторжанин, убегая из острога. Затем он сказал себе, что все это — чепуха, и взялся за гранки.

Редакционная статья, под названием «Великая совесть», начиналась словами: «Великая душа великого старца не могла дольше выдержать того обычного существования, той лжи времени, в которой ей приходилось биться и трепетать...» Пастухов не мог сосредоточиться и вырывал глазами куски текста откуда придется. «Условность и искусственность так называемого «цивилизованного общества», отгородившегося китайской стеной от простого народа...»

Он отодвинул одну гранку, взял другую. «Он ушел и не ищите его, — возглашала следующая статья. — Он ушел! Взял небольшой чемоданчик с любимыми книгами, надел рабочую блузу, крестьянские сапоги и ушел... Он уединился теперь, чтобы не только свободно жить, но и... кто знает? — свободно умереть. Если ему не удалось до сих пор устроить жизнь, как он хотел, не в праве ли он требовать, чтобы ему дали умереть, как он хочет?.. не желал ли он похорон по крестьянскому «разряду», — в розвальнях, в телеге, в некрашеном гробу?..»

— Что за дьявол! — воскликнул Пастухов, отшвырнув гранки. — Заботятся о его праве умереть! Но кто дал право хоронить живого человека?!

В комнате никого не было. Он опять пододвинул к себе полоски бумаги и стал читать: «Не только великие люди, а самые обыкновенные, чувствуя приближение смерти, часто ищут одиночества. Они отворачиваются к стене от семьи, от друзей и просят оставить в покое... Не ищите же его! Он сам просит его не искать и оставить в покое. Разве не долг наш свято исполнять волю уходящих от нас в путешествие, из которого нет возврата? Толстой не даром сказал, что он не вернется. Он ушел, но не старайтесь найти след старческих ног. Не бойтесь! Он не умрет, он

не погибнет! Дайте ему теперь покой, а жить он будет вечно».

Явился корректор со свежими гранками. — Послушайте, — вскинулся Пастухов, — вы понимаете что-нибудь? Я ничего не понимаю. Толстой жив?

— Жив.

— Почему же его отпевают? Ведь это уже — тризна!

Корректор надел и тотчас смахнул с носа пенсне, пососал затухшую трубочку.

— Да, конечно, — ответил он, шурясь с застенчивостью близорукого и покачиваясь, — конечно, немного противоречиво.

— Немного? Ну — если немного!..

— Знаете ли — глас народа. Народ понимает так, что — позвала смерть. А насчет противоречий — что ж? Я перечитываю все по два, по три раза и дивлюсь. Заключают: оставьте его в покое, не ищите, не трогайте, не мешайте, уважайте волю — все, как один, а нате-ка, посмотрите.

Он протянул гранки.

Пастухов вдруг с загоревшимся любопытством стал пожирать, одну за другой, телеграммы, сообщавшие подробности бегства Толстого из дома, поиски следов беглеца по железным дорогам, на станциях, по монастырям, пересказы со слов очевидцев и родных, домыслы, слухи, толки. Он читал, и ему хотелось знать все больше, все пространнее, как будто проникновение в далекую, загадочную, трепетавшую судьбу могло утолить какую-то раскаленную потребность. Он читал, и непонимание события возрастало в нем все мучительнее.

Он вытер мокрый холодный лоб.

Уже отчетливо видел он в черной ночи приземистый выбеленный корпус скотного двора, у которого наспех закадывают выведенных из конюшни храпящих лошадей. Испуганный свет фонаря, задуваемый ветром. Чемодан, всунутый наугад в повозку. И маленького старика поодаль — в дождевике с капюшоном, из-под которого выглядывает смятая, белая, как пена, борода. Скорее, скорее, — торопит старик, вглядываясь в темноту, туда, где за стеною густого парка, стонущего от ветра, прячется барский старый, огненные навечно покинутый, брошенный дом. Скорее, скорее — могут застичуть, не пустить, удержат слезами, воплями, криком. Скорей.

— Но зачем, зачем? — вслух спросил себя Пастухов.

И тут же, словно отвечая ему, глаза его выхватили из колонки текста отрезвляющую, горькую фразу: «...Так, впрочем, в жизни всегда: когда мы делаем самые скверные вещи, это всем кажется самым естественным, а когда сделаем то, что надо, — все поражены и не могут с этим осесть».

Он встал и пошел к выходу.

— Разрешите... я сказал о вас... — заговорил беспокойно корректор, отрываясь

от своей конторки, — вас очень просят в редакторскую, вас непременно хотят видеть...

— Потом, потом, потом! — отмахивался Пастухов, быстрее и быстрее сбегая вниз.

Он торопился по улицам — неизвестно куда. Спустившись по взвозу, он повернул назад, в гору, и тотчас опять направился вниз, почти до самой воды. Тьма пеленала Волгу. Бедные сигналы бакенов, казалось, умирали от бессилия. Огни пристаней были жидки. Шум волны упивался своим всеильным господством. Сеяло тонким, как крупчатка, дождем.

В промозглой мгле Пастухов стоял на краю каких-то высоких скользких мостков, нахлобучив мокрую шляпу, засунув руки глубоко в карманы. Он чувствовал свое совершенное одиночество, но уже не в тех тончайших оттенках, которые доставляли грустную усадлу, а в безжалостном, грубом тоне все заливающей собою, беспроектной тьмы. Он уже был убежден, что уход человека, неожиданно овладевшего самым хребтом его сознания, был не просто уходом, но был уходом-смертью. И как обычно в этом мире, действительно важные события непоправимы, так и это событие было до очевидности непоправимо.

Дождь загнал Пастухова домой. Развесив промокшую одежду по стульям, он закутался теплее в кровати и уснул удушающим, неприятным сном.

Наутро он опять был в редакции. Все, что он читал с вечера, было напечатано в газете. С портретов глядел, как будто рассерженнее, чем вчера, живой старик. Взор его показалося Пастухову по-мужичьи умным. Из-под усов проскакивала хитрость вместе с укором и усмешливым презрением над суетой бытия.

Редактор, похожий на угодника Николая — в овальной бороде, с белой скобой волос вокруг лысины, — не спал три ночи, и белки его глаз замутила ржавая краснота. Моргая и посапывая, он разложил перед Пастуховым последние телеграммы.

Земной шар сместил свое тяготение. Земля тянулась к маленькой станции, название которой в один день сделалось вторым именем Толстого. Никто не должен был знать, куда скрылся гонимый высоким желанием старик — и весь мир узнал, где он. Никто не должен был знать намерений его души — и весь мир был посвящен в его тайный замысел. Никому не должно было быть дела до его самочувствия — и весь мир начал заниматься его температурой, хрипами в груди, пищеварением, пульсом. Все понимали, что наступил момент, когда надо посторониться и помолчать — и все теснились, лезли, устраивали давку и болтали, болтали, болтали. Ни у кого не было сил сдержаться, все выбежало на гигантский, открытый четырем ветрам базар мира.

Из столичных газет телеграф сыпал статью за статьей. Все они начинались и кончались словом — ушел. Ушел, ушел, ушел! — повторяли газеты, как будто до этой минуты все были счастливы и спокойны единственно потому, что Толстой никуда не уходил из своей Ясной Поляны, и тотчас потеряли покой и счастье, едва он ушел, — «...ушел от мира, как ушел на склоне дней своих легендарный пророк Моисей, как ушел Будда, возвестивший миллионам людей свое учение...»

— От кого ушел Будда? — спросил Пастухов.

— От супруги своей Ясодары, — ответил редактор.

Он ждал, пока Пастухов окончит чтение, и, едва тот оторвался от телеграмм, обратился к нему, говоря, по усвоенной редакторами привычке, от своего имени во множественном числе:

— Мы просим вас написать статью об уходе.

— У меня нет никаких мыслей. Нет ничего, кроме смятения.

— Напишите о смятении.

— Зачем? — искренно удивился Пастухов.

— Это необходимо. Не говоря о вашей известности, вы — наш земляк.

— Вряд ли это освобождает меня от обязанности писать только тогда, когда есть мысли.

— Довольно будет ваших чувств. Писание вашего имени в газете будет означать, что пресса сочувствует вам. Ведь в городе известно, что вы замешаны в политическом деле.

— В политическом деле? — еще больше удивился Пастухов.

— Не скрывайте. Для нас нет тайн, — вкрадчиво произнес редактор, и лик его изобразил иконописную всепонимающую скорбь.

Улыбнувшись озорной улыбкой, Пастухов сказал:

— Хорошо. Я попробую. Но я буду писать о жизни, а не о смерти. Буду писать о живом Толстом.

— Это прекрасно! — вздохнул редактор, задремывая от усталости.

Чем ближе подходил Пастухов к дому, тем глубже вселялось в него энергичное возбуждение. Силы приливали к душе, увлекая ее, заманивая к большому делу: его чувство сольется с чувством мира, его голос зазвучит в общем плаче, — нет, нет! — в общем славословии! Он напишет, напишет о необъятном сердце мира, о сердце России!

Он нарезал четвертушечками бумаги и уселся. Он хотел сказать о том, что сердце России не могло выпустить за свои пределы человека, принадлежавшего ему, как сама тайна жизни, без которой нет сердца. Человек хотел уйти в неизвестность, но это намерение противоестественно, пото-

му что часть не может уйти от целого. Природа возстала против бунта и удержала то, что ей принадлежит. Человек оставлен там, где он всегда был и где всегда будет — в сердце России. Астапово овеяется теми ветрами, какие дуют в Ясной Поляне. Кругом — все та же крестьянская Русь, земли Пензы и Тамбова, земли Воронежа и Саратова, Тулы и Рязани. Они породили этого человека и удержат его в своем лоне навсегда.

Пастухов перечитал исчерпанные чет-вертушки. Ему показалось — мысль сводится к тому, что человеку уготована могила там, где он жил, и что он — Пастухов — коленопреклоненно копает, вместе с другими, эту могилу. Он зачеркнул написанное и походил по комнате.

Другая мысль пришла ему на ум, и он опять принялся за работу. Ему представилось, что культура есть замкнутая цепь принужденного движения. Эту формулу он взял из механики, определяющей такими прекрасными словами понятие механизма. Вся жизнь мыслящего человека раскинулась перед ним, как бесконечная передача зубчатых колес. Он вспомнил, что Пушкин еще писал «Капитанскую дочку», а молодой Герцен уже пошел в ссылку. Будущее Герцена перенимало движение колеса, которое должно было вскоре остановиться. Какое множество зубцов соприкасалось с колесом Толстого! Кто переймет его движение? Не испытывал ли Пастухов в себе частицу силы, переданной людям этой великой жизнью?

Он зачеркнул и эти строки, улыбнувшись: соединять себя даже отдаленно с размышлениями о Толстом ему почудилось мелко. Он решил сварить кофе. Открыв буфетик, он вдохнул горький, пряно-нежный, горелый аромат кофейных зерен и почувствовал освежение. Он обладал обаянием муки и оживал от запахов, точно прикасался к радостному смыслу существования. Он размолот зерна в мельнице, зажав ее коленками и прислушиваясь к хрустящему треску зубчаток, как к музыке. Ополоснув кофейник, он зажег спиртовку. Пока закипала вода, он курил. Мысли его торкались в разные концы, как в двери. Двери стояли настежь, но вызвали в пустые комнаты. Он подумал, что Толстой, наверно, выпил бы сейчас с наслаждением крепкого кофе, а ему дают овсянку, сваренную на воде: в одной из телеграмм сообщалось, что он поел овсянки. Пастухов засыпал кофе и дал вскипеть. Обжигаясь, он выпил чашечку крошечными глотками. В голове прояснело, он поставил себе вопрос: что главное в Толстом? — и сразу ответил: главное — любовь.

Он побежал к столу, налив вторую чашку кофе.

Он описал известное России Дерево бедных. Над площадкой перед яснополянским домом простерло ветви старое дерево. На нем повешен колокол. Каждый, кому нужна помощь, кто хочет услышать доброе слово, может притти к дереву, ударить в колокол и ожидать в тени листы, на скамье, когда выйдут из дома. Под Деревом бедных найдется место всем, кто верит, что человек человеку — брат. Может быть немногим усталым довелось вкушать отдохновение под его шатром. Но каждый живет с сознанием, что в гнетущую минуту горя, отчаяния, нужды можно направить свои стопы под этот шатер, поднять руку к колоколу и позвать на помощь. В час смерти того, кто поставил под деревом скамью и повесил колокол, угаснет надежда отчаявшегося, исчезнет сень бедняка. Появится дерево, заглохнет колокол. Россия, куда ты пойдешь за словом любви?

Пастухов перестал писать и отдался тому оцепенению, в котором замирает мысль. Потом сбросил бумагу на пол отчаянным размахом руки. Нет! Он хотел писать возвышенно, а выходило слезливо. Против воли он думал о смерти, только о смерти, и о чем бы ни начинал — смерть приглядывала за ним проваливающимися глазами. Он разогнул спину, подошел к постели, присел, привалился к подушке и неожиданно проспал весь день и вечер до полночи.

Назавтра он явился в редакцию, чтобы признаться в своем бессилии. Заранее он придумал отговорку: он — только театрал, художник, он знает свой шесток, язык газеты ему не подвластен. Но сонного редактора нисколько не огорчила его неудача.

— Не важно, — сказал он. — Мы решили просить вас поехать нашим корреспондентом в Астапово. Это сейчас было бы ценно для нас, а вам, конечно, соблазнительно.

— О, разумеется. Однако это невозможно по причине, которую вы сами вчера называли, потому что я замешан в политическом деле и обязан подпиской о невыезде.

Пастухов проговорил это гордо и даже несколько торжественно.

— Ничего, — утешил его редактор с проницательным выражением, которое означало, что он привык к тому, что литераторы набивают себе цену. — Мы попробуем вам помочь. Садитесь, пишите просьбу прокурору палаты и отнесите ее сейчас же. А я попробую поговорить с камерой прокурора по телефону.

Пастухов взволнованно принялся сочинять прошение. Он почуял дохнувший издалека аромат свободы. Один за другим вспыхивали перед ним планы положить конец возмутительному недоразумению и вырваться из надоевшей провинции. Его

корреспонденции из Астапова обратят на себя общее внимание, и столичные газеты немедленно добьются его переезда в Петербург. Или, еще лучше, он заболит в Астапове, и болезнь потребует лечения в московских клиниках. Или, просто, он без всякого разрешения выедет из Астапова в Петербург и лично подаст жалобу на охранку министру внутренних дел. Словом, Астапово — подарок судьбы, хрустальная пробка, недостающая, чтобы закипеть, наконец, тот застывший горшок, в который Пастухов попал, как кур.

Свет повеселел в его глазах, когда он шел к дому судебных учреждений. Буйно махали ему оголенные деревья из Липок, приветствуя его молодую надежду. Народ спешил по улицам, довольный, что свистит ветер, кувыркающий над крышами серые тучи. Гимназистки оборачивались на Пастухова, точно на знаменитость, и ему слышалось, что они шепчут: вон пошел Пастухов! Он едет в Астапово! Читали, как он написал про Толстого? Право, давно уж не выдавался такой бодрый, такой звучный день.

У самого входа в камеру Пастухов встретил Ознобишина. Одетый по-осеннему — в черное — кандидат в высшей степени учтиво снял фуражку и очень тонко — так, чтобы ни в коем случае не попасть впросак — замедлил ход, давая понять, что готов остановиться. Пастухов поздоровался.

— Вы к нам? — почти обрадованно справился Ознобишин.

— Да, с прошением к господину прокурору. Мне необходимо срочно выехать в Астапово.

— Мы уже знаем. Товарищу прокурора телефонировали из редакции, и он обещал доложить вечером его превосходительству.

— Вечером? Но вы видите сами — дорога каждая минута. Ведь Толстой...

— Разве так безнадежно?

— У нас крайне тревожные сведения, — важно сказал Пастухов.

— Да, — с придыханием посочувствовал кандидат, — горе мира.

— Я вижу, вам оно близко, — сказал Пастухов благодарным тоном. — Я прошу вас сделать зависящее, чтобы я мог уехать.

— Позвольте ваше прошение, я передам товарищу прокурора. Вам незачем утруждаться.

Быстро приблизившись к Ознобишину и взяв его под руку, Пастухов заговорил так, будто был с ним давно накоротке, и уже не сдерживая налетевшее вдохновение выдумки:

— Я вам скажу свой план. Астапово — на нашей дороге. Туда идут, один за другим, экстренные поезда. Дорога готова сделать все. Наша пресса должна дать са-

мые верные подробности о том, что происходит у великого овра. Честь города. Мы будем впереди столиц. Если через час у меня в кармане разрешение на выезд — я отправлюсь с экстренным поездом днем, и ночью буду в Астапове.

Мигая, он глядел на Ознобишина в упор.

— К сожалению, доложить его превосходительству раньше вечера невозможно, — сказал кандидат.

— Бог ты мой! — громко вскрикнул Пастухов. — Ведь подумайте — Толстой!

— Я понимаю, но... его превосходительство... — извиняясь, улыбнулся Ознобишин.

— Но что же это у вас за неповоротливое заведение! — оттопыривая губы, прогудел Пастухов.

— Не заведение, но суд, — заметил кандидат, как бы в шутку, однако, высовывая свою ручку из руки Пастухова. — И уже не столь неповоротливый.

— Ах, не мне это слышать! Как ваше имя, отчество? Анатолий Михайлович? Не вам говорить, Анатолий Михайлович!

— Почему же, Александр Владимирович? — нимало не чувствуя себя пристыженным, наоборот, с некоторым кокетством полюбопытствовал кандидат.

— Ну что же вы спрашиваете? Глушесть история со мной тянется вот уж какой месяц, и вы все держите меня на привязи, как дворняжку, — сказал Пастухов, обиженно.

— Ах, что вы, — застеснялся Ознобишин. — Могу вас заверить — дело близится к концу.

— Не верю, — отвернулся Пастухов.

— Я не вправе сказать с точностью о положении дела, но вопрос решается днями.

— Не верю, не верю! — в отчаянии отмахивался Пастухов.

Тогда уже кандидат сам взял совершенно доверительно Пастухова под руку и, отводя его от подъезда, у которого они стояли, проговорил пониженным голосом:

— Между нами. Строго между нами. Судебное следствие задерживается единственно за нерозыском одного обвиняемого. Вы знаете — кого?

— Откуда я могу знать? Что за отношение я имею к какому-то там розыску?

— Не розыскан может быть главнейший персонаж дела — Ратозин, — тихо произнес Ознобишин, скосив на Пастухова пристальный глазок и замедляя шаг. — Заочно приговор по столь важному делу вынесен быть не может, и потому дознание протекало длительнее обычного. Однако...

— Ах, ты, господи! На кой мне, прости, чорт, все это? — плаксиво и протестующе перебил Пастухов. — Я хочу одного — чтобы вы с меня сняли подписку!

— Скоро! — прошептал кандидат с каким-то братским участием.

Пастухов остановился, проникновенно посмотрел на Ознобищина и, горячо схватив его женскую руку, потряс ее так сильно, что кандидат скривил губы.

Передав ему прощение и еще раз взяв обещание сегодня же получить ответ прокурора, Пастухов пошел бродить, наслаждаясь еще больше возросшим удовольствием от бодрого ветра, оживленных прохожих, звона трамваев, резвого цоканья рысakov.

Он обедал в ресторане, варил дома кофе, складывал чемодан, вытряхивая костюмы, прикидывая в уме — как оденется в Астапове, если понадобится траур, и какую сорочку наденет, когда, в Москве, пойдет в театр говорить о пьесе. В сумерки он отправился в редакцию, но, узнав, что ответ прокурора ожидается только часам к одиннадцати, весь вечер не мог найти себе места, болтаясь по городу.

Он забрал в синаматогрaф. Тапер им-провизировал на пианино драматические переживания, и экран колыбался под взрывами его неуждержных аккордов. Пышная, крупная Женни Портен — блондинка с выпуклыми молящими глазами Брунгильды, тяжело страдала на полотне. Свет дрожал, и его луч часто пересекала большая мечущаяся осенняя муха. «Санта Лючия, санта Лючия», — разрывалось пианино, и Женни Портен рыдала.

На улице было тихо, казалось, ночь затаилась в ожидании нового ветра, который собирался на смену дневному, где-то вдалеке, за Волгой. Огни в домах были редки. Переставали хлопать калитки, и целые кварталы Пастухов миновал, не встречая ни души.

Он переступил порог редакции заполоночь, едва владея собой от нетерпения. Редактор поднял над столом голову и, не дожидаясь вопроса, сказал:

— Дорогой мой, не получилось. Прокурор отказал.

Пастухов медленно опустился в кресло.

— Но это — увы! — сейчас уже не имеет значения. Мы получили известие, что Лев Николаевич...

Он привстал с опущенной головой и говорил, стоя:

— ... скончался.

Пастухов почувствовал, что тоже должен встать, но не мог и только наклонился туловищем вперед.

— А вы не знали? — спросил редактор. — Слух уже пошел по городу, публика обрывает наш телефон. Мы ждем только подтверждения телеграфного агентства.

Пастухов молчал. Все кругом было лишним и каким-то обманным — аккуратные гранки, на столе, толстый красный карандаш, большой козырек лампы и — в тени — мертво поблескивающая лысина в скобке седых растрепанных волос.

— Все кончается на этом свете, — измученно шамкнул редактор.

Пастухов протянул на прощание руку.

Его удивила тишина, царившая во всех углах. Но, проходя узенькими сенями, он услышал внезапный пронзительный звонок телефона и, точно освобожденный, ринулся вниз по лестнице.

30.

Вбежав в гостиницу, Пастухов принялся стучать в номер. Никто не отзывался. Но он стучал и стучал. Ему необходимо было говорить, и говорить он мог только с одним человеком, только этот человек услышал бы его смятение и отозвался бы, как друг.

Пастухов повернулся спиной к двери и начал бить в нее каблучком. Он слышал, как выскочил и звонко подпрыгнул на полу ключ. Потом неожиданно дверь распахнулась, и он увидел Цветухина в белье, с обнаженной грудью, босиком. Мгновение они молчали. Медленно и мягко Цветухин взял его за руку и втянул в комнату.

— Давно бы так, — проговорил он счастливым голосом. — Ведь глупо было, ей-богу.

— Конечно, глупо, — ответил Пастухов с мгновенным облегчением и так просто, будто вообще ничего не произошло между ними.

Они трижды поцеловались и, обнявшись, похлопали друг друга по спинам.

— Послушай, а? Толстой-то, а, — сказал Цветухин.

— Ты уже знаешь?

— Знаю.

Они не разнимали объятий, стоя посередине тесной комнаты, с раскиданной на стульях одежды, с двумя развороченными кроватями, и Пастухов ощущал ладонями сквозь тонкую рубашку горячую, податливую, глубоко раздвоенную хребтом спину Цветухина, и опять похлопал ее с любовью.

В ту же минуту они слышали громкий свистящий шопот:

— Царица небесная! Матерь божия! До чего хорошо!

— Мефодий. Болван, — улыбнулся Цветухин, глядя через плечо Пастухова на приотворенную дверь.

Мефодий с грохотом ворвался в комнату.

— Милые мои, родимые! — вскрикнул он, взмахивая руками и бегая вприпрыжку вокруг друзей. — До чего хорошо! Умники, золотые мои! Сердце захолонуло от радости! Наконец-то, наконец! Ныне отпущаеши! Отпраздновать, отпраздновать! Егор, а? Александр Владимирович! Отпраздновать победу разума человеческого над очерствением сердца. Омыть в вине смертный грех вражды и озлобления!

— Да ты, я вижу, омыл, — сказал Пастухов.

— В предвкушении, в предчувствии радости! — бормотал Мефодий, хватая при-

телей, дергая, толкая их, отскакивая, чтобы лучше видеть со стороны, и снова кидаясь к ним.

— Ну ладно, чорт с тобой — заказывай, — с удовольствием разрешил Цветухин.

Мефодий изо всей силы начал давить кнопку звонка, в то же время высунув голову за дверь и крича в коридор:

— Дениска! Дениска!

— Ты что? Хочешь поднять всю гостиницу? — приструнил Цветухин, — ступай в буфет сам, налаживай.

Спустя четверть часа Мефодий — самозабвенный, священнодействующий, притихший — с неуклюжей помощью Дениски звонел посудой, накрывая на стол. В безмолвии все дожидались, пока бутылки займут центральное место и, окружая их, как цветник окружает постамент памятника, рассядутся клумбами тарелки разноцветной снеди.

— Со страхом Божиим и верою приступити, — прошептал Мефодий.

Комната была прибрана, Цветухин одет, все приобрело достойный вид, и — с уважением друг к другу, даже почтительно — товарищи разместились за столом.

— Что же, — сказал печально Пастухов, — поминки?

— Да, в самом деле, — будто спохватился Мефодий, — как же это? Как же теперь, а?

— Вот так, — ответил Пастухов и налил водки.

Закусив неторопливо, с глазами, исследовавшими тарелки, они друг за другом вздохнули, и Цветухин повторил полувопрос:

— За упокой души, выходит, а?

Еще выпили и поели заливного судака с лимоном.

— Покойник не одобрял, — сказал Мефодий, щелкнув жестким ногтем по графину и с сожалением качая головой. — Это в его полезной деятельности единственная проруха. Можно извинить. Зато какую сбедню закатыл полам!

— Да, вам влетело, — заметил Пастухов.

— С какой стати — нам? — обиделся Мефодий. — На ногах наших даже праха поповства не осталось. Мы суть протестанты. Разрывом с семинарией мы спешествовали великому делу великого Протестанта!

— Вы есте спешествователи, — с издевочкой проскандировал Пастухов и пододвинул пустую рюмку. — На-ка, ритор, налей.

Они весело чокнулись, и уже с загоревшимися взглядами, но опустив голову, Пастухов произнес очень тихо:

— Я вижу, куда клонит, — он кивнул на бутылки. — Поэтому, покуда мы не пьяны, хочу сказать о том, который больше не вернется, — он сделал паузу. — Я все время думаю: почему — побег? Почему — ночью,

с фонарем, с факелом, сквозь тьму? От супруги своей Ясодары? Какие пустяки! Не от времени ли, в котором всё — против него? Не время ли исторгло, отжало его прочь, как что-то чужеродное себе, противное своему существу? Он ведь ушел от нас не один. Он увел с собой наше прошлое. Только ли девятнадцатый век? Больше, чем девятнадцатый век, больше, чем, скажем, гуманизм. Он прихватил с собой в могилу не одних, скажем, энциклопедистов. Может быть, все лучшее, что было в христианской эре, выразилось напоследок в нем одном и с ним отлетело навсегда. Такого больше не повторится. Вечная память — и только...

Пастухов всклокочил волосы и снова помолчал.

— Кто теперь придет вместо него? Загладка. Но его оружие больше не пригодится. Спор его будет продолжен совсем иными сражениями. И мы наверно, друзья мои, к концу нашей жизни убедимся, что так же, как им законченная эра длилась века, так и следующая за ним иная эра — на века.

Пастухов быстро взглянул на Цветухина.

— Глубоко копнул? — спросил он с иронией.

— Милый! Глубже, ради всего святого — глубже! До чего я это обожаю! — умоляюще попросил Мефодий.

— Перестань, — остановил его Цветухин и положил руку на плечо Пастухову. — Прекрасно, Александр. Продолжай.

— Нет, всё, — с усталостью отозвался Пастухов. — Я не пророк, вещать не хочу. Скажу только одно. Он оставил нам правило, понятное, как слово. Вот земля. Вот человек на земле. И вот задача: устроить на земле жизнь, благодатную для человека.

— И если мы себя уважаем, — сказал Цветухин, продолжая речь друга, — мы ни о чем не имеем права думать, кроме этого правила. Если мы станем учиться у жизни — будет толк. Как он учился. Как он творил ради жизни, а не ради завитушек. Если нет, то мы так и останемся завитушками... вместе с нашим искусством!

— Вон ты куда! На своего конька, — помигал Пастухов. — Но верно, верно. После него — нельзя шутить ни в жизни, ни в искусстве. Стыдно.

— Стыдно, ай, как стыдно! — со слезой воскликнул Мефодий. — Поехали! Золотые мои, поехали дальше! Нельзя топтаться на месте!..

Они ладно выпили, и головы, будто дождавшись с этой рюмкой всеразрубающего удара, освободили их от пут и связей, и они побрели наугад по какому-то увлекательному городу без плана, где улицы переплетались, как нитки распущенного котенком клубка. Здесь все столкнулось и перемешалось — слезы, хула и радость.

Французская революция и подписка о невыезде, Столыпин, высказывавшийся за снятие с Толстого отлучения, святейший синод, решивший этого не допускать, безопытность крестьянского глаза, когда он смотрит за всходами, права гражданина и человека, хрустальная пробка Мефодия, стихи Александра Блока, Кирилл в тюрьме, рассветное небо за окном, селедочный хвост в стакане, поцелуй, ругань, пустые бутылки, непротравление злу, — пока все вместе не превратилось в кашу-размазю и не потянуло ко сну.

Хозяин уложил Пастухова у себя на постели, сам устроившись с новообретенным своим жильцом — Мефодием, и они не слышали, как ожил, расшумелся и опять стал утихать холодный неласковый день.

Очнувшись, они почувствовали необходимость поправить здоровье и отрядили больше всех страдавшего Мефодия за вином. Но едва успев выйти, он прибежал назад, хрипя потерянными за ночь головами:

— Жив! Жив! Жив!

Он махал над кроватями длинным листом бумаги.

— Вставайте! Поднимайтесь! Он раздумал! Он задержался!

Косматые, в расстегнутых рубашках, они сгрудились над листом, почти разрывая его на части. Экстренное приложение к газете начиналось жирными буквами: «Спешим опровергнуть известие о кончине Льва Николаевича Толстого, распространенное в прошлую ночь, — Лев Николаевич жив».

Они не глядели друг на друга. Мефодий присмирел. Не двигаясь, они с усилием прочитывали нанизанные столбиками телеграммы — сумятицу разноречивых слов, которые утверждали то, во что никто не верил, и отрицали — в чем все были убеждены. Пастухов приколол листок к стене. Цветухин отворил форточку. Принялись одеваться и убирать комнату.

— Я все-таки думаю — не надолго. Задержался не надолго, — сказал Пастухов. — Разве угадаешь? — несмело возразил Мефодий. — Старичок большой крепости. Испытанный временем старичок. Может пересилить.

— Не болтай, — мрачно сказал Цветухин, — делай свое дело.

— Я же понимаю: такой благодатный повод! — обрадовался Мефодий, мгновенно исчезая за дверь. — Сию минуту!

Он, и правда, прилетел назад так скоро, точно обернулся вокруг себя на одной ножке. Опять сели за стол. Легко, как скачутся в овраг дети, они обрушились в шумную неразбериху, из которой только что с трудом их вытаскил пьяный сон.

Двое суток подряд они казались себе то бесконечно счастливыми, то несчастными. Даже если бы они захотели, им не удалось бы припомнить, в каком порядке

следовали пивная, театр, глинтвейн и ночевка на квартире Пастухова, стерляжка уха в трактире, пробуждение в номере Цветухина, оладьи на постном масле в обжорном ряду Верхнего базара. Мир стал качелями, либо взлетавшими в поднебесье, либо баюкавшими, как колыбель. Вдруг откуда-то вырвался осмысленный беспокойством и болью уличный разговор:

— Ну как, еще жив?

— Помилуйте! Два дня, как умер.

— Что вы?! Это опровергнуто, читал своими глазами.

— Значит, поторопились?

— Да уж скорее бы, чего мучиться?

Отмучился, довольно...

То неразборчиво, как на залитой чернилами странице, расплывалось в памяти составление на почте каких-то депеш — в Москву, в Петербург. Депеши рвались, переписывались, неожиданно повторяя астаповские телеграммы, и почта сливалась с редакцией газеты, откуда опять поражающе ясно память выносила свежее отпечатанные строки: «Вечером, позже, температура 36,6, пульс 110, дыхание 36. Большой ел мало».

И вот, после тупых метаний в тумане, Пастухов увидел себя поутру на улице, точно нежданный подарок — выпавшимся, с ощущением человека, приехавшего на новое место и обрадованного одиночеством. Никто не виснул у него на руках, не наговаривал в уши чепухи, не лез целоваться. Он был хозяином себя и молчал с наслаждением. Чувство желанной трезвости было собрано из приятных мелочей: он был выбрит, переодет, руки пахли мылом, зрение резко отделяло предмет от предмета, точно все вокруг было граненым.

Он издали увидел людей перед редакцией, но не ускорил шага, а приблизился к окну сдержанно и покойно. Двое артиллеристов, надутые одеколоном, отошли от толпы, и совсем молодой человек — поручик со счастливым лицом обратился к товарищу:

— А все-таки он заплакал и сказал: а мужики-то, мужики как умирают!

— Ты что же думаешь, он боялся? Он ведь севастополец.

— А все-таки он позавидовал.

— Старикам тяжелее умирать: много знают.

Пастухов увидел за стеклом повешенную высоко над головами длинную полосу прибавления к номеру в широкой траурной рамке. Сверху глядел на людей живой старик. Пастухов заметил, что у него по-детски курчавые волосики на висках, и медленно прочел те слова, которые с уверенностью ожидал найти: «6 ч. 50 м. утра (от нашего специального корреспондента). Сегодня в 6 часов 5 минут утра тихо скончался Лев Николаевич».

Потом он пробежал глазами по заголовку

кам: «Опасное положение». «Последние минуты» и еще раз полностью перечитал: «Сегодня в 6 часов 5 минут...» и подписи пяти врачей. Потом стал выхватывать урывками: «... Корреспонденты пошли на телеграф, не желая верить в неизбежный конец... Мы, корреспонденты, переживаем всей душой и сердцем последние минуты великого человека... Плачь, Россия, но и гордись!.. Вокруг квартиры страдальца тихо дефилируют корреспонденты...» Но ничего до конца не дочитал и опять вернулся к строчкам: «Сегодня в 6 часов 5 минут...»

Отойдя, он решил, что надо домой. Он двигался в том уравновешенном темпе, в каком ходил на прогулки. Ему казалось — он продолжает упиваться ощущением трезвости. Попржнему он видел каждый предмет с поражающей ясностью и резко. Исполнились неделя с тех пор, как он думал о смерти, которую ждали все, и он был уверен, что успел свыкнуться с ней и она уже не могла его поразить. Немного удивляла обрывочность мыслей. Почему-то возвращались одни и те же несвязные слова: от супруги своей Ясодары тихо дефилируют корреспонденты. Он отгонял обуюту бессмыслицу и старался думать стройно, но не получалось.

Дома было сыро и пахло ночлегом пьяных. Он открыл окна и печную трубу. Выпачкавшись в саже, он тщательно вымыл руки и с полотенцем через плечо пошел к столу.

Раскиданная рукопись напомнила ему, что он пробовал читать из пьесы нетрезвым своим друзьям, и Мефодий кричал, что он — гений. Он внимательно сложил листы. Одна фраза постепенно выложилась в его сознании, и он не знал, принадлежит ли она ему, или запала из перечитанных за неделю статей: если бы жители иных миров спросили наш мир — кто ты? — человечество могло бы ответить, указав на Толстого: вот я.

Спокойно, с убежденностью осознанной правоты, Пастухов разорвал на клочки рукопись, и сквозняк подхватил и разнес по полу легкие обрывки бумаги. С гримасой презрения и боли он отвернулся от стола, пошел к кровати, постоял неподвижно и вдруг рухнул на постель. Уткнувшись лицом в полотенце, он заплакал навзрыд, как плакал в этой комнате, когда — маленького — его несправедливо и жестоко наказывал отец.

31.

Меркурий Авдеевич взбирался по ступенькам ночлежного дома, ревизирующим оком изучая ответшальную лестницу. Смотритель ночлежки — отставной солдат скобелевских времен — шел следом за хозяином. Мешков указывал тростью с набал-

дашником на подгнившие доски, торчащий гвоздь, сломанную балясину перил и оборачивался к солдату, безмолвно заставляя его смотреть куда указывала трость. Солдат пристыженно качал головой. Так они добрались до помещения с нарами, где ночлежники, поеживаясь от холода, справляли утренние дела перед выходом в город за своей неверной поденной добычей.

В углу, около занавески Парабукиных, пожилой ершастый плотник точил на бруске стамеску.

— Взял бы топорик, да починил лестницу, — обратился к нему Мешков. — Голову сломишь — взбираться сюда к вам.

— А мне к чему? Ваш дом, вы и починяйте, — легко ответил плотник, не отнимая рук от бруска.

— Ты что — в деревне? Не моя дорога — так не пройти, не проехать. Лестница — общая?

— Небось, деньги собирать, так — твое, а чинить, так — общее. Толстой какой нашлся. Общественник.

Соседи по нарам засмеялись. Через узенькую щель занавески высунулась голова Парабукина с утонченными от художества черты лица и набухшим свежим сиянием под глазом.

— Много ты понимаешь в Толстом, — слегка растерянно сказал Мешков.

— Понимаем, — вмешался Парабукин, откашливаясь. — Не вы один газетки читаете.

— А ты что здесь, чтения воскресные открыл, что ли? — спросил Мешков. — Толстовство, может, проповедуешь? Сколько раз говорено тебе, чтобы освободил угол? Ждешь, когда окологородный высе-лит?

Он обернулся к зрителю:

— Ты что глядишь? Сказано — очистить угол.

— Да, Меркул Авдеевич, я ему, что ни день, твержу — съезжай, съезжай! А он мне — куда я, на зиму глядя, с детишками съеду? Сущий ишак, истинный бог.

— Я, Тихон, по-хорошему. Не сердь меня, ищи другую квартиру, — сказал Мешков. — Мне подозрительных личностей не надо. За тобой полиция следит, а я тебя держат буду? Чтобы ты тут Толстым людей мучил?

— Задел вас Толстой! Поди, рады, что он богу душу отдал.

— Его душа богу не нужна.

— Еретик? — ухмыльнулся Тихон.

— Ты что себя судьей выставляешь?

— А кому же судить, как не нам? Он к нашему суду прислушивался.

— Какому это — вашему? Он был против пьянства, а ты — пьяница. Вон, морду-то набили, смотреть тошно.

— Против пьянства он был — это конечно. А против совести не был.

Меркурий Авдеевич откашливался, брови

его сползли на глаза, он спросил внушительно:

— Ты что хочешь сказать про совесть?

В эту минуту занавеска раздвинулась, и Ольга Ивановна выступила из-за спины мужа. Затыкая под пояс юбки ситцевую розовую кофту в цветочках — подстать занавеске, — она заговорила на свой торопливый лад:

— Верно, Тиша, что верно, то верно! Он был совестливый. Он бедных людей не притеснял, граф-то Толстой, а всю жизнь помогал. Он бы мать с детьми на мороз не выгнал, а имел бы сочувствие!

— Что же к нему за сочувствием не пошла? Может, он чего уделил бы тебе? А ты за него схватилась, как он помер. С ним теперь поздно манипулировать. Из могилы, небось, не поможет, граф-то твой.

— Злорадуетесь, что еретик умер, — повторил Парабукин с язвительным превосходством, как будто вырастая над Меркурием Авдеевичем и беря под защиту обиженную Ольгу Ивановну.

— Глупости порешь, — строжайше обормот Мешков. — Христианину постыдно радоваться чужой смерти. Сожалею, а не радуюсь. Сожалею, что старец умер без покаяния, понял? Не очистил себя перед церковью, а умер в гордыне, нечестивцем, вероотступником!

— Ну да! Нечестивец! Анафема! Гришка Отрпьев! Как бы не так! Он чище тебя! Чище всей твоей кеновии со свечками и с ладаном. Кеновия только и знает, что всякое справедливое слово гонит.

— Не гонит слово, болтун, а хранит слово. То слово, которое есть бог. Тебе это не по зубам.

— Мне много что по зубам, Меркул Авдеевич. Вот когда в зубы дают, это мне не по зубам. А в рассуждениях я не меньше твоего понимаю.

— Я тебе в зубы не даю. Синяк-то не я тебе наставил.

— Надо бы! Вы дяденька осторожный, знаете, кто примет зуботычину, а кто и ответит.

— Грозишь? При свидетелях грозить мне вздумал?

Мешков осмотрелся. Вокруг стояли ночлежники, ожидая, к чему приведет спор. Ребячье любопытство расцветило их жадными улыбками, будто они собрались перед клеткой, у которой озорник дразнит прутиком рассерженную и забавную птицу.

— Что же это он — против хозяина людей настраивает? — сказал Мешков смотрителю, застегивая пальто на все пуговицы, словно решившись немедленно куда-то отправиться искать защиты.

— Ты... этого... ветрозвон! Прикуси язык-то, — проговорил солдат.

Ольга Ивановна загородила собой мужа. — Молчи, Тишенька, молчи. Твоих слов не поймут. Мы с тобой бедные, бесталан-

ные, никто к нам не снизойдет. А вам, Меркул Авдеевич, должно быть неловко: человек больной, несчастливый, чего вы с ним не поделили?

— Толстого не поделили, — опять высокомерно ухмыльнулся Тихон.

— Оставь Толстым тыкать! — прикрикнул Мешков, немного присрамленный Ольгой Ивановной, но все еще в раздражении. — Имени его произносить не смейшь всуе! Он дарами редкостными отмечен, а ты — лохмотник, и больше ничего.

— Как запел! Дары редкостные! Выходит, против даров ничего не имеешь, себе бы пригребаласт, в свои владения. Да беда — богоотступник. Шкура-то, значит, хороша, можно бы на приход записать, да своевольник, из послушания вышел, грехи в рай не пускают. А вот мне он — ни сват, ни брат, и до ума его мне не дотянуться, а я его славаю. Потому что он к истине человека звал. По правилам, там, звал или против правил — это мне все едино. А люди на него оглядывались, согласны с ним были или нет. Вон и ты оглянулся, Меркул Авдеевич, хоть и бранишься. И в тебе он человека берedit..

Взяв за плечи Ольгу Ивановну, Парабукин легонько отстранил ее и шагнул вперед. Говорил он тихо, тоскливым голосом, точно застенчившись злобы, и обращался уже только к ночлежникам, обходя взглядом Мешкова, который смотрел прочь, через головы людей.

— Вы на фонарь мой под зенком не кивайте: подрабать всякий может. А я сейчас не пью и потому понимаю, что — бесталанный. Ольга Ивановна говорит правду. Жако мне, что я на дороге у себя не служу. Ездил бы с поездками, приехал бы на станцию Астапово — сколько раз я там бывал в своей жизни? — приехал бы и постоял у того окна, у того дома, где он умер. Постоял бы, подумал: вот, мол, я из тех негодников, на которых ты взор свой направлял, Лев! Эх, что говорить! Начальник дороги послал ему на гроб венки от железнодорожников. Кабы Тихон Парабукин сейчас служил на дороге, стало быть и от него был бы в этом венке какой листик или былиночка. А теперь, выходит — я уже не при чем. Эх, Парабукин!

— Такие слова ему, может, отраднее венка, если бы он слышал, — примирению сказал Мешков, — зачем ему венки?

— Зачем венки, — передразнил Тихон. — Тебе не за чем. Ты бы ему кол осиновый в спину вколотил.

Меркурий Авдеевич пошатнулся, тронул дрогнувшими пальцами руку солдата, ища опоры, шумно набрал воздуха, но не крикнул, а выговорил с кряхтеньем, будто отрывая от земли тяжесть:

— Ну, Тихон! Пеняй на себя. Хотел я твоих детишек пожалеть, да ты самого вельзевула ожесточил. Собирай лоскуты! И чтобы твоего духа не было! А я —

прямо в часть! В полиции ты запоешь по-иному! Там твоих манипуляций с графом не потерпят.

Он раздвинул людей, исподлобья следивших за ним, и зашагал между нар, устрещающие пристукивая тростью об пол.

— И с богом, и с богом! — напутственно послала вдогонку Ольга Ивановна, — мы от вас хорошего не ждали.

Выпаченные глаза ее помутнели, уголок рта, запав глубоко, дергался, широкий лоб покрылся розовыми разводами. Порыв неудержимого движения охватил ее маленькое тело — она кинулась к сундучку, который служил Аночке кроватью, открыла крышку и начала выбрасывать наружу тряпье в перемешку с одеждой, не переставая говорить:

— Свет не без добрых людей. Пожалуют бедных кршчек. Не замерзнем. Аночка, одень Павлика. Вот чулочки. Нет, белевские приличнее. И сама оденься. На, возьми. Надень кофточку. Ничего. Не умрем. Подвяжи чулочки тесемочкой, натяни. Натяни повыше. Жили до сих пор, проживем и дальше. Вот на — поясок, подпояшь Павлика.

Она хваталась то за одну вещь, то за другую, разглядывая на-свет, откидывая в сторону, примеряя на себе и на Аночке, добиваясь одной ей известной красоты сочетания жалких, давно негодных обносок.

Парабукин молча стоял у занавески. Липо его было недвижно, он следил за женой в окаменении страха. Вдруг, взглянув на него, Ольга Ивановна оборвала речь, быстро шагнула к нему и прижалась щекой к его груди — все еще широкой и большой.

— Не бойся, Тиша, — сказала она, схватив и сжимая его руки — бояться нечего! Я обо всем подумала. И поговорила с кем надо. Пойдемте все вместе. Оденься и ты.

Она дала ему чистую косоворотку с вышивкой, береженную про черный день в сундучке, и он покорно сменил рубашку и надел стеганный рыжий пиджак, изготовленный неутомимым старанием жены.

Ольга Ивановна, отряхнув и пристроив себе на темя сложившуюся шляпку голубого фетра с канареечным крылышком, дрожащими пальцами натянула резиночку под узел волос на затылке и, подняв на руки Павлика, пошла впереди. За ней — озабоченными, маленькими и строгими шагами — двинулась Аночка, и робко последовал муж. Ночлежка провожала их серьезно, как будто поняв, что смешной праздничный наряд женщины извлечен из-под спуда, как последнее оружие нищеты против жестокости мира. Только приняв жизненно-важное решение, Ольга Ивановна могла обратиться за подспорьем к своему счастливому, но уже позабытому прошлому. Никто не проронил ни слова,

пока Парабукины шествовали между нар. И только когда их шаги затихли на лестнице, плотник, уложив в ящик свои рубанки, стамески и сверла, вздохнул:

— Завьет теперь горе веревочкой наш батя!..

Парабукины поднялись по взвозу и обогнули угол. Недоходя до калитки школы, Ольга Ивановна спустила Павлика на землю, одернула на нем рубашечку, пригладив выпущенные из-под самодельной шапочки светлые, по-отцовски курчавые волосы и взяла его за ручку. Он уже ходил. Переваливаясь, загребая одной ножкой, он боком потянулся за матерью.

Поровнявшись с калиткой, Парабукины не вошли во двор, а, сделав еще два-три медленных, неуверенных шага, остановились перед воротами, которые стояли настежь.

Подле квартиры Веры Никандровны ломовой извозчик кончал нагружать воз мебелью и узлами. Неотъемлемая вершина таких возов — самовар — уже сияла между ножек перевернутого стула. Извозчик перекидывал через гору погруженного скарба веревку и натягивал ее, провед конец под грядку телеги и упершись ногой в колесо. Вера Никандровна вышла из дома с двумя лампами в руках. Не могло быть сомнения: она уезжала с квартиры.

Ольга Ивановна пугливо взглянула на мужа. Он уже разгадал ее намерения и понял, что они терпят крах, но молчал. Она сорвалась с места, волоча за собой отстававшего Павлика.

— Милая! — воскликнула она, кивая Вере Никандровне с восторженной приветливостью, — а мы — к вам!

Она выдвинула перед собой Павлика, словно уверенная, что именно он — в шапочке и тесемочном пояске, на своих ненадежных, еще не выпрямившихся ножках — даст исчерпывающее объяснение всему, что происходило.

— Мы — к вам, простите нас, пожалуйста! Я бы ни за что не посмела. Но ведь вы в разговоре — помните? — сказали, что уж если нас выгонят из ночлежки, то вы дадите нам как-нибудь приютиться. Так вот, милая Вера Никандровна, Мешков выкинул нас, несчастных, на улицу, как мы есть.

Она повела рукой от Павлика к Аночке и к мужу и тут же одернула на детях платица и поправила свою шляпку, сбившуюся набок.

— Но ведь вы видите, — в смущении проговорила Извекова, показывая глазами на лампы, которые неудобно прижимала к бокам.

— Да! Что это такое? Куда это вы? — стараясь изобразить непонимание, спросила Ольга Ивановна.

— А меня, собственно, тоже выгнали.

— Кто же это посмел?

— Ах! — улыбнулась Вера Никандров-

на. — Все так просто! Попечитель учебного округа приказал перевести в другое училище. Я переезжаю на край города, в Солдатскую слободку.

— Господи! Да как же это возможно?

— Почему не возможно? Сын у меня в тюрьме — какое же я могу внушать доверие?

Она сказала это с безропотной горечью и так убежденно, что Ольга Ивановна невольно протянула к ней руки, вместе с тем оглядываясь на мужа, словно призывая его к сочувствию.

— Тиша! Мы бы ведь помогли Вере Никандровне перебраться на новоселье, правда? Да ведь сами-то мы в каком положении! На мостовой, прямо на мостовой очутились!

— А что ж — на мостовой! — презрительно сказал Парабукин. — Привыкать, что ли?

— Да ведь — дети, дети! — с мольбой выкрикнула Ольга Ивановна.

— Нет, нет, спасибо вам, не беспокойтесь, я сама, — сказала Вера Никандровна, утешая и как будто извиняясь.

— Справимся, не впервой, — вдруг громко протянул извозчик и сдернул с загривка лошади конец вожжей. — Тронулись, хозяйка!

Неожиданно Аночка бросилась к Вере Никандровне и, схватив за подставку лампы, так же торопливо, как мать, забормotalа:

— Я понесу, дайте мне, дайте! Я провожу. Я пойду с вами. Дайте, ну дайте, пожалуйста!

Она тянула и тянула лампу, силясь вырвать ее, а Вера Никандровна крепче и крепче прижимала лампу к себе, глядя на девочку вспыхнувшим, горячим взором. Нагнув голову, она поцеловала Аночку в лоб и шепнула с нежностью:

— Не надо. Пусты. Оставайся с мамой. Хорошо? А как-нибудь потом придеешь ко мне.

Она быстро обратилась к Ольге Ивановне:

— Вы простите, что не могу вам помочь: из новой квартиры у меня всего одна комната. Но если желаете, Аночка может поселиться у меня. Я возьму ее с радостью.

— Ах, ну что вы! Как же это можно? — завскалцала Ольга Ивановна, вытирая слезившиеся глаза кулачком. — Мы вовсе не хотим быть вам в тягость. Зачем же? Да и Аночка — моя единственная подмога, как же я — без нее?! Вот если позволите, может, мы поселимся пока тут, на этой вашей квартире? Пока не найдем угол. Право! Ну хоть бы на денек-другой. Пока квартира пустая, а?

— Квартира эта не пустая: сегодня сюда придет новый учитель.

— Ах, господи! Как это все... право!.. Ну, а что вы думаете, — с ожившим приливом решимости, спросила Ольга Ивановна, —

что вы думаете, не пойти ли нам со своим горем к дочке Мешковой?

— К Шубниковой? Почему же? Она — человек сердечный. Непременно пойдите.

— Закалякалась хозяйка, — снова поторопил извозчик, взяв лошадь под уздцы и начал поворачивать задрезавший всею кладью воз.

— Вот хорошо, вот хорошо! И что это мне сразу на ум не пришло? — трещала Ольга Ивановна. — Тиша, возьми Павлика на руки. Пойдем, Аночка. Ты ведь Лизу знаешь? Пойдем. Она теперь — барыня, богатая, счастливая. Лизавета Меркуловна. Она нам поможет. Пойдемте скорей!

Все тронулись за лошадью и прошли двором под неумолчное приговаривание суетившейся Ольги Ивановны. Пока извозчик закрывал певучие ворота, они прощались, высказывая друг другу пожелания добра и удачи. Потом Парабукины двинулись гуськом, во главе с Ольгой Ивановной, и Аночка, обернувшись, поминала Извековой, как подружке, и Павлик, покачиваясь на руках отца, долго, внимательно глядел на лошадь через его широкое плечо.

Вера Никандровна вспомнила, как она смотрела вместе с Кириллом на примечательное шествие Парабукиных по двору, когда впервые узнала это странное семейство, и ей стало тяжело. Она перевела глаза на школу. Три оголенных тополя кланялись ветру и постукивали сухими ветвями. В стенах дома, вырываясь через открытые форточки, зазвонел голосистый звонок, и точас перепелелись в озорной хор высокие крики школьников: кончился урок.

Больше двадцати лет прожила Вера Никандровна в этих стенах, и этот голосистый звонок, эти озорные мальчишеские крики сделали неотделимой частью ее крови. Здесь началась путь, которым она несла свою свободу, свою любовь, свое горе. Здесь родился Кирилл, и когда она мучилась в родах, все то же голосистый звонок расплывался по дому, и она старалась считать уроки — первый, второй, третий — и с последним, четвертым уроком появился на свет ребенок, и его новорожденный писк слился с веселым криком катившихся по лестнице отпущенных домой мальчишек. Муж Веры Никандровны подошел к ней, опустился на колени и поцеловал ее в покрытый холодным потом лоб. Здесь, на чердаке, в шуме и свисте голубиных крыльев, проходили ребячьи забавы Кирилла, и — уже юншей — он забирался сюда с любимой книжкой, устраиваясь у слухового окна, которое называл своей дачей. Тут, в этом доме, провел он свой последний вольный день, и отсюда его увели в неизвестность.

Весь этот до боли памятный путь обрывался теперь, как тропинка, которая, затерявшись в побрежных зарослях, привела

к омуту. Все, что сохранилось от бывшего, умещалось теперь на возу, и Вера Никандровна пошла за этим возом.

Телега громыкала по булыжнику, извозчик, шагая рядом, покручивал в воздухе концом вожжей и подтыкал изредка под веревку какую-нибудь выскользнувшую спинку стула. Тянулись улицы, сначала — безмолвные, малолюдные, за ними — шумные, с рокотом пролеток, лязгом трамваев, потом снова — покойные и молчаливые. Показалась далекая, грустная гладь серой реки с неприятными песками. Мостовая кончилась, и колеса беззвучно покатились по пыльным колеям между кочек подмерзшей грязи. Вера Никандровна шла и шла о-бок с возом, прижав к себе, как драгоценность, пропахнувшие керосином лампы, глядя на вымазанную детем чеку заднего колеса. Не было ни усталости, ни желания притти скорее к цели, ни даже воспоминаний, как будто оставленных позади. Вместе с белым домом, оградой и качающимися на ветру тремя голыми тополями.

Новое жилище Извековой — флигелек в два оконца — обреталось в протяженном ряду себе подобных домишек, на огромной площади-пустыре. За пустырем лежали разъезды товарной станции и виднелись чумазые корпуса депо. Колющие, как иглы, свистки паровозов либо тягучие стоны гудков то налетали на пустырь и проносились по крышам флигельков, то уходили далеко в сторону гор и там растворялись в тишине. По ночам явственно слышалось сердитое фырканье пара, звонкий стук молотов по железу, обрывистый скрежет буферных тарелок, передававший от вагона к вагону предупреждающее держи-держи-держи-держи! Все было навязчиво-ново для слуха.

Вера Никандровна еще не обжила новоселья — не приноровилась ходить с ведрами к водоразборной будке, запирать на замочки двери, на болты — оконные ставни, топить капризно-дымившую крошечную голландку — когда неожиданно, поздней ночью, к ней постучали с улицы.

С тех пор, как взяли Кирилла, она постоянно ждала какого-то внезапного, страшного или радостного прихода, который должен был бы положить конец изнурительной тоске и принести полную перемену в судьбе. Иногда ей казалось безразличным — будет ли это поворот к еще худшему несчастью, чем то, которое она несла, или — к облегчению и покою. Но ожидание было режущим, воспаленным, оно подрывало силы, и терпеть его становилось все труднее.

Стук в окно ночью, в маленьком, все еще чужом, затерянном на пустыре флигельке, испугал Веру Никандровну. Она укуталась в шаль, но не вышла и не зажгла света, а, подойдя к стене, стала дожидаться повторения стука. Было ветрено,

и в пазах домика распевали тонкие флейты. Паровик, взвизгнув, толкнул поезд пустых, гулких вагонов. Состав был длинный, и куда-то далеко-далеко помчалось, затихая, тревожное держи-держи-держи-держи! Потом стук в окно повторился. Он был упрямее, но в ударах его заключалось что-то не вполне уверенное, деликатное. Вера Никандровна решилась выйти в сени. Там было шумнее — флейты перебирали свои лады смело и бойко. Вера Никандровна притаилась и ждала. Тогда отчетливо раздалось три шага: кто-то перешел от окна к двери, и тут же дверь заняла под ударами кулака.

— Кто это? — поперхнувшись, спросила она.

— Извекова, учительница, здесь проживает? — расслышала она негромкий мужской голос.

— А кто это? — повторила она, все еще чувствуя стеснение в горле.

— Да вы не сомневайтесь, не обижу, — отозвался голос с таким радушным спокойствием, что у ней отлегло от сердца и она немного овладела собой.

— А что вам надо?

— Писулечку передать, насчет одного дельца.

— Вы скажите — от кого писулечка и что за дельце.

— Это нам неизвестно, — ответил голос тише и, помешкав, добавил вопросительно: — но коли вы самая Извекова, то может дельце касается до сына вашего?

У ней вырвалось громко:

— Сейчас я зажгу лампу.

Но вместо того, чтобы идти в комнату за лампой, она со всей силой обеих рук ударила снизу по крючку и отворила дверь.

Едва заметно отделилась от крошечного мрака, в сени ступил человек, показавшийся ей необыкновенной вышины. Пригнуп голову, он сделал шаг, оглядываясь и будто примеривая себя к тесноте.

— Где письмо? Давайте! — потребовала Вера Никандровна шопотом, точно перепугавшись шума, который наделала крючком, и уже забыв свой только что пережитый испуг перед пришельцем.

— Огонек задуть придется, — сказал он, — сумка-то у меня глубока, не нащупаю.

— Да вы не обманываете?

— Теперь чего обманывать: двери-то настежь.

Он говорил с насмешкой, но так ласково, что она — не видя ни его лица, ни глаз, ни того, держал ли он что-нибудь, или руки его были пусты — по одной речи его поняла, что это — старик, и доверилась ему. Очень долго она искала ощупью спички — на шестке, в печурках, в ящике кухонного стола. Тогда, терпеливо подождав, гость похлопал себя по бокам, шаря карман, и, найдя, спросил:

— Где у вас будет лампочка-то?

В разгорающемся свете Вера Никандровна увидела худое, не плотно обтянутое морщинистой кожей лицо с белой бородкой клинышком и прищуренными глазами. Подпоясанная ремешком суконная куртка, облачавшая старика, поблескивала вьевшимися в материю черными пятнами машинного масла и, видно, была жестка, как лубок. Он снял такой же масляный картузик, положив его на табуретку, и прислонился к косяку, доставая седой головой прилобок.

— Значит, вы самая Извекова и будете?

— А как вы думаете? Пустила бы я вас, если бы была кем еще?

— Я к тому — может с вами кто проживает?

— Нет, я одна!

— Так. Значит, Вера Никандровна?

— Да уж не шутите ли вы?

— Дело ночное. Шурить не с руки. Для убежденности спрашиваю.

— Ну да, да! Я — та самая Вера Никандровна, мать Кирилла Извекова. От него у вас письмо, да? Ну давайте же, давайте, — почти приказывала она, протягивая руки и приступая к старику.

Шаль сползла с нее одним концом до пола, открыв ночную, в прошивках, кофточку, на которой лежала кое-как заплетенная темная косица.

Старик понимающе вздернул и опустил брови, переложил картузик с табуретки на стол, присел и сказал с дедовской хитрецой:

— От кого писуля — сами почитаете. Мы ее, раз-два, достанем из сумочки.

Держась за края табуретки, он вытянул одну ногу, подпер задник пыльного сапога подошвой другой ноги, спихнул головку, взял ее, нагнувшись, в руки и медленно стянул с ноги голенище. Потом он вытащил из сапога стельку и слегка отряхнул ее, качая головой, видимо — недовольный ее поношенным видом. Потом опять сунул руку в сапог и начал что-то выковыривать из носка.

— Ах, как вы долго копаетесь! — не вытерпела Вера Никандровна.

— Не иначе так, — мирно согласился старик. — Подальше положишь — поближе возьмешь.

Наконец он вынул согнутую в скобку, по форме носка, закатанную бумажку и подал ее Извековой.

Она раскатала бумажку, припустила огня в лампе и, стоя, начала разбирать мелко, но старательно выведенные буквы письма.

«Уважаемая Вера Никандровна. Пишет вам друг вашего сына. Я, правда, старше Кирилла, но зовет он меня товарищем и я его так же. Пишу для того, чтобы вас утешить в вашем беспокойстве за него. Потому что дело для него закончилось не очень плохо, наоборот, гораздо легче, чем

могли ожидать. Вам, может быть, уже известно, а если неизвестно, то скоро узнаете, что Кирилл получил ссылку на три года в Олонецкую губернию. Места не очень тяжелые, хотя северные. Там он будет не один. Там народ есть порядочный, и ему помогут. Я вам могу обещать, что на первых порах Кирилла поддержат с довольствием и в отношении квартиры. Деньгами тоже. Деньги туда можно будет посылать, когда адрес будет точно известен. Он вам и сам напишет. Литература найдется, так что время для него не пропадет. Там есть образованные люди, в смысле науки он не отстанет, а пойдет вперед. Вера Никандровна, хочу сказать вам еще, что Кириллу дано знать, что вы здоровы. Наверняка не могу обещать, но, может, подвернется случай послать ему письмо. Поэтому вы приготовьте, только небольшое. И еще скажу, что вы в своем сыне можете не сомневаться. Он молодой по годам, а иному старшему годится в пример. Срок быстро пройдет, и Кирилл станет вам опорой, какой вы, может, не ожидали. Не жалеете, что он наложил на плечи ваши испытание, а ему испытание пойдет на пользу, как крепкому человеку. Скажу в заключение, что он замаяхнулся на большую жизнь и тоже никогда не пожалеет, потому что замаяхнулся по силам. Будьте здоровы. Приготовьте письмо. А это писание, как прочитаете, уничтожьте без следа»

Вера Никандровна подобрала шаль, закуталась, обернулась к старику. Он обулся и держал картузик на коленях. Пристальный, будто покровительственный, тонкий взор его выражал удовольствие. Она старалась угадать в этом взгляде все, что старик мог знать, и уже понимала, что он как бы создан для того, чтобы под прикрытием добродушной усмешки, за лукавинкой прищуренных глаз тайть все, что ему известно. Но она не могла не спросить, что в эту минуту казалось самым важным:

— От кого же это письмо?

— Не обозначено? — изумился старик и сожалеательно потряс головой. — Вот те на!

— Вам нельзя говорить, да? Но вы ведь знаете, кто вас послал, правда?

— Да что же послал? Ноги есть — и ступай. Вдаваться не будешь — почему да зачем.

— Но скажите, скажите! Могу я ответить этому человеку? Коротенькой записочкой? Вы передадите?

— Зачем писать, голубушка Вера Никандровна? Память у меня не отшибло, я повторю, что вы накажете, слово в слово.

— Всего несколько строчек, просто — поблагодарить, — сказала она мягко.

— Да ну уж, пиши, — с прежней лаской ответил он. — Ждать-то мне не очень...

— Я сейчас, сейчас!

Она побежала в комнату и тотчас верну-

лась, на ходу вырывая из школьной тетрадки листок бумаги. Все так же — не сядясь, наклонившись к лампе, она стала писать карандашом, и шаль опять медленно начала скатываться с ее спины.

«Вы не захотели, чтобы мне было известно, от кого я узнала такую горькую весть о своем сыне. Но я вижу, вы — его друг и значит — мой друг. Спасибо вам, дорогой друг, за помощь, которую вы обещали моему мальчику, и за участие в моем горе. Я тоже верю, верю, что он перенесет страдание с тем достоинством, которое его, кажется мне, отличает. Но сколько опасностей жлет его на пути, сколько опасностей и мученья! Помогите ему, раз вы научили его звать себя товарищем и раз он зовет вас этим именем! А главное, не бросьте его тогда, когда он будет плох, когда от него отвернутся из-за его слабости или малодушия, в час усталости, отчаянья или пошлого соблазна, если такой час придет. Я же обещаю вам, что он не услышит от меня ни слова горечи и не узнает ни об одной моей слезе. Потому что теперь я знаю от вас, что он сам выбрал дорогу, по которой идет, и пусть я буду ему тоскою, а не сумой с камнями на этой дороге. Поможем ему делать большую жизнь, если он почувствовал в себе силу ее сделать. Еще раз — большое вам спасибо, неизвестный мне друг и товарищ. Если будете раньше меня писать ему, напишите, что я благословляю его своим материнством».

Она тщательно скатала записку в трубочку, как было скатано письмо, и подошла к старику. С торжеством окончившего возвышенный труд человека и взглядом, умеющим постигать людей, она всмотрелась в его лицо.

— Вот, — сказала она тихо, — передайте это...

Она приостановилась и вдруг, набравшись духа, закончила решительно:

— Передайте Рагозину.

Старик быстро нахлобучил картузик, встал и сунул пальцы за пояс.

— Сами, голубушка, передавайте, коли больше моего знаете, — отвесил он.

— Да я не больше знаю, — улыбаясь, сказала она. — Я только слышала, что есть такой человек, и думаю, что это он прислал мне письмо.

— А думки твои бессмысленные ни к чему. Мне пора.

Он стоял, не вынимая рук из-за ремешка, она — протягивая ему записку.

— Делай-ка лучше, что он там наказал, — проговорил он сурово.

— Кто — он?

— Ну, про что он тебе распорядился?

Старик шагнул к столу и взял письмо.

— Что вы хотите? Нельзя! Это — мое! — почти закричала Вера Никандровна. — Отдайте!

Шаль упала ей в ноги, косица рассыпа-

лась на пряди, она тянулась к старику, стараясь вырвать письмо. Он оттолкнул ее властно, подошел к печке, бросил письмо на шесток и достал из кармана спички.

— Прочитала? — спросил он грубо и сам ответил: — прочитала. Запомнила? Запомнила. Баста. Делай на моих глазах, что наказано. Поняла?

Он чиркнул спичку, зажег письмо и спокойно дождался, пока пламя, обрадованно взлетев, сникло и пропало. Он взял в пригоршню пепел и растер его ладонями.

— Давай, что ль, свою писульку, — буркнул он добрее.

Она отдала записку и неожиданно, с каким-то благодарным светом на горящем лице, сказала:

— Погоди.

Она распахнула створик шкафика в столе и достала бутылку темнозеленого блестящего стекла. Попробовав вытащить пробку, она сломала ноготь и принялась разysкивать штопор.

— Постояй егозить, — отечески остановил гость.

Коричневыми покривленными пальцами он подцепил пробку, как клещами, и легко вытянул ее из горлышка. Вера Никандровна наполнила стаканчик маслянистой исчерна-рыжей наливкой. Старик снял картузик.

— А себе? — сказал он.

Она налила рюмку. Он стер указательным пальцем клейкую каплю, тяжело сползавшую с бутылки, облизал палец, приподнял стаканчик, слегка подмигнул маленьким сощуренным глазом, спросил:

— За сына, что ль, за твоего?

— Ты знаешь его? Да?

Не отвечая, он выцедил наливку до дна, зажмурился и потряс головой.

— Вишневка?

— Сливянка. Так знаешь моего Кирилла?

Все еще не размыкая туго сжатых век, он крикнул:

— Язви-тя! Прямо — престольная, ей-богу.

Потом чуть-чуть приоткрыл глаза и еще раз подмигнул:

— Сына-то?

Он вытер губы, одним движением забрав в кулак и потянув кин бороды.

— С лица-то он в тебя...

— Да, да, он очень похож! — восхищенно подхватила она. — Где ты его видел? Когда?

Счастливая, взбудораженная нетерпением, она ждала его рассказа, но он сразу нахмурился, аккуратно впихнул записку за голенище, деловито поднялся, подал руку.

— Благодарим за угощение. Нам пора.

Не совсем ловко сгибаясь, он вылез в сени, и там она уже не решилась повторять расспросы. Он исчез в том же мраке,

из которого явился, безмолвнее и внезапнее, чем пришел.

Вера Никандровна не легла спать. Она сидела на постели до тех пор, пока рассвет не прочертил ровненькие линейчки в щелях ставен. Она вышла на улицу.

Утро было по-ноябрьски злое, белесые тучи свисали на землю, и со станции тяжело поднимались к ним густые, медлительные дымы. Они будто состязались в разноцветности окрасок — сизо-синие, золотисто-рыжие на путях, огненно-багровые, вишнево-черные над цехами депо, они, как косы — лентами, были перевиты молочными струями пара, перегонявшими их по пути к небу, где все соединялось в сплошную навись гари.

Вера Никандровна долго стояла, глядя на незнакомую борьбу дымов, которая словно грозила захватить собой весь мир. Запахи угля, нефти, пережженного масла и красок накатывались временами через огромный, застеленный пылью пустырь. Множились, распространялись, вырастали железные стуки и скрежет.

Но утренний свет прибывал и прибывал неуклонно, и ей казалось — она уже неотделима от маленького незаметного флигелька, у которого встречала это утро и который теперь надолго становился ее новым домом.

Она открыла ставни окон.

(Продолжение следует.)

СТИХИ

ПЕТР КОМАРОВ

★

ТИГРОЛОВ

Дальневосточному тигровому П. П. Богачеву

В тайге, среди пней и валёжин,
Где снежная бьет коловёрть,
Где путь для других невозможен
Проходит Тигриная Смерть.

Суровое прозвище это
Недаром дано мужику.
Он каждую зиму и лето
Уходит за зверем в тайгу,

Где синим одеты туманом
Сихотэ-Алиня верхи,
Где с кедров зеленым кафтаном
Свисают тяжелые мхи.

Идет по местам нелюдимым,
Шагает по чаще лесной,
Охотничьим греется дымом
И спит на снегу под сосной.

И царственным пусть называют
Тигриный запальчивый род —

Лесную царицу, бывает,
Он тоже берет в оборот,

И гонит, собак напуская,
По снежным сугробам, пока
Собачья проворная стая
Не хватит ее за бока.

Но только недолго собакам
На шкуре тигровой висеть —
На зверя расчетливым взмахом
Он кинет тяжелую сеть,

Загонит, навалится быстро,
Потом вспоминая не раз,
Как сыпались желтые искры
У пестрой царицы из глаз...

Он только в больнице узнает,
Как схватка была горяча:
Хирург на столе зашивает
Рубцы от плеча до плеча.

★

НА ВОЛОЧАЕВСКОЙ СОПКЕ

Когда с высот Июнь-Корани
Я погляжу на край родной —
Он сразу весь, как на экране,
Тогда встает передо мной:

Луга в цветной своей накидке,
Где ветер августа прошел,
Озер серебряные слитки
И паутины тонкий шелк.

Как будто спят степные дали,
Как будто здесь ничьи глаза
Еще сегодня не видали,
Как в мире буйствует гроза.

Но отраженьем проз вчерашних
Лучи закатные легли
На волочаевские башни,
На пашни мирные вдали.

ВЕСЬЕГОНСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ

Рассказ

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА

★

I

В три часа утра над нашим двором стоит рассеянный, задумчивый свет, как в белую ночь. Направо от крыльца безмолвствуют спокойные, полные достоинства, тополя. На заборчике под тополями раскинут с вечера для просушки перемет, но в бечеве нет легкости: она еще влажная. Два бревенчатых одноэтажных дома по обе стороны двора притихли, будто нежилые. Слышно, как в конюшне на заднем дворе лошадь переходит с места на место, переступая по деревянному настилу. От колодца по светлому песку дороги гуськом идут бессонные утки, приседая и забираясь носами в траву. Люди еще спят.

В шесть часов утреннее движение солнца, которое на восходе кажется глазу таким быстрым, давно перешло в спокойное, дневное, и лучи его, пробираясь через лаковую листву тополей, уже не очень косо ложатся на широкий зеленый двор. В листве тополей идет птичий разговор. Бечева просохла и белеет. У заборчика, повернув головы под крыло, дремлют утки. В домах слышны голоса людей.

Под тополями ходит завхоз Иван Алексеевич и набрасывает на веревки, протянутые между тополями, слежавшиеся и отсыревшие в сарае одеяла и палатки. Мы здороваемся друг с другом так радушно, как только можем. Качество этого надежного, превосходного человека: любить людей и заботиться о них.

Когда бы я ни выглянула в окно, я вижу во дворе Ивана Алексеевича. То он просушивает полушубки и шерстяные одеяла, чистит их на перевернутом ящике, пересыпает нафталином и уносит в сарай; то собирает сети; то, высыпав на ладонь крючки — покрупнее для перемета и мелконькие для ловли удочкой — выбирает среди них подходящий для любителя-рыболова. Неизвестно, когда он успевает читать газеты: кажется, он может работать без отдыха, как солнышко, целый день. Рассказывают, что он человек нездоровый, бежал из германского плена, но

сам он никогда не жалуется и о себе не говорит.

Встал Андрей и вышел делать гимнастику; посмотрел по дороге, высохла ли бечева перемета, который он по-пермски называет «червяник». После гимнастики он допускается Иваном Алексеевичем в сарай взглянуть на спринги. Они долго и внимательно рассматривают гибкие бамбуковые удочки и никелированные катушки спринга, пока сырость и холодок сарая не выгоняют их на солнышко. Тут они стоят еще долго. Андрей ест из горсти клюкву, которой его угостил Иван Алексеевич, и, в свою очередь, отрывает уголок от новой пачки «Беломорканала». Но Иван Алексеевич не курит. Подходит полковник Смирнов, и у них начинается разговор о войне Англии с Германией.

Через двор к дальнему забору пошел егерь, Иван Максимыч, человек высокий, стройный, с упрямым подбородком. Почувяв его приближение, забегали, заскулили и забрежали охотничьи собаки; над забором показывается черный нос, потом — на секунду — высовывается вся морда с рыжими висячими ушами, собачьи лапы скребут по дереву, съезжают вниз по забору, и снова показываются нос и уши.

В столовой мы достаем из буфета молоко и булочки, оставленные с вечера, завтракаем и уходим бродить.

Наш дом стоит на самом краю города Весьегонска, близко к сосновому бору. Сюда, в военно-охотничье хозяйство, приезжают командиры Красной Армии охотиться, ловить рыбу и просто отдыхать. Мы с Андреем живем здесь две недели. Восьмого июня, в день нашего приезда, шел снег — такая непостоянная весна в этом году. Зато с восьмого июня в природе всё пошло отогреваться и расти у нас на глазах. Охота уже кончилась, и охотники разъехались по домам. Теперь приезжают рыболовы.

Мне хочется узнать край, а это всегда лучше связывать с какой-нибудь деятельностью. Так как Андрей может все ночи просиживать на реке, я тоже становлюсь

рыболовом. Руководят нами заведующий охотничьим хозяйством Иван Игнатьевич и помощник его Василий Иванович.

Иван Игнатьевич всегда ходит в зеленой гимнастерке — коренастый, спокойный и какой-то устойчивый. Загорелое его лицо, подчеркнутое белой полоской воротничка, обычно серьезно, но посмотрите на него, когда он учит новичка закидывать спиннинг: в момент броска лицо его вспыхивает энергией и молодеет лет на пятнадцать. Смеется он искренно и весело, и тогда у глаз появляется много морщинок, нанесенных солнцем и ветром, зноем и холодом. Такие лица бывают у путешественников и исследователей. Он — упрям. Лов рыбы любит только спиннингом или на блесну, лов сетями ценит с хозяйственной точки зрения.

Василий Иванович — потомственный рыбак и знаток рыбьей жизни. До этой весны он служил в рыболовецком промышленном хозяйстве и прославился знаменитыми на весь Весьегонск уловами. Василий Иванович ходит в пиджаке и черных брюках, заправленных в сапоги; он высок и худощав, лицо у него длинное, задумчивое, как бы обиженное. На реке он оживляется, задумчивость его исчезает, и тогда в брезентовом своем плаще и брезентовой же фуражке он напоминает шахтера. Он — специалист по разведению рыбы. Лов признает лишь промысловый и удовольствия в выуживании одной рыбы за ночь не понимает. Характер у него мягкий; дочь свою любит чрезвычайно.

Противниками Василия Ивановича и массового рыбного лова выступают местные любители-рыболовы, с которыми нас знакомит Иван Игнатьевич. Василий Иванович этих «любителей» не долюбивает за то, что они большей частью себе на уме, и хотя «места» знают, но приезжих рыболовов на них не водят. Это, чаще всего люди служащие: бухгалтеры, счетоводы — любители самого процесса ловли. Они могут ночь просидеть на берегу туманной Кесмы, прошагав двенадцать километров туда и обратно, чтобы выудить какую-нибудь пару голавликов. Они, по моему наблюдению, больше всего не любят мальчишек-рыболовов и вот таких любителей, как мы.

Василий Иванович не понимает ревнивого чувства любителя, который хранит от пришельцев свое излюбленное местечко на берегу. По-своему такой любитель тоже широк — в своей любви к природе, а не к людям, как Василий Иванович.

Бухгалтер, Александр Федорович, плотный человек лет сорока, зайдя к нам после ночного одиноборства с хитрым голавлем, которого он, обложив зелеными листьями, торжественно несет с Кесмы в корзине, говорит:

— Я бы вам не советовал заниматься ловом сетями. Это — промысел, а настоящий

любительский лов сейчас — на букарку! Вот поедем на Кесму, там в озерке наловим штук сто букарок. Знаете, личинки стрекозы? И вот это уж задачка будет: поймать хорошего голавля! Голавль — рыба хитрая, крючок трогает одной губкой. Тут искусство надо. А места я вам покажу.

— Не верьте вы ему, — говорит после его ухода Василий Иванович, и в голосе его слышится настойчивое и дружеское желание отвлечь нас от нестоящего, по его мнению, любительства, — ничего вы там не поймаете. Мест теперь знать нельзя. Большая вода все переменяла. Рыба разбрелась. Я тоже за хороший улов не ручаюсь, но местами-то какими поедем! Море. — не река! Поедем на «озеро». Карась сейчас икру мечет. В этом году все запоздало, карась только к берегу подошел. А на берегу ландышей — тьма! Пароходы бегут в Рыбинск! Это ж новое, этого нигде не видели.

Ездил я мы всюду: и с Василием Ивановичем по широкой Мологе мимо легкого светлого безрыбья на затопленных островах, и с Александром Федоровичем на Кесму. Ездил и с Иваном Игнатьевичем на Реню.

Речки Кесмы и Реня текут в Мологу. В июне они спокойны, медленны и полноводны, словно их подпирает в устье Молога большой весенней водой.

Еще с высокой песчаной террасы от города видно за низкой темной полосой вскопанных огородов голубое, огромное и широкое, как озеро, водное пространство. Молога вдалась глубоко в берега, стала над лугами, затопила прибрежные ивняки и березники. Ели будто плавают по воде, подгребая широкими лапами. На лодке можно проплыть над лугом, по лесной просеке, заплыть в лесок и даже поставить там сети на карасей. Вода отстоялась, она прозрачная, но коричневая, какой бывает в мшистых болотах.

Стоя в лодке, Василий Иванович и моторист Лева выбирают сети. С левой стороны из воды один за другим, с ровными промежутками показываются берестяные полавки. Потом из темной таинственной глубины, откуда-то из-под нависших ветвей, сеть подводит к лодке золотых карасей, бронзовых матозых линий.

— Вот и ливень карась! — торжественно говорит Василий Иванович, — вот и быстерка!.. Но это улов пустяковых. Сейчас над кормовыми рыбьими местами четыре метра воды стоит: рыба разбрелась, уюта для нее нет, вот она и ходит по всей реке. Теперь лов можно вести только наугад!..

— А когда же можно будет не наугад?

— Лет через пять можно будет. Вот как установится постоянная вода, зарастут подводными травами новые места...

Выбрав одну сеть, мы плывем к другой,

привязанной за ветку березы или просто зацепленной за торчащий из воды куст.

Эти затопленные в июне и по холодному году совсем «прозрачные» деревья стоят в воде, которая уже не уйдет, и их древесная жизнь кончилась в этой заводи. По новой всеьегонской географии Василий Иванович называет ее озером.

На отмели у высокого берега Мологи сети развешивают на кольях и сушат на свежем ветерке. Ландыши распустились на склоне. Черемуха осыпается. Карась подошел к берегу метать икру... И когда мы плывем обратно по разгулявшейся Мологе, навстречу нам бегут белые гребешки волн; волны наискось бьют в левый борт, перекатываются и заливают лодку. Леша-моторист крепко держит дрожащий мотор и правит на белое одинокое здание на низком пустынном берегу.

Здание это — Всеьегонское почтовое отделение, и еще год назад около него был город. Этой весной в Мологе подняли воду на четыре метра. Вот почему она, полная и свежая, подошла в июне к белому двухэтажному дому, как в самое большое половодье. На таком уровне она продержится до будущего года, когда воды в ней прибавится еще на четыре метра. Тогда Молога зальет всю низину около почты. Поэтому половину города Всеьегонска переносит на высокую песчаную террасу.

Дома уже перевезены, и теперь на низком берегу Мологи остался как бы план бывшего города с площадью, улицами и тропинками, ведущими к вскопанным четырехугольникам бывших домов и сараев. На месте домов сохранились подвальные ямы и углубления от выбранных каменных кладок; на месте сараев тоже разрыто: унавоженную землю хозяева увезли с собой на песчаную террасу, где теперь поселились.

Высокая вода Мологи подняла и уровень речек, впадающих в нее. От кривой сосны, склонившейся с высокого обрыва к Рене, я вижу темное извилистое русло реки, расщеченное, как мостами, заторами спущенных моём бревен. Из-под затора выбегает живая, сверкающая на солнце, прлоса течения, наискось пересекает реку и подбивается к тонким ветвям затопленного ивняка. Ивняк, легкий и веселый, кланяется. Где-то здесь бесприютная рыба разбрелась и ищет себе новых угодий.

В первый раз мы приехали на Реню с Иваном Игнатьевичем, когда березы стояли в мелких глянцево-листочках, а на черемухе плотно были свернуты цветочные почки. Дорога шла сосновым лесом, часто разделяясь на две и снова смыкаясь, что придает такую прелесть лесным дорогам. Чистые сосновые участки сменялись вырубками и тощим березничком.

У дома лесника под белостольными березами сидел у стола человек в черной

ватной куртке, в широко расстегнутой на груди рубашке. Свободно расставив локти, он подпирал руками большую голову со спутанными черными волосами. Борода его была расчесана на две стороны. Правильным лицом и своеобразной живописной манерой располагать себя в пространстве, он напомнил мне одного из жюль-верновских героев в детской книге, Финеаса Фогта.

— Здравствуй, Петр Петров, — поздоровался Иван Игнатьевич, — приехали за карасями.

— Очень рад, — ответил Петр Петров, он же лесник ренского участка, — милости просим на нашу Реню. Имеется поджарка из щуки. Вчера ездил с блесницей: хватает помаленьку. Еще одну рыбку присолил. Что я вижу! Два полковника! Ага, да вы и с сетями! Значит, завтра утром будем карасей вытязивать. Иван Игнатьевич, располагайтесь. Распрягайте лошадей.

Река была в нескольких шагах: тропинка вела к ней, обрываясь и оползая на желтом песке. С тропинки я увидела её спокойное плесо и по-весеннему просторные берега. Первыми бросались в глаза стволы и ветви деревьев, а уже потом зеленая мелкая листва на них. Внизу на темной воде чуть покачивались два легоньких челночка. Босоногие мальчишки на зеленом выступе берега варили уху на костре. Лесник принес из дома блесны разных форм и показывал их Андрею и полковнику Смирнову. Иван Игнатьевич и сын полковника, Миша, распрягали лошадей.

— Вот это — «Байкал», это — «Норвежская». Глядите «Norge Superior»: превосходная; я маленько в латыни разбираюсь! Вот самая удобная — ложечкой. Люблю с ней ездить: видите, сколько следов — это щука зубами прихватывала. А вот эту мне продали за заграничную. Принес ее домой, гляжу клеймо: «Лопатин, Петербург». Но хороша... Хороша!

Рассказывая, он прерывал себя смехом, резко повертываясь от одного собеседника к другому и рядом с Иваном Игнатьевичем — человеком большого внутреннего достоинства — казался преувеличенно суетливым, хотя и без малейшего заискивания. Взлохмаченный азартный этот человек быстро все повернул, так что мы, разделившись, кто с блесной, кто с удочкой, кто с сетями, вскоре оказались на реке. Крикнув жене ставить самовар, он сбегал с берега, неся доску для сиденья.

— Эй, французы! — заорал он на мальчишек, — если будете челноки угонять, я вам уши обрву!

В данную минуту челноки были на месте, но Петру Петрову хотелось показать, что он добрый человек и в дружбе с ребятами, хотя, по моему наблюдению, он был не добрый и равнодушный к людям чело-

век. Потом я убедилась в этом. Люди были нужны ему, чтобы рассказывать им о себе.

Он сильно пил. Дома у него было странное отсутствие самых необходимых в хозяйстве вещей. Зато огромный раскрытый зонт из парусины стоял во второй, «чистой» горнице, где жила только пестрая кошка с котятками: так там было пыльно и столько хлама было свалено.

Это был страстный любитель природы, поклонник темноводной Рени, негодующий, что новшествами испортили её русло. Он ловил рыбу только для дневной потребности: хлеб его изнурительный нужен был ему на один день, о будущем он не задумывался. Поймав щуку, редко две, на блесну, он немедленно возвращался домой готовить «поджарку» и, дождавшись из города очередного любителя, которые, кстати сказать, не переводились, вышивал с ним пол-литровку, угощал «поджаркой» и, направив гостя на челноке с «Байкалом» или «Норвежской», укладывался на полу в кухне, подложив под бок ту же куртку, которую днем не спускал с плеч.

С женой они жили, как мало знакомые люди. Она боялась мужа и ненавидела все, что он любил: не могла брать в руки трепещущих карасей и щук и никогда не ела рыбу. Круглое ее лицо было бы приятно, если бы не его неподвижность. Она любила сына, которого отец не любил. Сын ушел от них в город, поступил на завод и приезжал к матери на блестящем велосипеде, в синих шевитовых брюках, которые он тщательно оберегал и чистил щеточкой, вынутой из велосипедного кармашка. Мать ходила около него с гордым видом. Петр Петров как бы не замечал их.

И вот Петр Петров стоит на мысу между Реней и заливым озерком:

— Полковник! — командует он Андрею, — правьте вон к той березе! Сети выбрасывайте поперек. Пойдите, подгоните лодку, я к вам сяду!

Мы проезжаем в глубь озера, выбрасываем сети, привязав их одним концом к ветке дереза на берегу, а другой оставляя свободным. Сеть с поплавками и грузилами уходит в воду. Чем дальше от берега, тем всё больше поплавки погружаются, и белая, свернутая в трубочку, берега в темной воде кажется золотой. Потом мы их уже не видим: сеть легла на дно.

В кустах на берегу неожиданно раздаётся трель. Я не слыхала соловья очень давно. Милым голосом птицы заговорила с нами родина.

— Мне ни под каким видом в рай не попать, — говорит лесник, набивая трубку табаком, — я всю жизнь прожил в раю. «Не-ет, — скажет мой тезка, который там привратником работает, — Петр Петров, не располагайся: дважды в раю не бываешь». — И рассказывает, как он три

часа стоял однажды в ивняке: хотел увидеть поющего соловья, да не увидел.

А соловей поет, щелкает, свистит. Другой отзывается ему из леса. Мне уже не хочется думать, что Петр Петров — лентяй и мечтатель, и я с радостью добавляю к его характеристике свидетельство Ивана Игнатьевича о том, что лесник он все-таки дельный.

Когда лесник с полковником Смирновым отправились ставить сети в дальнем озере, а Андрей и Миша поехали ловить щук на блесну, Иван Игнатьевич начинал и себе присматривать дело.

Молодой черемушник на нашем берегу, весь сквозной и легкий, понемногу уходит в тень противоположного берега. На том берегу за высокими соснами, где-то очень далеко от них, идет к закату солнце, а верхушки сосен так и горят. Жена лесника пошла встречать корову и крикнула, что самовар поставит, когда вернется. Иван Игнатьевич втыкает в песок у воды три донных удочки, садится на берегу и, чувствуя за плечами большой день, проведенный в деятельном и приятном труде, сдвинув на затылок военную фуражку, погружается в созерцание.

II

Самую короткую ночь этого года мы с Андреем решили провести на реке и встретить там самый длинный день. Нам хотелось увидеть все тонкие переходы ночи в новый день. Мы совсем уж собрались на Реню, — посмотреть ее белые черемуховые берега над темными плесами, — но вспомнили, что сегодня суббота, а, значит, Петра Петрова беспрерывно посещают рыбаки из города, и каждый — с пол-литровкой.

Поэтому мы выбрали Кесьму — вотчину любителя голавлей, Александра Федоровича, но его не предупредили, что поедем. Серьезный человек, полковник Смирнов, достал «Тихий Дон» Шолохова и стал «освежать его в памяти». Таким образом, с нами на Кесьму поехал только сын его, Миша. Паренек лет четырнадцати. Вася, после обеда отвез нас за девять километров и оставил у маленького пешеходного мостика через Кесьму, пообещав приехать за нами завтра в семь утра.

— Счастливо оставаться! — крикнул он и степенно повернул коня. Тарантас покатил к лесу.

Мы пошли на озерко ловить букарку. Комары так и гудели над нами, пока Андрей заходил в воду и корзинкой пригребал к берегу мелких водяных жителей. Гладких, как пуговицы, водяных жуков мы выбрасывали, едва успевая выхватывать из густых водорослей многоногих

юрких букарок и бросать их в жестянку с водой.

Идя по берегу Кесьмы, мы вдруг увидели бухгалтера. С засученными брюками он стоял над водой и, замерев, следил за удочкой. Подальше, на песчаной отмели, купались ребяташки: мелькали на солнце белые тела.

Мы приехали в Весьегонск на две недели, но у нас было в запасе еще две: хотелось побывать в Сибири, в Боровом, где открывалось такое же военно-охотничье хозяйство. Послезавтра уезжать... Но в этом краю мы на каждом шагу чувствовали, что здесь — родина, здесь — наше коренное, и уезжать нам не хотелось.

В самом деле: с этой самой Мологой связаны воспоминания. В этих краях было «княжество» Тверское. Наши предки ездили по клюквенным болотам, по сосновым лесам, охотились на лосей, которых и теперь здесь много. Тут же собирались дружины в ополчение на татар по призыву Дмитрия Донского. По таким лесам ходил Пушкин и назвал их «прозрачными». Мы слышим эту свою родину в музыке Чайковского. В таком лесу любил охотиться Владимир Ильич Ленин.

Простая речка в невысоких берегах, березы на лугу и птичий гомон в кустах, — в лесу снова и снова начинал петь соловей, но дальше вступления дело у него не шло, может быть оттого, что миновала пора, — всё здесь напоминало о замечательных людях прошлого, которые любили и понимали эти голоса родины.

Само будущее страны являлось нам в этом краю, где никого уже не удивляет, что человек меняет для своей пользы уровень воды в реках, переносит города с места на место. Всё соединялось в одно огромное и стройное движение большого народа, создающего историю на земле. Андрей сказал:

— Я сегодня звонил в Москву полковнику Скворцову, спрашивал, можно ли продлить весьегонские путевки за счет Борового. Он ответил: «Пожалуйста, я рад, что вам там нравится...»

Так сразу и решилось, что мы остаемся. Под крутым глинистым берегом, в тени, похолодало и ничего не ловилось. Пока я управлялась с костром, рыбаки всё поглядывали на ту сторону: там была песчаная отмель, тепло освещенная уже низким солнцем, и ближе к ней всплескивала рыба.

На заходе солнца вдруг стало так тепло, будто землю прикрыли одеялом, и сильнее загудели комары. Солнце приближалось к горизонту за широким лугом, по которому отдельно стояли группы берез, осин, елей. Березы даже сегодня, 21 июня, были в очень мелкой, молодой зелени; через глянцево-небольшие листья виднелись их длинные свисающие ветви.

Не дойдя до горизонта, солнце стало заходить за иссиня-серое облако, и по небу прошла розовая волна, останавливаясь и усиливаясь там, где были чуть заметные прозрачные облака. Солнце шло вниз, а серое облако расширялось и поднималось вверх, так что, казалось, солнца скоро не будет видно. Но темная тучевая полоса поднялась быстрее, и под ней открылось легкое голубое небо. Солнце спустилось в этот голубой просвет, бросив сначала вниз сноп светлых лучей, потом — вверх. И эти лучи встали над тучевой полосой, как корона. В одиннадцать часов вечера солнце ушло за горизонт, а полоса на закате держалась очень долго и была сначала красная, а потом оранжевая. Двинулась и пошла самая короткая ночь в году.

Когда над потемневшей водой в конце длинного плеса рыбаки зажгли костер, Андрей и Миша пришли пить чай. Недалеко от нас, на нашем берегу, тоже загорелся костер, и белый дым от него потянулся над лугом. Мы пошли посмотреть, кто там рыбачит. Подойдя поближе, мы увидели сидящих около костра мальчиков, и как-то всем троим сразу пришло в голову: «Я узнал, наконец, куда я зашел...» — так это напоминало Бежин луг. Мальчики внимательно посмотрели на нас и пригласили посидеть с ними:

— Что-нибудь нам расскажете, — сказали они. Но у нас уже готов был ужин, и мы ушли, позвав ребят к своему костру.

Когда Андрей и Миша стали собираться на ту сторону, подошли мальчики. Появился бухгалтер Александр Федорович в калошах на босу ногу и попросил десяток букарок: голавль должен браться на заре.

— Терпеть я не могу этих ребят, — сказал Александр Федорович. Ребята пошептались и захохотали. — Хулиганы, каких мало. Только рыбу пугают, вот и все их дело. Тут караулишь ее часами, а они купаться вздумают: бух да бух в воду. Оголтеть...

Александр Федорович взял в консервную банку букарок и ушел.

— Дядя, — сказал один из мальчиков, обращаясь к Андрею, — расскажите нам, за что вам дали орден.

— Усмотрели! — сказал Андрей. — Когда я был на Дальнем Востоке, штаб у нас хорошо работал, вот и дали.

Я запротестовала: ребятам надо рассказать подробно, как и где работал этот штаб и что в штабе делают люди во время войны. Пообещав притти к ребячьему костру и побеседовать утром, Андрей с Мишей быстро схватили удочки, жестянку с букарой и зашагали по лугу. Я рассказала ребятам о том, как живут и работают командиры Красной Армии на Дальнем Востоке. Мы славно поговорили.

После захода солнца воздух похолодел, и комары стали налетать редкими стай-

ками. Но птичий гомон в кустах не унимался. За болотинкой, в молодом лесу пели соловьи так, будто только готовились к настоящему пению: долго повторяли какой-то милый, в переливах, свист. За рекою непрерывно кричал дергач. В темной воде реки стояли перевернутые легкие деревья.

Наши рыбаки уже появились на отмели против меня. Миша, надев от комаров длинный брезентовый плащ Андрея и подняв капюшон, с удочкой в правой руке и дымящейся головешкой в левой, ходил по отмели, похожий на монаха.

Мне хотелось узнать, какой берег раньше осветится на восходе и, значит, где раньше начнется клев. Я встала лицом к закатной полосе — посмотреть, какой путь пройдет солнце в эту самую короткую ночь. Было уже больше двенадцати часов, но совсем светло, за полтора часа оранжевая полоса передвинулась вправо. Я встала так, что, если сильно повернуть голову к левому плечу, как раз увидишь место, где солнце ушло за горизонт: место это было в развилке березы с двойным стволом. Повернув голову, охватывая взглядом четвертую часть горизонта, я попробовала угадать, не здесь ли покажется солнце. Прямо передо мной над лесом стоял узеньким серпом месяц и был на убыви.

Я стала следить за оранжевой полосой, оставшейся после заката. Она передвигалась вправо под серым тучевым краем, и в ней как бы передвигался и цвет: с левого края она бледнела, а к правому становилась оранжево-красной, сильной и напряженной. Туча у горизонта расширялась, и поднимаясь кверху, истончалась и расходилась отдельными серыми облачками, постепенно покрывшими все небо. Узенький месяц все шел вверх. Отсырела под ногами трава. По лугу очень низко плыл легкий редкий туман и застывал в травах. Река словно курилась туманом, а от леса наступала белая, плотная полоса его.

К двум часам место, где взойдет сегодня солнце, определилось: между закатом и восходом было меньше, чем пятая часть окружности горизонта. Красный цвет неба становился здесь все ярче. Я в это время зачерпывала воду в реке и увидела, как серые облачка, каждое с одной стороны, побелели. Когда я присмотрелась, эти белые края порозовели, и цвет неба, опрокинутого в реке, стало трудно передать словами. И так же трудно — красками, потому что и на небе, и в реке все непрерывно и чудесно менялось. Опрокинутые берега реки с весенними деревьями ушли в великолепную толпу розово-золотых с темными краями облаков. От поверхности реки отлетал туман и истаял в воздухе.

У нашего берега плеснула рыба, круги

пошли по воде, колебля весь небесный свод. А когда я поднялась на высокий берег, загородивший мне место восхода, солнце уже шло за лесом, и туман у леса поднялся. Он тянулся полосой у вершин берез, как крыло улетавшей белой ночи.

И вот солнце уже проходит по небу свой самый большой круг в этом году.

Мы привезли в город ветки цветущей черемухи и несколько окуней, пойманных на рассвете. Были и голавлики.

Около кухни на бревне сидело несколько человек: сторожа и охотники с дальних точек. Они пришли кто с палочкой, кто с мешком за плечами, сделав за светлую эту ночь путь в двадцать, тридцать километров, и теперь ждали, когда их позовет Иван Игнатьевич. Каждую неделю сторожа являлись к нему с докладом. Народ был всё пожилой, многосемейный, знающий, как живут птицы в лесах и на болотах, рыбы — в реках и озерах. Один рассказывал, что мимо его дома прошли лоси и разворошили стожок сена; другие — о щучьем жоре на реках. И нам казалось, что и лесные, и водяные обитатели находятся в управлении у Ивана Игнатьевича.

Тут же стоял и Василий Иванович, сегодня одетый по-праздничному, в светлую рубашку с галстуком. Он уже успел съездить вместе с Лешей и двумя вновь прибывшими командирами на озеро и привезти целую корзину линейных карасей, просто карасей и линей. Рыба, цвета старой бронзы, лежала на столе перед поваром. Ждали только нас, чтобы бросить ее на сковородку. После завтрака было совещание с Иваном Игнатьевичем о походах на следующие две недели. Он рассказывал нам о жизни лосей.

Когда время подошло к полудню, к Ивану Игнатьевичу пришел старик-пчеловод. Иван Игнатьевич решил при охотхозяйстве устроить пасеку, но, так как дело было в самом начале, то он не хотел тратить деньги на пчеловода и учился сам водить пчелу. Старик, колхозный пчеловод, приезжал давать ему уроки. Оба они надели белые халаты и стали похожи на врачей, затем надели сетки и пошли на пасеку.

Пасека была как раз под нашими окнами и отделялась высоким забором от большого двора. Человек пять командиров собралось у окна, чтобы посмотреть через стекло, как ловко пчеловод вынимает рамки, окуривает и сметает пчел, а Иван Игнатьевич совершенно серьезно повторяет за ним каждое движение. Солнце шло по небу ровным своим путем. Иван Алексеевич сидел у склада на повернутом ящике и что-то записывал. По радио передавали последние известия.

Вдруг передача остановилась.

— «Слушайте, слушайте, слушайте, — сказал голос диктора, — сейчас будет говорить товарищ Молотов».

— Слушайте, товарищи, — сказал Лева Фукс, сын главного врача Куйбышевской военно-медицинской академии, — это что-то необычное. Слушайте!

— «Граждане и гражданки Советского Союза, — услышали мы, — Советское Правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну...»

Так мы узнали о начале войны с Германией.

Мы все стояли у радио-рупора: командиры, приехавшие отдохнуть, и служащие военно-охотничьего хозяйства. Полковник Смирнов пришел из своей комнаты с открытой книжкой в руке. Кто-то успел сбегать за Иваном Алексеевичем.

Пока товарищ Молотов говорил, никто из нас не постучал в окно, не позвал Ивана Игнатьевича: нагнувшись над ульями и дыма грибом, он и старик вставляли рамки, и не было большего осуждения вероломному германскому нападению, чем этот мирный труд человека под ясным, теплым, солнечным небом!

Голос Молотова умолк. Командиры, отодвинув обшлага гимнастерок, посмотрели на часы. Было двенадцать часов двадцать минут. Можно успеть на поезд.

— Ну, надо собираться, — сказал Андрей.

В это время Иван Игнатьевич вышел из большого двор, снял сетку и отер платком вспотевшее лицо. Андрей пошел к нему навстречу. Мы видели, как Иван Игнатьевич выслушал его, лицо стало строгим. Потом он обернулся к подходившему Ивану Алексеевичу и громко выговорил резкое, необычное для него ругательство.

Жена Ивана Игнатьевича, не молодая, но красивая, большой сердечности и доброты женщина, наклонившись, спешила к нему через двор.

— Полянка, — сказал он, — попроси ко мне Василия Ивановича. Буду сдавать дела Ивану Алексеевичу. И готовь чемоданчик, — он посмотрел на беспокойные глаза жены, на пошедшие пятнами ее щеки и положил руку ей на плечо. Они пошли к дому.

Так 22 июня, ранним утром, в самый величественный день года, над нашими полями, лесами, реками и озерами, над простыми нашими людьми и над всем, что они любили и берегли, над нашим прошлым, настоящим и будущим встала страшная угроза.

Мы не успели еще угадать размера этой угрозы, как из конторы вышла счетовод

Ольга Алексеевна и, тревожно глядя на меня огромными печальными глазами, сказала:

— Знаете, страшно за сына!..

III

Около крыльца, где дорога светлой широкой петлей лежит на зеленой траве, происходит много событий. Сюда приезжают со станции командиры, тут снимают их чемоданы с тележки, сюда же, круто повернув, подают лошадей, чтобы ехать на охоту или рыбную ловлю, и выносят из склада сети, палатки, полушубки; сюда же командиры выходят по утрам высматривать погоду, постоять и покурить с товарищем. Поэтому дорога здесь плотно вытоптана.

Отсюда люди и уезжают.

Вероятно, в первый раз за все время существования военно-охотничьего хозяйства Ивану Алексеевичу не надо выдавать на завтра продукты. Тех людей, что остаются, и считать нечего. А приедем командирам, которые так спокойно и весело выходят по утрам подышать и размяться на свежем воздухе, с аппетитом едят все, что им ни подадут, хвалят всегергонскую крупную, как вишня, клюкву и взвешиваются каждую неделю на десятичных весах у Ивана Алексеевича на складе, — им его заботы уже не нужны: они уезжают.

Едет и Иван Игнатьевич — по воинскому билету его первая очередь — и Василий Иванович, и здоровый круглолицый моторист Леша.

В природе сегодня нет вчерашней спокойной прелести утра: тополя трепещут всей листвою, шумливо встряхивая на ветру зелеными ветвями и показывая беловатую изнанку каждого листа. Вывешенная для просушки палатка надувается, как парус. У склада Леша помогает Ивану Алексеевичу переставлять ящики. В движениях его заметна беспокойная торпливость.

Иван Игнатьевич вышел во двор в зеленой своей гимнастерке, с мокрыми зачесанными назад волосами.

— Еще не ложился, — сказал он, здороваясь с нами. — Дела передавали. Леша! — крикнул он, — ты как? За сетями поспеешь съездить?

— Никак, Иван Игнатьевич! Мне в девять часов являться.

— Ну что ж! Управимся сами. Как мамаша?

— Мамаша уже подорожников напекла, — улынулся Леша. — Все хлопочет.

Мамашу мы видели иногда на нашем дворе: она приходила выбирать из клюквы, рассыпанной на брезенте, зеленые листики и бурые подгнившие ягоды. — маленькая старушка в ситцевом платочке с

приветливым взглядом и быстрыми движениями проворных рук. Однажды после удачного лова Василий Иванович отобрал хорошую связку рыбы и сказал: «Отнеси мамаше». Леша широко улыбнулся и ответил: «Мамаша у меня всегда с рыбой: я ей ловлю». Леша служил на Дальнем Востоке связистом, был в Спаске начальником радиостанции и, вернувшись домой, стал работать мотористом. Мотор у него всегда в порядке, а сам Леша деловит и заботлив; командиры говорили про него: «У, Леша — парень дисциплинированный».

— Мамаше скажи, если что понадобится, пусть ко мне приходит, — сказал Иван Алексеевич.

Все было просто. Никаких лишних фраз. Со вчерашнего дня некогда стало разговаривать, но напряженное течение мысли чувствовалось за общей работой расстающихся людей, как будто они лучше стали понимать друг друга.

У всех, кого мы за это время знали, как самих себя, оказались дорогие им, близкие люди. Мы об этом тоже знали, но раньше об этом как-то не думалось. Теперь же в каждом ясно виднелось то дорогое, что украшает ему жизнь и с чем ему надо расставаться. Мы шире видели и лучше узнавали их всех.

Вот у Леша — старенькая мать, у Василия Ивановича — дочка, в которой он души не чает, у Ивана Игнатьевича — жена, Полина Васильевна...

Она входит во двор, высокая, в белом простом платье, с черными, чуть тронутыми сединой волосами, вьющимися низко на шее. Дочь замечательного охотника, егеря из Завидовского лесного хозяйства, она хорошо знает все повадки зверей, охотилась с отцом, любит рыбную ловлю. При нас у нее нехватало времени поехать на реку; всем помогала: повару — готовить, сестре-хозяйке — по хозяйству, и даже уборщицам. Но сегодня она ни за что не беретса, глаза у нее тревожные и блестят:

— Пойдемте, я вам покажу его, — говорит она и, войдя в свою комнату, достает фотографию Ивана Игнатьевича, где он, снятый в военной форме, глядит моложе и, ей кажется, красивее. В ту пору жизни мы его не знали, а ей хочется, чтобы мы знали его с той же давностью, как и она.

— А вот, — она достает фотографию красивого, темноглазого красноармейца, — этого мы с Иваном Игнатьевичем воспитали. У Ивана Игнатьевича еще два сына от первой жены, оба — лейтенанты. А этот, — она отодвигает от себя карточку, чтобы полюбоваться, и глаза ее влажнеют, — этот еще красноармеец. Наш татарчонок, родной наш сынок... татарчонок наш...

Последний раз мы съездили на Мологу уже без Леша. Это было ранним утром двадцать третьего июня.

С песчаной террасы открылась густосиняя, вся в косых белых гребнях волн, Молога. У дальнего берега пароход тащил вверх две широких баржи. Чистый и свежий ветер принес нам запах цветущих берегов.

— Лодку держите наперекор волне, — сказал старик-сторож, вынося из сарайчика мотор.

— На всякий случай прибрось весельце, — ответил Василий Иванович.

Высокая волна ударила в борт, обдала нас водяной пылью и с шипением разосталась по низкому берегу. Сторож столкнул лодку и пожелал нам счастливого пути.

Как же любовно все мы смотрели на зеленые берега Мологи! Когда сушили сети, развели огромный костер. С нами сидел сторож с озера Дорожев, пожилой человек с резкими чертами лица, длинным носом, и все вздыхал. У него в озере окуни такие огромные, их по семьдесят штук в день удочкой вылавливают, и кругом на болотах клюквы не оберешь никак, а теперь как же будет? Может, не нужны станут ни рыба, ни клюква? Народу бы только успеть с хлебом да со скотом управлять.

— Ну, удочкой не поспеют — сетями твоих окуньков добудут! — сказал Василий Иванович. — Только гляди: к нашему возвращению разведи нам окуньков, не опускай это дело.

— Будут ли к тому времени наши «точка» существовать? — сказал сторож. — Да и сам я наверно воевать пойду. Я — старый воитель, артиллерист...

— Жена вместо тебя останется. Ребята подросли, будут помогать.

— А разве надобность в «точках» будет?

— А то как же! Зачем же сызнова налаживать, когда хозяйство уже пущено в ход. Мы его в санаторий обратим...

— Кто обращать-то будет? Иван Игнатьевич в первую очередь идет. Вы, Василий Иванович, тоже. Иван Алексеевич — хорош человек, да по охотничьим делам не спец; некому без Ивана Игнатьевича и взяться. Эх, как человек дело знает, как знает!

Иван Игнатьевич не только знал. Мы убедились, что он видел будущее своего дела и очень верно понимал новую прелесть русской природы, понимал, что новое в ней ничего не уничтожает, а, наоборот, прибавляет широты и выразительности. На-днях он возил нас посмотреть место для постройки охотничьего дома. На высоком берегу Мологи в сосновом лесу он облюбовал широкий мыс между двумя оврагами. Сказать по-северному, это была «глядень» — изумительной прелести ме-

сто, где вспоминалась то матушка «князя Михаила», которая «по высокому угорышку похаживает», горюя о загубленном ею сыне, то Чурилья-игуменья, посылающая Снафидиных сестренниц за «ересным зельем».

Когда, сложив подсушенные сети в корме, мы сели в лодку и у Андрея, заменившего Лешу, заработал под рукой мотор, я спросила: как такое хозяйство, столько людей, «точек» управятся без Ивана Игнатьевича? Андрей ответил:

— Конечно, сторож верно сказал: Ивана Игнатьевича заменить трудно. Но подумай, как хорошо красноармейцам будет около Ивана Игнатьевича. Это же отец людям...

— Да, — согласились все, — это так.

Когда мне хочется вспомнить последний день в Весёгонске, я вижу наше крыльцо, широкий двор, покрытый зеленой низкой травкой, которую так любят щипать гуси, и лаковые тополя направо от крыльца. Солнце уже пошло к закату. Иван Алексеевич сидит на перильцах, смотрит грустными глазами на сидящих около него командиров — одни расположились на ступеньках крыльца, другие принесли длинную садовую скамейку и поставили ее у дороги.

Один из новоприбывших командиров — молодой лейтенант, с круглым загорелым лицом и голубыми глазами — сказал:

— Только что успели осмотреться, и вот, пожалуйста! Скажем: «До свиданья, девушки!» — и поедем...

— Так, — сказал полковник Смирнов, — это не по вашему ли адресу в мое окно букетик бросили? А? Еще в довоенное время было, вчера утром...

— Шутите, товарищ полковник! Я человек скромный, куда мне! А теперь и вовсе: все чувства и силы на защиту родины.

— Да, — серьезно сказал полковник, — Ганнибал у ворот! — об этом мы не должны забывать ни на минуту, помните — Ленин говорил в 18 году?

— Тяжелая война предстоит, — сказал капитан.

— Но немецкие армии всегда разбивались об упорство русских. — это надо помнить, — ответил полковник, делая ударение на слове «всегда».

— Потому они и ладили нас захватить врасплох, — сказал лейтенант. — Ребятам на границе теперь достается.

Подожел повар, старый человек, и сказал грубокомысленно:

— На базаре старушка говорила, что немец в один день с французом войну начал, которая была в двенадцатом году. И начал немец войну, когда луна убывала. А это уж всем известно, что никакое дело на убывающую луну начинать невозможно. Вы вот, молодые люди, усмеаетесь, а это верно, — он посмотрел на

усмеявшегося полковника Смирнова. — У Петра I был такой генерал Брюс, он календарь составил, и там все указано, когда и что делать, даже когда ногти стричь, и в баню ходить, и амурными делами заниматься. А уж тем паче таких дел, как войны, Петр никогда без Брюсова календаря не начинал.

— Тем лучше, — сказал полковник, — что Гитлер, не посмотрев в святцы, бухнул в колокол, — и все засмеялись.

— А я к вам пришел, — обратился к Ивану Алексеевичу старик, — выдайте клюквы — я мигом морсу сделаю: им скоро ехать. Жарко, пить захотят. Может, в бутылки с собой возьмут. Какая вода на станции!

— Э, отец, нам привыкать надо, ты не беспокойся, — сказала Лева Фукс, в начале июня сдавший государственные экзамены в вузе и едва начавший отдыхать. — Наше дело теперь военное, суровая жизнь воина, так сказать, — и он пошел в комнату.

— А тяжело, — сказал Иван Алексеевич, — от своей работы человеку отрываться. Вон как вчера Иван Игнатьевич. Мы с Андреем Константиновичем говорим ему, что война, он и слов не найдет: выругался. Обидно человеческое дело бросать из-за фашистов.

— Ну, — заключил капитан, — великое дело — освободить от них мир. Жаль только, что матери наши горе узнают. У меня мать в военных делах плохо разбирается. Помню, когда меня сержантом еще из полковой школы выпустили, пишу: «Пришли, мама, мне двадцать треугольников». Получаю посылку. Лежат двадцать деревянных чертежных треугольников! «Эх ты, думаю, мамочка моя, штатский ты человек!» Товарищи хочут, и сам я посмеялся. А сейчас — что-то жалко ее стало.

В это время мы слышали скрипку, сопровождаемую оркестром: Лева включил радио.

... Мы все узнали Чайковского: только он и мог так напомнить нам обо всем, что нас окружало. Все замолчали, вслушиваясь в свое и наверно различая перед собой какие-то родные картины. Передо мной появилась широкая синяя Молога с косыми белыми гребнями волн... Ландыши цвели на высоком берегу, мокрые сети сушились на колыях, и ветер морщил их серые петли... Русская песня возникла на сельской улице в жаркий день и стала удаляться, и это было так, будто мы сами, уходя, оглядываемся на родной дом, и вот уже только за нами слышны затихающие голоса...

Сидевший рядом со мной лейтенант вздохнул и сказал:

— Вот и у нас так веселятся в день урожая, — и я поняла, что он, как и я, увидел родные места.

И так, наверно, перед каждым из нас начала тихонько повертываться родная земля, и для всех показалось самое любимое. Все мы почувствовали, как дороги нам эти островерхие леса, полноводные реки, и что не просто, нечаянно, досталось все это нам и может быть отнято у нас. Нет! Всеми силами души своей наш народ соединен с этими сквозными перелесками и влажными полями, и, когда мы ставим плотины и поднимаем воду в реках, мы устраиваем и расширяем свою жизнь по своим законам, стараясь быть справедливыми и достойными владельцами этой огромной земли, которую не окинешь глазом. Твердую уверенность, что наш народ никому не вырвать корнями из родной земли, почувствовали мы.

Так мы сидели молча и смотрели, как к скалау пошла высокий худой Иван Алексеевич и плотный повар в белом халате.

У крыльца на телегу уложили чемоданы, подушки, рюкзаки. Набралась полная телега. У конюшни заднего двора заржала лошадь. Из-за кухонной пристройки вышел кучер на шарабанчике, не доезжая, спрыгнул, бросил вожжи. Лошадь, рыжая, блестящая, остановилась. Кучер подошел и подтянул чересседельник, выпростал на широком ее с белой отметиной лбу клок рыжих волос, залез на козлы и, подъехав, остановился за телегой.

Из конторы вышел Иван Игнатьевич с Полиной Васильевной, готовые в дорогу. Со ступенек спускались друг за другом полковник Смирнов, лейтенант, Лева Фукс, капитан. Миша уже сидел на телеге.

— Товарищи, — сказал Иван Игнатьевич, — лошади у нас на дальней «точке»: послал их подкормить до начала покоса. Предлагаю сложить вещи и прогуляться до станции в пешем строю.

И мы прогулялись. Мы шли всем военно-охотничьим хозяйством: Иван Игнатьевич с женой, Василий Иванович с дочерью и все отдыхавшие командиры. Некоторые егера уезжали, остальные непременно хотели проводить товарищей. По песчаным светлым улицам Весьегонска

все мы шли к станции под жарким солнцем, и сухой песок рассыпался у нас под ногами.

Мы прожили с этими людьми две недели. Какие-то черты их характеров стали нам известны за это время, другие остались в тени, и мы их не успели рассмотреть. Но хорошее, дружеское единение установилось между нами. День этих людей проходил в заботе о нас, но они не осуждали нас за то, что мы вкусно едим, ездим на охоту и рыбную ловлю, крепко спим в прохладных чистых комнатах.

Когда один из отдыхающих командиров сказал, что мы живем, как помещики в своем поместье, мы его попросили не говорить так при Иване Игнатьевиче и всех его помощниках: сравнение, казалось мне, могло обидеть работников военно-охотничьего хозяйства. Мы жили здесь среди своих, таких же служащих и рабочих людей, как мы сами, все время чувствуя окружающую нас родину. И поэтому мы и отдохнули так полно.

Сначала масса свежих и сильных впечатлений заставляла нас, уставших после зимней работы, только отзываться на них, потом мы почувствовали, как что-то крепкое и сильное начинает формироваться внутри и готово вот-вот проявить себя. И уже новая жадность к жизни бьет в нас: мы взволнованы, наблюдательны, радуемся, мы отдохнули!

Такими нас застала война. Перед лицом внезапно вставшего перед нами грозного испытания мы как бы собираем себя, мобилизуем в душе неуязвимый запас всего приобретенного нами от родной страны, за годы нашей юности и за зрелые наши годы, и... выходим в длинный, трудный путь.

Мы выходим все вместе из родного нам дома. — все собравшиеся сюда работать и отдыхать — и вступаем в новую, очень трудную полосу жизни, которую мы принимаем, как временную и неизбежную. За сутки, прошедшие с начала войны, каждый из нас, вероятно, уже определил в ней свое место.

Так мы подходим к станции Весьегонск и далеко за лесом видим дымок своего поезда.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ СТИХИ

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

★

ОКЕАНСКИЙ ПОСТ

На водной станции песок
Давно ли был песком пустыни?..
Тогда тебя, Владивосток,
Здесь даже не было в помине.

Где жизнь теперь, где свет теперь
От зданий порта до окраин —
По зарослям в ту пору зверь
Бродил вдоль бухты, как хозяин.

Но с давних пор по руслам рек,
По морю, по тропинке узкой
Сюда стремился человек,
Пытливый сын долины русской.

Был долгий путь его тяжел.
На нем преград опасных много.
И все-таки смельчак дошел
До грани Золотого Рога.

Душой силён, умом смышлён,
Для внуков будущих заране
Военный пост поставил он,
Чтобы стоял при океане!

И вот — стоит во весь свой рост,
Держа советский флаг высоко,
Могучий океанский пост
Под именем Владивостока.

★

ПРИМОРСКАЯ ПЕСНЯ

Ходил я по западным странам,
Отчизне на море служил.
На Дальнем Востоке теперь с океаном,
С большою волной подружил.

Я тайну матросского сердца доверил
Гремящей за бортом волне:
За мною — таёжный, извилистый берег
И та, что грустит обо мне...

Встает на рассвете белесом
Сестра океана — тайга.
Не меньше любого советского леса
Тайга для меня дорога.

Над кедрами вьются тумана волокна.
А где-то, за сопкой крутой,
Пока еще полночь. Завешаны окна
Подруги моей золотой.

На вахте бессонной встречая
Приморского утра зарю,
Сквозь тысячи верст из далекого края
Такие слова говорю:

— Тебе, утомленной заботой дневною,
Желаю спокойного сна.
И где бы я ни был, повсюду со мною —
И ты, и родная страна.

Дальний Восток, 1945.

ТРЕТЬЯ ПАЛАТА

Повесть

БОРИС ЛЕОНИДОВ

★

1

Ночью капитан Питомцев терял веру в свое выздоровление. Только сон, благодатный сон мог бы спасти от мрачных мыслей. Сон не приходил. Питомцев стыдился своей бессонницы и скрывал ее от товарищей. Он знал, что не спят лейтенант Тимченко и лейтенант Егорьев, и притворялся спящим. Он лежал лицом вверх, полуприкрывшись одеялом, и придумывал средства борьбы с тягостными мыслями и бессонницей. Слушал, как майор Добров кричал во сне. Он кричал таким же скрипучим голосом, каким говорил днем. Питомцев заметил, что его крики мирные, а не военные: «Черти, котел забили», или: «Топливо надо экономить». Война не сделала Доброва военным, он остался глубоко мирным человеком.

Бодрость Питомцев черпал в боевых воспоминаниях. Чаще всего в памяти всплывал последний бой. За ним ничего не было — наступила бесконечная ночь. И, замкнув круг, он вновь возвращался к бессоннице и невеселым мыслям. Побороть бы бессонницу — тогда мрачные мысли пройдут, как дурное настроение. Думать надо о тихом и приятном.

Зоя Федоровна! Он живо вспомнил ее первое появление в палате. Пришла она вечером сразу после ужина в сопровождении своей секретарши. Поздоровалась мягким, ласковым голосом. Привычное «здравствуйте, товарищи» прозвучало по-новому, словно она вернула этим словам первоначальный, уже стершийся смысл. Помолчала секунду — ее молчание слышно было — и сказала все тем же голосом, который придает обычным словам необычную теплоту и задуховность: «Общество слепых командировало меня к вам — я учительница. Буду обучать вас по слепой системе Брайля. Вы вновь почувствуете связь с миром, и на душе станет светло».

В тот же вечер она дала первый урок. Потом приходила ежедневно. Она обучала наглядно, легко переходя от одного слепого к другому. Ее шагов никогда не слыш-

но, они чувствуются. Так чувствуешь движение рук и ног в воде, когда нырнешь глубоко. Милочка и Людочка — те громко топают на высоких каблуках и мелко семенят ногами. Как приятно прикосновение руки Зои Федоровны! Она даже не догадывается, что переживает Питомцев, когда она коснется лица или руки. Сказать ей он не смеет. Да и к чему говорить? Он ее никогда не увидит. Она его тоже никогда не увидит. И все же — прошла бы скорее ночь, пролетел бы день — вечером придет Зоя Федоровна. Поднести бы ей цветы. Где взять их зимой? На столе — он знает — два больших горшка с фикусами. Фикусы. Лианы. Пальмы. Джунгли. Без конца и края непроходимые джунгли. Он бродит в них до усталости, до изнеможения и засыпает тяжелым, беспокойным сном.

Утром в 7 часов в палату вошла сестра — физкультурница. Раненные звали ее «физичка». Она хлопнула дверью, взметнув легкий ветерок, и подала команду:

— Товарищи, на зарядку!

— Опять вы шумите! — проснувшись, с раздражением сказал капитан Питомцев. Он приподнялся на локте. — Кажется, знаете...

— Кроме вас в палате есть и другие больные, — физичка строго взглянула на капитана большими круглыми глазами.

— Мы не больные, мы раненные.

— Это все равно.

— Расстройство желудка и ранение в бою — не все равно. — Питомцев сердито перевернулся на другой бок. Мягкое байковое одеяло он натянул на голову.

Некоторое время физичка молча смотрела на лежавших раненых, затем шумно подняла на окне синюю маскировочную штору.

В палате чуть посветлело. Оконные стекла покрыты сложным морозным узором. Под высоким потолком тускло мерцает пятнадцативечная электрическая лампочка — ночник.

На зарядку поднялся только красноармеец Петрусь Подопригра. Он всегда и

во всем послушный и покорный. Он встал босиком на холодный пол, широко зевнул, затем долго чесал левой рукой плечо, а правой — живот.

— Наденьте туфли, простудитесь, — приказала сестра.

— Та ничего, мени не холодно, — Петрусь добродушно улыбнулся.

— Наденьте! — настойчиво повторила сестра. — И перестаньте зевать и чесать-ся. Начнем!

В сонной тишине раздавалась ритмично повторяемая команда: «вдох — выдох», «вдох — выдох». Петрусь старательно вдыхал и выдыхал, точно раздувал кузнечные меха. В движениях он подражал сестре. Не все у него получалось. Короткие, натруженные с детства ноги не слушались: не вытягивались, как у сестры, плавно, параллельно полу, плохо держались на весу и произвольно опускались.

— Не опускайте ногу без команды! — покрикивала сестра.

На одной ноге Петрусь не мог устоять. Он беспомощно подпрыгивал и, чтобы сохранить равновесие, балансировал руками.

— Беда мне с вами! — сестра хлопнула себя длинными руками по ляжкам.

— А вы не турбуйтесь, сестра, мени воно без дила. Я на одной нозе николи не хожу.

— Ах, ты, господи, дело не в этом. Какой вы, право...

Петрусь понимал, что огорчает сестру, и виновато мигал глазами. Но как он ни старался, ноги не слушались его. Словно в утешение сестре и себе в оправдание, он притворно-наивно сказал:

— Ноги у мене дурни. Ось, бачете? — И показал, поочередно приподняв, короткие, непослушные, как деревянные обрубки, ноги.

Сестра рассмеялась. Ее большой рот растянулся до ушей.

— Ничего, Петрусь, физкультура делает чудеса. Наладим. Зато сейчас у вас появится здоровый аппетит. Хорошо кушать будете.

— Я и так добре кушаю, було б чого йисты, — успокоил ее Петрусь.

Зарядка продолжалась десять минут. Сестра ушла, громко хлопнув дверью. Она все делала громко.

День начался.

Сквозь заиндевшие стекла прорвался оранжевыми и синими лучами рассвет. Густой морозный узор стал прозрачным. Как в тумане, неясно обозначались контуры холмистого берега и реки, скованной бугристым льдом. Над рекой, совсем низко, из-за серо-синих взъерошенных облаков лениво выплывало зимнее, нелаское солнце.

За дверью, в длинном коридоре, разделявшем госпиталь на две половины, слышались быстрые, снующие взад и вперед

шаги санитарок. Они готовили завтрак, звеня чайной посудой. Слышался приятный, мелодичный голос старшей сестры Александры Петровны. Она отдавала утренние распоряжения.

В госпитале всего шесть человек раненых в глаза. По настоянию глазного врача, Екатерины Николаевны Кудряшевой, офицеров положили вместе с красноармейцами в третью палату. «Не бегать же мне из-за двух человек сверху вниз и снизу вверх».

В просторной палате на койках, вдоль стены лежали красноармейцы Петрусь Подопригра и шофер Никита Титов. Койки офицеров стояли перпендикулярно к ним. В широком проходе между койками у большого окна — стол, накрытый вышитой скатертью. На столе — два больших горшка с фикусами, декорированные цветной гофрированной бумагой с пышными бантами.

Титов сбросил одеяло, сел и устремил пустые глазницы в пространство. Он о чем-то напряженно думал, как будто силлся вспомнить что-то очень важное. И, словно вспомнив, беспокойно спросил:

— Петрусь, цветы поливал?

— Доси возився с физичкой. Зараз воды принесу.

— Все забываешь, а цветы пропасть могут, завянут. — Титов прислушался к шагам Петруся. Когда хлопнула за ним дверь, успокоился.

Повязку Титову сняли неделю тому назад. Он считался выздоровевшим. Екатерина Николаевна не выписывала его из госпиталя «по личным, семейным обстоятельствам», а формально потому, что по утрам из пустых глазниц Титова все еще вытекали микроскопически мелкие частицы стекла.

Титов мягко массировал пальцами закрытые неподвижные веки. Ни к кому не обращаясь, он сказал:

— Опять стеклышки. Мелкие-мелкие, как песок. И откуда они берутся?!

Титов вздрогнул, словно от сильного толчка. Сначала послышался визжащий полет снаряда. Впереди на дороге среди желто-бурой вихрящейся пыли вздыбилось черное облако с пламенем. Повернул баранку руля круто вправо, но услышал дребезжащий звон разбитого смстрового стекла. Не успел подумать «где стекло теперь достанешь», как в глазах быстро-быстро завертелись огненные круги с двойными ободками. Вертелись они в разные стороны. И все сразу исчезло — и круги с двойными ободками, и черно-пламенное облако, и машина, и он сам.

— Эх, — вздохнул Титов, — неплохо бы сейчас взглянуть в зеркало: как же так, совсем без глаз? Маленькие были у меня. Жена говорила — зеленые. Хоть и зеленые, а жалко, без них никак...

— Додумался, Титов? Без глаз плохо? Скажи, пожалуйста! А мы и не знали, — смеясь, сказал лейтенант Тимченко. Он сидел на кровати. Одежда валялась на полу, воротник желтоватой бязевой рубашки растегнут, видны ключицы, смуглая грудь, повязка с глаз сдвинулась и повисла, как ошейник.

— А по правде признаться, — сказал Тимченко, — самому охота посмотретья в зеркало. Дорого бы дал! Моя мать, когда нежность на нее нападала, говорила: «Красивый ты мой». Я не обращал внимание, мало ли что мать говорит. А вот сейчас посмотрел бы — красивый я или нет? Просто интересно.

— И смотреть нечего — красивый. Все лейтенанты красивые. Особое свойство этого высокого звания. Впрочем, и ефрейторы тоже красивые, — гремел из под одеяла приглушенный басистый голос капитана Питомцева. Он поднялся рывком, подскочив, как на пружине, на железной сетке, и потянулся так, что кости хрустнули в суставах.

— Нет, кроме шуток, — рассуждал вслух лейтенант Тимченко, — какое место в красоте человека занимают глаза? Может ли человек считаться красивым, если у него нет глаз?

— Дорогой мой, — гремел басом Питомцев, — натошак вредно заниматься философией. Вот гимнастикой — полезно. Зря не поднимаетесь на зарядку.

— С вами серьезно не поговоришь, — Тимченко обиделся.

— Гм, серьезно. Ну, уж если вы хотите серьезно, так я вам скажу. Аполлон Бельведерский красив независимо от того, видит он или нет. А он, конечно, не видит. Он из мрамора.

— И это вы считаете серьезным разговором?

— Природа ничего не создает ради голых красоты. Глаза нужны, чтобы видеть ими — у них точная функция. Конечно, это не исключает, что одни глаза красивы, а другие некрасивы. У меня правый глаз приказал долго жить, а левый еще неизвестно — есть он или нет. Бабушка надвое гадала. Спрашивается: чем я, слепой инженер, буду полезен людям? А кстати и себе?

— Вы, товарищ Питомцев, простите, вы просто путаник. Красота и точная функция — разные вещи.

— Нет, дорогой мой, я не путаник. Я мыслю точно и конкретно.

Петрусь принес чайник воды и полизал фикусы.

— Петрусь? — спросил Питомцев.

— Я, товарищ капитан.

— Докладывай!

— Завтрак хороший: кашка-манка, масло, блин хлибци и чай.

— Не то, Петрусь. Ты все о жратве. Эх, Петрусь, Петрусь!.. — Питомцев вдруг за-

пел приятным басом: — «И за того Петруся. была мене матуся. Ой лыхо не Петрусь, биле лычко, черный вус». Докладывай, Петрусь, так, как я учил.

— Есть, товарищ капитан. — Петрусь продолжал поливать цветы и, не поворачиваясь, докладывал медленно и немного нараспев:

— Сонце, таке як учора з утра: свите та не гриє.

— Небо?

— Чисте, доще, мабуть, не буде. Вроди хтось небо синькой покрасив, а по винцям — сурьком.

— Термометр?

— Так я ж грамоты не знаю.

— У местных жителей должен расспросить, а знать обязан, Петрусь! Так генералом не будешь.

— Все изощряетесь, товарищ Питомцев! А Петрусь неграмотный. Больше месяца, а мы молчим. В госпитале пропагандисты есть, общественники сюда ходят, стихи читают. — Скрипучим голосом заговорил молчавший до сих пор майор инженерных войск Добров.

— Я бы, например, с ним охотно занялся, — сказал, вставая с постели, лейтенант Егорьев. — Но при моих нервах и раздражительности... К тому же я не знаю украинского языка.

— Попросим сегодня Милочку или Людочку заняться с ним, — предложил Питомцев. — Петрусь, кто тебе больше нравится — Людочка или Милочка?

— Обе хорошие. Воня як близнючки, — рассмеялся Петрусь.

— А ведь он здорово подметил, — сказал лейтенант Егорьев. — Они действительно похожи на двух близнецов. Обе блондинки, голубоглазые, румянянькие, одинаково одеваются. Одну зовут Людочка, а другую — Милочка. На самом деле это одно имя — Людмила!

— Вы шахматист, товарищ Егорьев? — спросил Питомцев.

— Да, играю в шахматы. Почему вы спросили?

— Догадался. У вас ум аналитический.

— И как вы не устанете острить, товарищ Питомцев! — с усмешкой сказал майор Добров.

— Я, как говорится, двуличный, усталость мне не свойственна.

— И такая энергия пропадает! Ветряная мельница на холостом ходу.

— Только не будем друг друга оскорблять, товарищ Добров, — сердитым басом сказал Питомцев.

— Что вы, что вы! Я просто воздаю вам должное. Я — человек не злобный. Будем завтракать. — Добров нащупал ногами шлепанцы на полу и встал. В больничном белье он казался особенно высоким и худым. Левый глаз у него забинтован, на лице выделяется тонкий красноватый нос с горбинкой, а на голове из-под

бинта торчат ключьями жесткие седеющие волосы. Он набросил на себя фланелевый халат синего цвета и сразу стал как будто меньше ростом.

Няня принесла завтрак и чай. Ставя каждому завтрак на его тумбочку, объявила:

— Сегодня платный буфет.

— Чудесно, чудесно, — обрадовался Питомцев. — Петрусь, вот бумажник, — достал он из-под подушки, — возьми капиталу рублей пятьдесят и действуй. Себе паек купи и мне. И мой тоже будет твоим. Поправляйся, Петрусь! Ты молодой, тебе много надо.

— Спасибо, товарищ капитан! Що ж вы масло рукавом? Давайте, я намажу вам на хлеб.

— Дорогой мой Петрусь, как я только буду жить без тебя! Обязательно возьму с собой. Ты сирота, усыновлю, дам образование и будем работать на-пару: я диктую — ты пишешь, одна должность — два оклада. Идет?

— Як скажете, так и буде, товарищ капитан. — Петрусь аккуратно намазал маслом два ломтя белого хлеба. Один дал в руку Питомцеву, другой положил ему на тарелку. — Ось чай, берите в руку. — Он нацелил руку Питомцева на чашку и направился к кровати лейтенанта Тимченко. На ходу, как бы прося извинения, сказал: — Титов, я зараз. — Сам он завтракал последним.

— Добрейшей души ты хлопец, — похвалил его Питомцев.

— Таким уродився, — Петрусь заботливо помогал лейтенанту Тимченко.

2

Несчастье, говорят, как и дружба, объединяет людей. В третьей палате несчастье никем не ощущалось. Оно витало поверху, было временным, как белая марлевая повязка. Дружбу также не называли по имени, не поминали. Она чувствовалась во всем, словно ею согривался в комнате зимний холодный воздух.

В эту теплынь Екатерина Николаевна на утреннем обходе внесла холодную струю. Мягким, привычным жестом она подняла веки Титову, внимательно рассмотрела глазные полости и, подумав, сказала:

— Все хорошо, Титов. Прекрасно! Выпишем вас. — Она сидела на краю кровати, боком, согнувшись, и смотрела на него добрыми серыми глазами.

Титов устремил на ее голос закрытые, неподвижные веки. Голос мгновенно отзвучал. Стояла густая, непроницаемая тьма и где-то в ее глубине, точно рыба в реке, Екатерина Николаевна. Титов понуро опустил голову, коснувшись острым, небритым подбородком оголенной груди и тихо, почти шопотом, произнес:

— Утром опять стеклышки... Мелкие-мелкие.

— Они теперь безвредны, — Екатерина Николаевна ласково, по-женски, погладила маленькой рукой его коротко стриженные черные волосы и встала.

— Екатерина Николаевна, как же так выписать? Ведь ответа еще нет, — Питомцев вскочил с кровати и стал быстро надевать халат.

— Ничего не могу сделать. Больше нельзя, — холодно ответила Екатерина Николаевна, задетая его резким тоном.

— Это вы не от души, от бюрократизма.

— Товарищ Питомцев, нельзя же так, — одернул его майор Добров.

— Вы всегда резки в выражениях.

— На моем вооружении нет камертона, — бросил Питомцев Доброву. — Простите, Екатерина Николаевна. Может быть я действительно... Но как же оставаться спокойным? Титова выписывают на улицу.

— У вас доброе сердце, товарищ Питомцев, — не то серьезно, не то с иронией сказала Екатерина Николаевна. Она стояла, склонив набок голову, и прикрыла руками гладкий, как у девочки, торс, точно стыдился чего-то. И совсем уже другим, официальным тоном, добавила: — Титова будет сопровождать сестра до самого дома и сдать его на руки жене.

— Так ведь в этом же вся загвоздка! — вспыхнул Питомцев.

— Знаю. К сожалению, не все в моей власти. — Екатерине Николаевне стало до слез обидно, что кто-то считает ее недоброй, бюрократкой. Вдруг и Титов так думает? Она готова была обрушиться бурей возмущения, но сдержалась. Она — врач, а они — больные, ей нельзя давать волю своим чувствам. И через силу спокойно сказала: — На сборы уйдет еще несколько дней. За это время может быть...

К горлу подступил ком, и слова дальше не шли. Она не могла рассказать больным, что начальник госпиталя приказал выписать Титова еще три дня тому назад. Сегодня он сделал ей строгое замечание. Сейчас вот она обещала Титову, что на сборы уйдет еще несколько дней, и опять ей придется держать ответ. Резко оборвав фразу, она повернулась и ушла быстрыми, мелкими шажками с опущенной головой и руками на гладком торсе.

— До чего ж они бездушны, врачи! — возмущался Питомцев. — Для них болезнь человека, горе, несчастье — нормальное явление. Мне так и сказал один врач: «Нас никогда не зовут на веселье, всегда в несчастьи». Профессиональное бездушие!

— Товарищ капитан, — обратился к Питомцеву Титов обиженным голосом. — Катерина Николаевна все для нас делает. Зря вы...

— Ну и характерец у вас, товарищ Питомцев! — сказал Добров.

Лейтенант Егорьев сидел на кровати. Он облокотился о колени, подпирая руками подбородок, и от этого произнес как бы сквозь зубы:

— А все дело в нервах. По себе знаю. Лучшее средство — молчать. Ни во что не вмешиваться и молчать. Нервы успокоятся, тогда совсем другой разговор.

— Чепуха! — резко ответил Питомцев. — Нервы у меня, как жилы у быка. А когда вижу даже малейшую несправедливость — не могу молчать.

— А нервы надо вам все же полечить, — с усмешкой сказал Добров.

— При чем тут нервы! — кипятился Питомцев. Ему казалось, что ни Добров, ни Егорьев, ни Титов не понимают истинной причины его горячности. — На фронте, в бою, я убеждался не раз — кое-кто из так называемых спокойных, выдержанных часто терялся, впадал в панику. Со мною этого ни разу не случалось. Мне поручались довольно ответственные и опасные дела. Молчать — не в моем характере.

— А молчание — тоже искусство. Особенно при расстройстве нервной системы. — Подчеркнуто-спокойно сказал Егорьев.

— Молчание — удобообтекаемая форма: ладить со всякого рода людьми и с собственной совестью. Говори прямо, в лоб, то, что думаешь и чувствуешь. Заставь себя уважать за прямолинейность, за честность, а не за покладистый характер, — с особой горячностью возразил Питомцев.

— Прямолинейный или четырехугольный характер, по-моему, одно и то же, — спокойным голосом и, как всегда, с усмешкой, заметил Добров. — И это тоже — форма, а не качество.

— Товарищи! — обратился ко всем лейтенант Тимченко. — Как хорошо, когда мы не спорим! Каждый может думать. Там ведь некогда было, а теперь время есть. Может быть молча, без споров, лучше придумаем, как помочь Титову.

Петрусь прислушивался к громкому разговору офицеров и понимал только то, что выписывают Титова. С ним он сдружился и знал, что Титову нельзя сейчас выписываться из госпиталя. Петрусь и сам боялся выписки, хотя и по другим причинам. Он посмотрел здоровым левым глазом на своего друга и, по тому, как тот лежал неподвижно, лицом вверх, понял, что ему тяжело. В таком состоянии нельзя оставить друга одного. Петрусь встал с кровати, аккуратно заправил одеяло, как это делала няня, и направился к Титову. Сел возле него и, взяв его за руку, тихо сказал:

— Це я, Титов.

— А-а! Садись, Петрусь, посиди.

Петрусь не выпускал руки Титова из своей и чувствовал, как его собственная холодная рука теплеет. Другой рукой он нащупал у себя между скулой и правым глазом застрявший осколок, точно проверил, на месте ли он. Из-за него глаз ничего не видел, хотя сам по себе не был поврежден. Зрачок лишь потускнел и потерял обычный живой блеск. Екатерина Николаевна сказала, что на днях Петруся переведут в хирургическое отделение, сделают операцию и извлекут осколок. «Может быть, подумал Петрусь, и Титова еще не выпишут — по утрам у него вытекают из глаз мелкие стеклышки». Вслух он ничего не сказал. Молчал и Титов.

В окна глядел белый зимний день. Морозный узор растаял и крупными слезами медленно сочился по стеклу. В проявившейся дали холмистый берег обозначился темносерым домами с пышными, как взбитые пуховые подушки, снежными крышами и дымящимися трубами. Дым, подхваченный ветром, низко стлался замысловатыми кольцами и завитушками над рекой, разрезавшей город пополам. По замерзшей реке, как по широкому мосту, двигались не сжеша, взад и вперед, вперемешку, грузовые машины и подводы. Маленькими, скользящими во всех направлениях черными фигурками казались пешеходы. За рекой, за холмистым берегом город жил напряженной жизнью военного времени. Жизнь эта отдавалась в палате легким дребезжанием стекла, неясным шумом и гулом.

Титов наизусть знал оба письма, полученные им в госпитале от жены. Сколько раз, по его просьбе, Любочка и Милочка читали ему эти письма. Он вслушивался в каждое слово, пытаясь проникнуть в тайный смысл того, что скрывалось между словами. А тайный смысл в тревожных этих письмах несомненно был.

В первом письме Клава после всяких приветов и поклонов осторожно, но с явной тревогой спрашивала: «почему вы, Никита Федорович, своей рукой не пишете? Почему не написали, куда и как вас ранило? Боюсь я чего-то». Во втором письме, сухом и деловом, Клава писала: «Опять же, Никита Федорович, вы чужой рукой написали и не признались, какое у вас тяжелое ранение. Вам, я знаю, больно и неприятно, но и мне знать надо. Жизнь у меня, по правде сказать, не легкая, а на руках двое детей. Детки растут, слава богу, и здоровы. Я теперь работаю крановщиком на новом военном заводе. Отстроили в прошлом году. С утра до вечера занята, а прибежишь — с детьми надо, да по хозяйству управиться, и никак времени нехватает. Какая же наша жизнь будет? Налишите про себя, что хоть подумать успела. Подумаю и напишу».

Смысл тревожных вопросов жены Титов понял так, что если он к труду неспособен,

то Клаве возиться с ним некогда — и без него хлопот и забот много. Клава еще до замужества отличалась молчаливым, замкнутым характером, хозяйственной деловитостью не по летам, людей ценила по их работоспособности и уважала по количеству заработанных трудодней. Замуж вышла она за Титова без горячей любви, а спокойно, рассудительно, словно выполняла заранее намеченный план жизни. Поцеловать себя она позволила только за столом, когда вернулись из ЗАГС'а и гости, подвыпив, закричали «горько». И в дальнейшем, за три года совместной жизни, на ласки она была скупа и дарила их не часто. Но эти редкие минуты, казалось Титову, стоили вечности. Он всегда ходил под их впечатлением, как в сладком чаду. Он видел в ее холодных карих глазах скрытый огонь, согревавший его одного, и гордился этим. Жили они хорошо, и жизнь их — спокойная, уравновешенная, ставилась в пример и у многих вызывала зависть. Титов любил Клаву, супружеской жизнью с нею был доволен, верил, что и она его любит, но об этом никогда с ней не говорил. Он работал шофером в МТС, а она — бригадиром в колхозе. С первых же дней замужества Клава заявила, что хочет жить в городе. Титов не спорил. Перед самой войной он устроился в городе шофером на продскаде, а Клава занялась устройством новой городской жизни. На окраине у железнодорожника, в его собственном домишке купила комнату, перевезла из села кое-какую мебель и сразу почувствовала себя так, словно здесь родилась и век жила. На работу она никуда не устраивалась, на руках был уже сынишка и ждала вскорости прибавления.

Титова призвали в армию. Клава приняла известие спокойно: ни охов, ни вздохов, как другие, ни разговоров. Минуты две она сидела молча, точно осваивалась с неожиданной новостью, затем встала и поделовому сказала: «Ладно, сейчас все готовую». И, как будто давно готовилась к войне, к тому, что мужа призовут, достала из сундука, окованного белой жестью, теплые шерстяные носки, варежки, портянки и новенькое теплое белье. Не забыла положить в мешок иголок, ниток, кусок мыла, полотенце, и бритву с помазком. К вечеру напекла пирожков, белых пышек и сказала: «Все готово. Можно спать до утра».

Титов с тревогой в голосе спросил: «Как же ты без меня тут?»

Клава коротко ответила: «Обо мне не заботься. У меня руки здоровые и голова на плечах. Справляйся поскорее с немцем и приезжай».

Титова сон не брал. Всю ночь он прислушивался к ровному, спокойному дыханию жены. Один лишь раз Клава проснулась, приподняла голову, дотронулась ру-

кой до мужа, точно проверила — на месте ли он и мгновенно уснула.

Утром Клава проводила его на сборный пункт. Солидно простилась, без лишнего жара трижды поцеловала, и, только когда сказала: «Поскорее же ты вернулся», Титов почувствовал в ее голосе что-то похожее на тревогу. Спокойствие Клавы, провозжавшей его, точно в командировку, ободряюще действовало на него и вселяло веру в скорое и благополучное возвращение.

Все эти подробности Титов — в который раз — перебирал в памяти и по-новому осмысливал. Клава представлялась ему теперь холодной, бездушной и расчетливой. Никогда, думал он, она его не любила и замуж вышла только потому, что в девках оставаться неприятно. Парень же он был заметный, на хорошем счету, и девчата искали с ним встречи. Но все это — прошлое, и его не вернешь. Обидней всего то, что он ее любил и теперь любит. И сынишку своего, Шурку, любит. И того, другого любит, что родился без него, которого не видел и никогда больше не увидит. Хоть одним бы глазом взглянуть! Большой ли теперь Шурка? Помнит ли он своего папку, узнает ли? Как отнесется к нему тот, другой? Посадить бы обоих к себе на колени и поиграть с ними. Шурка бы спрашивал про войну, про фрицев, небось все уже понимает. Ружьишко купить бы ему, пистолет, машину, а то и танк. Где-то он видел игрушечный танк с заводом. Заведешь пружину, и танк сам двигается. Вот бы обрадовался Шурик!

Приятная, долгожданная, радостная картина исчезала, как только он начинал думать о Клаве. Холодно, равнодушно встретит его, еще холоднее, чем провожала, и сухим деловым голосом скажет: «Как же я с тобой, со слепым, жить буду? На себя и на детей рук не хватает, а за тобой ходить надо. Тебе лучше пойти в дом инвалидов, там уход есть за такими». Что ж, она, пожалуй, и права. Но с какой стати? Почему? Какое у нее такое право? Не на гулянке я глаза потерял. Сама она может и не жить со мной — ее дело, насильно не заставишь. Дети мои. Заберу. Скажет, закона нет такого. Так то до войны не было, а теперь должен выйти другой закон. Добьемся! И я докажу ей — годен я или не годен. Читать и писать научусь по-слепому, работать буду не хуже зрячего, а поводырь мне не потребуется. Зоя Федоровна говорит, что привыкну и с палочкой ходить буду не хуже, чем с глазами. Детей своих прокормлю и сам сытый буду. Да и Клаву прокормил бы. Хорошо б все-таки с ней вместе.

Титов порывисто поднялся, сбросил с себя одеяло и дернул Петруся за руку.

— Давай аппарат! Эх, мне бы еще дней пять попрактиковаться! Я докажу! И тебя, Петрусь, научу.

Уже две недели Титов практиковался монтировать наощупь полевой телефонный аппарат. Как только раны стали заживать и Екатерина Николаевна сказала, что «скоро совсем здоровым будете», Титов стал готовиться жить. На войне он начал связистом и за год укрепился в новой специальности. По его просьбе старшая сестра, Александра Петровна, достала ему через шефов полевой телефонный аппарат и необходимые инструменты. Вначале работа не спорилась, руки плохо слушались, и без помощи Петруся он не мог обойтись. Петрусь заменял ему глаза, но чужими глазами не проживешь. На помощь неожиданно пришла Зоя Федоровна. Когда Титов пожаловался ей, что плохо осязает бугристые точки, образующиеся от наколки на плотной бумаге, Зоя Федоровна пощупала кончики его пальцев.

— Кожа у вас огрубела, — сказала она. — Потом привыкнете, пальцы станут чуткими.

Петрусь подал телефонный аппарат.

— Разбери, — велел Титов, — и смейся все в кучу. — Он решил смонтировать аппарат без помощи Петруся.

3

Титов молча выбирал из кучи детали телефонного аппарата. Он внимательно ощупывал их, точно переливал в кончики пальцев силу, оставшуюся от еще памятного зрения. Отобранные части клал на большую фанерную доску в определенном порядке, как на конвейере. Покончив с этим, сказал:

— Петрусь, начинаю сборку. Буду говорить, что к чему — запоминай.

— Добре, — покорно согласился Петрусь.

Капитан Питомцев не видел, что делает Титов. Поязка раздражала и злила. Хотелось следить за действиями чужих рук. Любопытно: как же без привычки, вслепую?

Под поязкой маячила сплюснутая фигура в больничном белье с неясным расплывчатым лицом и черными впадинами вместо глаз — фигура Титова, которого он знал лишь по голосу.

— Титов, какой у тебя рост?

— Сто семьдесят два, товарищ капитан.

Поязка мешала. Питомцев просунул палец, почесал переносицу и слегка дотронулся до глаза — он был горячий и мокрый, точно парился в кипятке.

Есть еще надежда, подумал Питомцев, а у Титова — никакой. Почему торопятся выписать его? Почему мешают ему наладить жизнь? Нелепый вопрос! Не может же он лежать в госпитале бесконечно — война продолжается, раненые прибывают. Зря был резким с Екатериной Николаевной. Она — чуткий, отзывчивый человек, добросовестно выполняет свои обязанно-

сти. Она, конечно, не властна. И все же несправедливо — Титову надо войти в жизнь. Но почему он думает только о нем? О себе надо подумать. А что, если? Величайший дар природы — зрение. Без рук еще можно обойтись. Впрочем, хорошему, ценному работнику нужно иметь для личных услуг кого-нибудь, вроде Петруся. На фронте у командира — ординарец. Вполне оправдано. Секретарша есть у любого, даже посредственного начальника отдела. Главное все же глаза. Руководить — это видеть и предвидеть. Титов может поехать к жене, может быть она его примет, а он куда поедет? В пустую комнату? До тридцати лет дожил — и один! Вот когда спохватился! Нянька потребовалась! Поводыр! Интересно: Зоя Федоровна замужем? Вообще — слепые выходят замуж, женятся? Никогда об этом не думал. Надо будет спросить у нее. Зрячему — слепой не нужен. Странные мысли лезут в голову. Чорт знает что! О чем он думает? «Нужны глаза. Хоть один. Видеть, видеть! Буду видеть! Не сдамся!»

— Кто вас в плен берет, товарищ Питомцев? — с усмешкой спросил майор Добров.

Питомцев понял, что последние слова произнес вслух и сконфузился.

— Так, что-то померещилось. — И, помолчав, порывисто поднялся. — Нет, вру, ничего не померещилось. Не сдамся! Хочу видеть хоть одним глазом. Я никогда так не ощущал жажды видеть, как сейчас.

— Немудрено, раньше у вас было здоровое зрение. Хочется того, чего нет.

— Нет, не то! Поймите меня правильно, — продолжал Питомцев, словно рассуждал вслух. — Вот я на фронте. Рвется снаряд, нависает смерть. Я чувствую ее приближение и не хочу умирать. И не потому, что я боюсь смерти и хочу жить. Нет, это не инстинкт самосохранения. Я хочу убить врага, а не быть им убитым. Что это: жажда жизни? Нет, жажда победы. Я об этом много думал. Думал, когда смерть стояла рядом.

— Точно, товарищ капитан, — поднялся лейтенант Тимченко. — И я так чувствовал.

— Возможно, что это так, — задумчиво согласился Добров. — Я так не думал. А впрочем, думал, но как-то по-другому. Наводил понтонный мост. Попал снаряд. Меня ранило. Я потерял сознание не больше, как на секунду, и не упал, а присел. Первое, о чем я подумал — успеть бы к сроку закончить наводку. Посмотрел на часы, но циферблата не различил. Понял — ослеп. Меня подхватила сержант Еськов под руки: «Товарищ майор, пойдете». Я упирался и кричал: «Заменить звено». Еськов тащил меня. Я пошел только тогда, когда он сказал: «Уже сменяют».

— Это так. То же самое, — перебил его Питомцев, — жажда победы. Жажда побе-

ды — это стремление вперед. Я ушел на фронт лейтенантом. За год — я капитан и три боевых ордена. Что ж я — гений? Нет! Таких, как я — тысячи, десятки тысяч. Война чрезвычайно обострила чувство ответственности. Каждый в отдельности нес его в себе, и оно становилось жаждой победы. До войны мы неплохо работали. Выполняли пятилетки в четыре года. Но разве это может идти в сравнение с тем, что мы делали на войне? От Сталинграда до Восточной Пруссии не два года — десятилетка. Эпоха! Я был инженером производственного отдела, но знал только свой стол, свои бумажки, а видел все. Почему так? Само собой так повелось — не было повышенного чувства ответственности. Дай мне теперь место на заводе — и я начну все переверачивать. Переверну с большой пользой для дела. А работы бездна, непочатый край. Не заплати класть, строить новое по-новому, бросок вперед сразу на десяток лет. Разрушенное блокировать — и вперед. Люди вернутся домой с победой, с огромным опытом преодоления трудностей. Жизнь предстоит большая, но не легкая, везде потребуются люди. Армия подходит к Берлину, а в тылу есть еще такие, что застряли на позициях у Вязьмы. Блутуют, живут по записочке. Чертополох, полоть их надо! Хочу ринуться по-новому в эту большую жизнь. Остановка за малым — не вижу. Понимаете? Я должен видеть!

— Точно, товарищ капитан. Верно говорите, — сказал Тимченко. — Только ужасно вы деловой человек. За делами сомненья не видите. Забыли совсем про него, ни слова не сказали. Разве можно без солнца? Как жить и не видеть такой красоты?

— Красоту можно чувствовать, слышать и даже осязать, — подчеркнуто спокойно возразил Егорьев. Он встал, надел неспеша халат, прошелся по широкому проходу между кроватями и сел возле Питомцева. И, так как все молчали, продолжал с тем же подчеркнутым спокойствием: — Смотрите вы вперед, товарищ Питомцев, пожалуй, правильно. Кажется мне только, шумите вы очень. Почему обязательно — «подай мне завод — переверну его»? И у меня есть кое-какие мыслишки по части новшеств. Что же, и мне кричать: «Подай Наробраз — переверну его»? Много шума — толку мало.

— А вы не бойтесь, было бы о чем шуметь! В жизнь надо входить не на цыпочках.

— Опять же: «шумим, братцы, шумим», — еще более спокойным тоном сказал Егорьев. Он был доволен, что ему удалось сдержать в себе готовое вспыхнуть и прорваться наружу внутреннее возмущение. «Все же нервы оседали я», — подумал он. — Поговорим серьезно. Вернусь в школу к своим ребятишкам. Народ очень зыска-

тельный, не терпит никакой фальши. Я — один из числа непобедимой Красной Армии. Следовательно, в их представлении — герой. Где же видано, слыхано, чтоб герой хорохорился, шумел?

— Ага, попржежнему вдалбливать в детские головки старые истины, — Питомцев встал. Ему хотелось шагать по комнате. Повязка на глазах как будто сковала все тело. Он дернулся вперед, но сразу же сел, нервно ощупал повязку и продолжал. передразнивая поучающий тон Егорьева. — «Русский богатырь, Илья Муромец, сиднем сидел тридцать лет и три года»... Двигаться вперед надо, и не на цыпочках! Любый Сидоров, Петров — сейчас богатырь. Он шел один на «Тигра», на огромное чудовище современной техники. И побеждал! Это вам не с рогагиной на медведя ходить! Все мы стали другими. Не ждите, пока Наробраз подаст вам на блюде готовенькую инструкцию. Несите свой опыт в Наробраз!

— Все это нервы, а не активность, — не сдержавшись, с заметным раздражением ответил Егорьев.

— Я думаю, что горячность — не всегда нервы, — примиряюще сказал Добров. — Иногда это темперамент. Я бы хотел понаблюдать вас обоих в практической жизни.

— А я вот думаю: куда мне слепому приткнуться? Что я буду делать? — с грустью признался Тимченко. — Потеря зрения — катастрофа...

— Вы преувеличиваете, товарищ Тимченко, — пытался ободрить его Добров.

— У меня нет профессии, специальности. Я кончил десятилетку, пошел в военное училище и на фронт. На что я теперь годеи?

— Человек может ко всему приспособиться. Вон Титов монтирует аппарат вслепую, — Добров утешал Тимченко, но думал о сыне, который ушел на фронт, как и Тимченко, сразу по окончании десятилетки. Что с ним? Где он? Два месяца о нем никаких известий.

— Титов и раньше умел монтировать аппараты. У меня никакой сноровки нет, — не соглашался Тимченко.

— Сноровка — дело наживное, была бы охота, — утешал Добров.

— Но почему я должен монтировать аппараты? — повышая голос и раздражаясь, говорил Тимченко. — Нет у меня призвания. Не хочу. Вы строили свою жизнь как хотели. Капитан Питомцев шумит. И правильно! Жизнь — не тихая заводь. И я хочу шуметь.

— Не о куске хлеба речь, — поддержал его Питомцев, — этим нас обеспечат. Надо свое место занять на земле.

— Резкий вы человек, товарищ Питомцев, не чуткий! — с возмущением сказал Егорьев.

— Извините, под сурдинку не привык. И вам не советую, товарищ Тимченко. —

Питомцев закинул ноги через кровать и сел рядом с ним. Взял его за плечи и шопотом, словно доверяя тайну, сказал: — Гоните всех от себя, кто помогает вам хныкать.

— Пожалуй, вы правы, товарищ Питомцев, — задумчиво произнес Добров. — Хирургия — жестокое средство, однако, помогает.

Тимченко лег, зарылся лицом в подушку и натянул на голову одеяло, точно продрог.

В палату вошли Людочка и Милочка. Они добровольно помогали сестрам в уходе за ранеными. Все на них одинаковое: белоснежные, слегка накрахмаленные и немного шуршащие халаты; однообразные белые блузки с отложными воротниками и пестренькими, своей вязки, галстуками; одинаково причесаны и только запах духов разный: у Людочки — «Москвичка», у Милочки — «Бетти». Они в один голос напевно поздравлялись.

— Здравствуйте, товарищи! — И после дружного приветствия разошлись в разные стороны. У каждой — свой любимчик.

Людочка, дружески обняв Петруся, звонко щебетала:

— Петрусь, милый, здравствуй! Как себя чувствуешь? — И незаметно при этом сунула ему в руку пачку папирос.

— Спасибо, — смущаясь благодарил Петрусь. — У мене ще есть. И махорки пачка есть.

Милочка села на кровать к Тимченко и сдернула у него с головы одеяло.

— Сережа, вы не хотите со мной поздороваться? — спросила она капризным голосом.

— Здравствуйте, Милочка! — пробурчал он угрюмо и натянул одеяло на голову.

— Погодите, погодите, — она вновь сдернула одеяло. — Что случилось? У вас дурное настроение?

— А с чего ему быть хорошим? — Он повернулся и лег на спину.

— От Люси нет еще письма? — Милочка спрашивала про Люсю, точно это была ее закадычная подружка. Знала же она ее только со слов Тимченко и по его письмам к ней, которые писала вместо него.

— Так скоро не может быть, — мрачно ответил Тимченко.

— Чего же вы раскисли?

— Так, мысли разные в голову лезут. Хочу солнце видеть. С утра все хочется в зеркало посмотреть. Скажите правду, Милочка, лицо у меня очень обезображено?

— Да нет же, уверяю вас. — Она густо покраснела. — Как у детей после ветрянки, рябинки. — Она говорила утешающую неправду. Лицо у Тимченко было испещрено черными и коричневыми мелкими ссадинами от многочисленных осколков.

— Милочка, — ворвался басом в их беседу Питомцев. — Вы могли бы полюбить слепого и выйти за него замуж?

— Товарищ Питомцев, мне девятнадцать лет, я еще на первом курсе, — уклончиво ответила Милочка.

Сестра позвала на перевязку к врачу.

— По одному идите, — предупредила она.

Первым пошел Егорьев.

— А меня выписывают, — вдруг объявил Титов, ни к кому не обращаясь, но имея в виду Милочку и Людочку.

— А ответ от Клавы? — спросили обе в один голос.

— А что мне ее ответ?! — запальчиво сказал Титов. — Я сам по себе. Поеду, посмотрю, если что не так — заберу детей. Я могу свое лицо показать всем, не с гулянки вернулся без глаз. Хороший человек от меня не отвернется.

— Нет, товарищ Титов, — жалобно сказала Людочка, надув губки. — Нехорошо вы думаете. Клава ничего плохого не писала вам. Все это ваши догадки.

— Я хорошо ее знаю, — упавшим голосом ответил Титов. И, чтоб не продолжать неприятного разговора, сделал вид, что углубился в работу.

— Людочка, Милочка, дело есть к вам, — позвал их Питомцев. — Садитесь.

Они переглянулись и сели на кровать с двух сторон.

— Надо снарядить Титова в дорогу, — сказал Питомцев. — Вы бы взяли на себя. Поговорите с шефами. Титову надо штатский костюм, детишкам — штанишки, же не тоже что-нибудь надо. Словом, вы сами обмозгуйте, по-женски.

— С удовольствием, — сказала Милочка.

— Обязательно, — подхватила Людочка. — Мы все сделаем. Мы и сами доставим...

— Нет, нет, — перебил Питомцев. — Никакой частной благотворительности. Шефы. Они должны сделать, у них больше возможностей. А сейчас, знаете что? Перейдем к поэзии. Хорошо?

— Что вам почитать? — спросила Милочка. — Хотите Блока?

— «Двенадцать» прочтите, — попросил Добров.

— Хорошо. — Милочка села у стены в кресло, скрестила руки на груди, опустила глаза и молчала, точно прислушивалась к тишине и биению собственного сердца. Через две-три секунды выпрямилась, широко открыла глаза и, протянув вперед маленькую, пахнущую духами, руку, начала читать. Читала она совсем дружным голосом, не тем звонким, полудетским, которым обычно говорила, а солидным контрастно, властным, покоряющим, заставляющим слушать:

Черный вечер.

Белый снег,

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер —

На всем божьем свете...

Петрусь Подопригора жил в мире фантастическом и сказочном. «Що день ниякой работы, лежи скільки хочеш на мягкой кровати на билих хустках, йиш уволо — били хлибци з маслом, чай з сахаром, мясо, кысиль, сладкий взвар».

Так жили люди в чудесных сказках, которые замечательно складно рассказывал Петрусь слепой старик-нищий. Жили еще так в белом доме с колоннами, стоявшем в парке. Графский дом Петрусь видел только снаружи и то редко. За парком, за речушкой был мир иной, понятный. Там, в селе Копычинцы, стояли ветхие халупы, от давности вросшие в землю, с заколоченными окнами без стекол. В них жили люди. Они работали из года в год на пана, чей дух витал в белом доме, а грузное, тучное тело, как говорили, нежилось где-то далеко на теплых водах. И Петрусь с детства работал на пана. Работал с восхода до захода солнца и никогда не был сытым.

Сверстник его, Гриць Безшкурко, нанился в поводыри к слепому старику-нищему. Работой нельзя считать, а все же он ел досыта. Они уходили со стариком побираться — свет не без добрых людей — и возвращались с тяжелыми торбами за плечами. В торбах — полно белых бубликов, булок, черного хлеба, попадались и куски колбасы и сала. А в маленьком мешочке, который старик носил за поясом, полно медяков. Старик по счету и достоинству складывал медяки в стопки, заворачивал в грязные бумажки, которые Гриць подбирал на улице, и менял на бумажные польские «злоты».

С заходом солнца Гриць, Петрусь и слепой старик уходили к ручью и сидели под вербами. Небо почти черное, звезды ярко золотые, и вербы чуть слышно шелестят в ночи. Старик играл на бандуре, пел дребезжащим голосом веселые песни, а не те унылые про незлоу, что пел на базаре. Потом рассказывал смешные сказки: про веселого чорта, забравшегося к барыне за пазуху, про цыгана, который продал барину вместо коня только шкуру, а ночью шкура вернулась назад к цыгану. Старик был озорной, веселый и часто напивался пьяным. Особенно старик любил рассказывать о кладах, неизвестно кем зарытых в потайных местах. Клад обычно находил убогий сирота и богател. Такие сказки больше всего были по душе Петрусь. Он жил убогим сиротой и думал, что когда-нибудь попадет ему в руки клад, и он разбогатеет. После сказок старик добрел и звал в свою халупу, доставал из торбы белый бублик или булку и давал по половинке Гриць и Петрусь.

Не раз порывался Петрусь уйти от пана в город, но не решался. Из рассказов старика и людей, ходивших в город на зара-

ботки, он знал, что на работу попасть так же трудно, как найти клад. И все же Петрусь не расставался с мечтой найти клад.

Пришли немцы — стреляли, убивали и ни за что, ни про что убили из автомата слепого старика. Людей погнала рыть окопы, строить дороги, а кормили бурдой, хуже, чем у пана. Стало еще горше. Потом, как праздник, пришла Красная Армия и побил немцев. Они второпях бежали и гнали вперед людей, заставляя рыть окопы. Много людей погибло. Красная Армия гнала немцев до высоких Карпат, а людей освободили и велели вернуться по дворам. Петрусь с чужой подводой поступил в Красную Армию, в обоз. Три дня ходил Петрусь с обозом и у походной кухни ел досыта. Не успел обжиться — налетели немецкие самолеты и сбросили бомбы. Осколком ранило Петруся. Не случись этого, думал он, никогда бы не узнал, что на земле есть такая жизнь, как в госпитале — совсем, совсем, как в сказке. И всей этой жизни, как только извлекут осколок из-под глаза, как всякой сказке, придет конец.

Откуда-то издадека, приглушенно, точно из колодца, доносился голос Титова и странно звучало непонятное слово «жонтакт», которое он произносил, прикладывая пластинку к другим частям. Петрусь смотрел живым глазом и слышал то, что говорил Титов, но смысла уловить не мог. Он думал о своем: выпишут — и куда деваться? Опять к пану? Но нет уже ни белого дома с колоннами, ни села с халупами — кучи мусора, проутюженные гусеницами танков, и земля, загаженная немцами. За госпиталем, знал он, чужой город. Но может быть, в городе люди добрые, как в госпитале, а не такие, как там?.. О людях Петрусь уже не раз думал. И паненки другие, что приходят сюда, и Екатерина Николаевна не строгая, добрая; один другому говорят «товарищ» и его, Петруся, зовут тоже «товарищ». Весь народ здесь добрый, только каждый добр по-своему. Может быть Питомцев не шутит и возьмет его с собой? Поводырь капитану нужен. Но то, что Питомцев говорил за счет усыновления и образования — что-то не верилось. Пошутить должно быть. Другое дело — Титов. Жена не захочет принять его, слепому без поводья не обойтись. Попроситься к Титову в поводыри? Такое решение сразу вернуло Петруся к действительности. Ясно зазвучали слова Титова:

— Вот эта штучка называется диафрагмой.

— Угу. Слухай, Титов. Нам бы с тобой на пару, — сказал Петрусь.

— Дороги у нас разные, — не отрываясь от работы, ответил Титов. — Ты зрячий.

— А ты мене в поводыри визьмы, — Петрусь взял его за руку.

— Куски собирать будем? — Титов поднял голову и устремил закрытые веки на Петруся.

Петрусь не уловил иронии и серьезно сказал:

— Де побираться будем, а де и подработать можно.

— Тебе сколько, Петрусь, двадцать два?

— Двадцать два. Думаешь, старый уже в поводыри? — у Петруся голос дрогнул.

— И тебе не стыдно нищим, просить?

— Стыдно красты. У мене хоть есть один глаз, а все ж слепый.

— Так ты ведь молодой, здоровый, работать можешь.

Петрусь отпустил руку Титова, с удивлением посмотрел на него и подумал: «Добрый, добрый, а хочет подешевле взять». Но не подал виду, что понимает «хитрость» Титова, и серьезно сказал:

— А де взять работу?

— Где хочешь, только выйди и свистни.

— Ходылы наши — и свисталы, и кланялись.

— Так то было у вас. У нас — другое дело. У нас советская власть. Понимаешь?

Петрусь понимал только то, что Титов не хочет взять его в поводыри, хоть и добрый он, свой.

— Слухай, Титов, ты ж слепый, — пытался Петрусь убедить его. — Хоть и работать, а в пари тоби лучше. Я зрячий.

— Мне-то лучше, но тебе — хуже. Чужак ты, жизнь свою связывать со слепым! Подучишься — и сам себе голова.

— Титов, мы з тобой як браты будем жить, а гроши ты збирать будешь. Мени богато не треба, скилыкы дашь.

— Парень ты душевный, Петрусь, только темный. Жаль мне тебя.

Петрусь почувствовал жалость к самому себе, и к горлу подступил ком. Титов, которого он считал самым близким в целом мире, оказался не лучше других. Он не хочет разделить с ним судьбы, хотя он, Петрусь, из этой судьбы выговаривает себе самую малую долю. Петрусь остро ощутил свое одиночество. Смутно маячил графский дом с белыми колоннами, халупы. Потом все сменилось — горы мусора, как на свалке, а кругом — лес и поле, поросшее бурьяном. В бурьяне, распластавшись, убитый немцами из автомата слепой старик-нищий, а рядом — разбитая в щепки бандура и большая суковатая палка. По лицу у Петруся текли слезы.

— Ты чего молчишь? — спросил Титов, устремив на него закрытые, неподвижные веки. Вместо ответа он услышал всхлипывание. И, как бы не веря своим ушам, нащупал его руку и по ней добрался до лица, мокрого от слез. Он встал, призывая Петруся к себе и теплым, ласковым голосом сказал:

— Брось, дружок, большому плакать, что титку сосать. Работать будешь.

Людочка услышала слова Титова, затем всхлипывание Петруся.

— Что с ним, Титов? Почему он плачет? — она подбежала к нему. — Петрусь, милый, что с тобой?

— Не понимает, что такое советская власть — вот и плачет, — объяснил Титов. — Прессится в поводыри...

— Некрасиво получается, — сказал майор Добров. — Второй месяц мы в одной палате.

— Милочка! — громко позвал Питомцев. — Попросите сюда культработника. А ты, Петрусь, не беспокойся, я сказал — возьму с собой. Не захочешь со мной — на работу устроим.

Милочка привела культработника — девушку лет двадцати двух в защитной гимнастерке, синей юбке и сапогах. Она, видимо, торопилась и халат накинута враспашку.

— Товарищ капитан, вы успокойтесь, — ответила она, волнуясь и краснея. — Товарищ Подпригора у нас на особом учете. Во-первых, ему недавно только сняли повязку, во-вторых, он украинец, его надо обучать на родном языке, а у нас сейчас нет преподавателя-украинца. А насчет трудоустройства — не беспокойтесь, все предусмотрено. — Она обиженно повернулась и ушла, стуча подкованными каблучками.

— Жди, пока она раскачается! — сказал Питомцев. — Людочка, Петрусь отлично понимает вас, займитесь. От русского языка голова не заболит.

— С удовольствием, — быстро согласилась Людочка и пообещала, — завтра, Петрусь, принесу учебник, тетради, и начнем.

— Его на родном языке обучать надо, — перебил Егорьев.

— По-школьному — правильно, а то, что Петрусь второй месяц среди нас и понятия не имеет, что такое советская власть — неправильно, — необычно горячо ответил Добров. — В восемнадцатом году агитировали, как умели, даже знаками — по-глухонемому, если попадался иностранец. Вот Милочка читала «Двенадцать» Блока: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Для вас это строчки из поэмы, и только. Для меня же — все: молодость, жизнь, конечная цель.

— Вы, оказывается, романтик, товарищ Добров, — с нескрываемой иронией сказал Питомцев.

— Блока не знали, но пели, как частушку: «Мы на горе всем буржуям»... — не обращая внимания на иронию, ответил Добров. — Эти слова еще запоют на других языках.

— Товарищ майор, мы все знаем это, — сказал Тимченко. — Только не забывайте — теперь время другое, и песни у нас новые.

— Есть песни нестареющие, и мода на них не проходит. С запада на восток по Европе прошла полчища Гитлера. Они пронесли свой «новый» порядок. Народы испытали его на себе. Мы идем теми же дорогами, только с востока на запад. Народы видят Красную Армию — и думают о стране, которая породила ее.

Из соседней палаты донесся пронзительный и протяжный вопль: «сестра!» Вопль этот на секунду смолк, и вновь раздавался. В нем звучал то крик о помощи, то угроза, или то и другое вместе. По коридору постышались быстро бегущие шаги дежурной сестры, и вскоре вопли прекратились. Но не надолго. Они возобновились с новой силой, продолжались с короткими, секундными интервалами, и в охрипшем голосе кричавшего слышались безнадежность, мольба и угроза.

— Танкист Шарипов просит морфия, — пояснила Милочка.

— Какой ужас! — дополнила Людочка. — Сначала с разрешения врача ему немного вспрыскивали для успокоения боли. Потом сестра Вихирева уже без врача выпрыскивала, лишь бы не кричал. Врач узнал и запретил. Сестре Вихиревой здорово досталось, но Шарипов с тех пор требует морфия. Кошмар! Его так жаль, у него такие ожоги всего тела!

— Надо принять все же какие-то меры, — с раздражением сказал Егорьев. — Ведь он кричит уже не первый день. — И, сказав это, подумал: «Плохо, теряю самообладание. Так с нервами не справишься. Надо взять себя в руки».

— Боль и наркомания — сочетание опасное, — высказал свое мнение Добров.

— Нервы. Причина всех болезней — нервная система. Так говорит профессор Сперанский, — сказал Егорьев.

— Он душу выматывает, — с болью сказал Питомцев. — Петрусь, поведи меня к нему.

— А что вы можете сделать? — иронически спросил Егорьев.

— Попрошу молчать, — ответил Питомцев, взяв под руку Петрусь.

— Легко сказать! — усмехнулся Егорьев. — Чужим нервам не прикажешь.

— Офицер командует людьми, следовательно, и чужими нервами. — Питомцев, держа под руку Петрусь, ушел.

Когда за ними закрылась дверь, Егорьев сказал:

— Удивительный характер у человека — во все вмешиваться, во всем считать себя сведущим.

Вопли Шарипова вскоре прекратились. В палате стало тихо, только слегка дребезжали со звоном стекла.

— Вот видите, — обрадованно сказала Милочка.

— Не надолго, — махнул рукой Егорьев. — Людочка, почитайте нам газету.

Людочка читала оперативную сводку. На полуслове прервала себя:

— Слышите? Молчит Шарипов. — Прислушалась и продолжала читать.

Вернулись Питомцев и Петрусь.

— Больше не будет кричать? — встретила его Милочка. — Как вы сумели, товарищ Питомцев?

— Я объяснил ему, — лицо Питомцева с повязкой на глазах было загадочно. Он стоял посредине палаты — высокий, широкоплечий, в расстегнутом халате, на крепких ногах в белых носках и туфлях.

— Читайте, Людочка, не отвлекайтесь, — попросил Егорьев. Чтение Людочки он не слушал и думал о том, каким образом Питомцеву удалось прекратить вопли Шарипова. Ни врачу, ни сестре этого не удавалось. Проще всего спросить Питомцева. Зазнается — подумает, что бог знает какое чудо совершил. И все же любопытно: что он сказал Шарипову? Неужели есть такие слова, которые в силах унять чужие нервы? Гипноз? Чепуха! Шарипов сейчас опять начнет кричать. Егорьев прислушался. Ни криков, ни стонов из соседней палаты не доносилось. Слышно было ритмически однообразное чтение Людочки. Егорьев был недоволен собой. Все усилия и старания оседлать свои нервы и раздражительность ни к чему не приводили — он раздражался по любому поводу. И все потому, что сосредоточился только на своих нервах. Надо, наоборот, отвлечься, думать о другом. И не просто думать — активно думать. Подвести итог своему опыту и наблюдениям. Что из всего накопленного можно применить в школе? Раньше всего — перевернуть систему воспитания. Ага, «перевернуть!» Словечко-то Питомцева. Нет, не перевернуть. Изменить, внести коррективы. Однако Шарипов молчит. Что ему сказал Питомцев?

Людочка продолжала читать газету. Средоточеннее других, казалось, слушал Егорьев. Титов и Петрусь занимались монтажом аппарата, Тимченко перевязывал бинт — ему казалось, что сестра сегодня неудачно сделала повязку, что-то раздражало. Питомцев взял у Милочки сумочку и пытался открыть ее, нащупывая устройство замка.

Егорьев вдруг прервал чтение Людочки и спросил:

— Товарищ Питомцев, как же «петушиное» слово или «заклинание» вы сказали Шарипову?

— Я сказал ему, что своим поведением он позорит Красную Армию и вызывает недоверие к собственному подвигу. Он понял и обещал хорошо вести себя.

— И только? — удивился Егорьев.

— Это не так мало, как вам кажется. В самых сложных положениях, в самых запутанных я ищу простейшее решение. И оно всегда — самое верное.

— Легко вам жить на свете! — усмехнулся Егорьев.

— Не жалуюсь, — самодовольно сказал Питомцев. — Брюзжать, как некоторые штатские, не привык. Все мы, раненные, капризные, как дети, и любим, чтобы нам в нашем несчастье сочувствовали. Чем больше нам сочувствуют, тем больше мы капризничаем. Тоже, как дети. Понаблюдайте, раненные в ногу выходят из госпиталя обязательно с палочкой и долго не расстаются с ней. Многим палочка вовсе уже не нужна. Палочкой они, подсознательно, может быть, хотят вызвать сочувствие. Однажды на фронт вернулся из госпиталя лейтенант. Он ходил с палочкой, едва заметно припадая на ногу. Явился к командиру дивизии. Генерал спросил его: «Вы здоровы, товарищ лейтенант?» — «Здоров, товарищ генерал-майор». Генерал взял у него палочку, забросил и сказал: «Здоровому офицеру палочка не нужна. Ступайте!» И что же вы думаете? Лейтенант ушел без палочки и нисколько не прихрамывал. Ведь, правда, просто?

— Даже слишком просто, — согласился Егорьев и подумал: «А ведь капитан прав. Надо вырвать у себя палочку из рук».

Титов закончил сборку аппарата и позвал Петруся.

— Идем, попробуем: есть у меня в руках глаза или куски нам собирать? — Он дал ему аппарат, положил в карман халата большую и малую отвертки и, взяв Петруся под руку, ушел с ним.

— И нам, Милочка, пора, — сказала Людочка.

— Нет, пока Титов не вернется — я не пойду. А вдруг у него не выйдет? Он так будет страдать. Я страшно волнуясь.

— Ах, я и забыла. Подождем, конечно, — легко согласилась Людочка. — Вот и я теперь начинаю волноваться.

— Зимний день маленький, а как долго ждать вечера, — потягиваясь, сказал Питомцев и лег.

Никто ничего не ответил. Людочка молча перелистывала газету, Милочка нетерпеливо шагала в проходе между кроватями.

Питомцев прислушивался к шагам Милочки и сосчитал: в одну сторону она делает шесть шагов, в обратную — семь. Она действительно волнуется. Она более чуткая, чем ее подруга. Ему хотелось, чтобы она еще раз прикоснулась рукой к его лицу. Проверить: в чем разница? Красивая ли Зоя Федоровна? Увидеть бы ее рядом с Милочкой. В чем обаяние каждой? Одна — слепая. Но внешность, очевидно, сама по себе не содержит никакого обаяния. Силу его можно почувствовать даже через прикосновение руки, не видя и не зная, чья это рука. Странно! Чепуха! Воздействует не внешность, не прикосновение руки, а все вместе: ум, культура и

внешность. Нет, неверно. Девушка может понравиться еще до того, как успеешь ознакомиться со всеми ее достоинствами. Что же он — влюбился в Зою Федоровну? Но он не знает, какая она. Нет, знает: прикосновение руки ее так волнует, голос приятно звучит, она умна. Питомцев искал «простейшее решение» и не находил. Он лишь ясно чувствовал и сознавал, что ждет с нетерпением прихода Зои Федоровны, а вот придет ли Милочка или нет — ему безразлично.

Размышления Питомцева прервали вернувшиеся Петрусь и Титов.

— Ну как, Титов? — живо спросила Милочка.

— Глаз нехватает, — упавшим голосом ответил Титов.

— Титов, милый, вы не страдайте, — утешала его Милочка. — Еще раз попробуйте, не все ведь сразу.

— Некогда пробовать, жить надо! Забрось его к черту, Петрусь! — Титов ошупью подошел к своей кровати и лег, уткнувшись лицом в подушку.

Петрусь стоял посредине палаты с аппаратом в руках и не знал, что с ним делать.

— Садись, Петрусь, — предложила Людочка. Взяла у него аппарат и поставила на стол.

Петрусь сел на свою кровать, сложив, как ненужные, руки на колени.

Людочка села возле Титова.

— Титов, что у вас не получилось? — спросила она ласково.

— Если б я видел — я бы сделал.

— Попробуйте еще раз.

— То же самое и получится. Я вроде правильно собрал, а все же не верно.

— Знаете что, Титов? У меня есть знакомый монтер. Я позову его, и вы при нем соберите. Он поправит вашу ошибку. Хорошо?

— Давайте попробуем, — успокоенно согласился Титов, не задумываясь над тем, делает ли это Людочка по доброте или по обязанности.

— Вот и отлично, завтра приведу монтера, — обрадовалась Людочка. — Пойдем, Милочка?

Они прощались с каждым за руку. Людочка надушила своими духами Петруся, а Милочка — Тимченко. Прощаясь с ним, она утешающе шепнула ему на ухо:

— Сегодня обязательно получите письмо от Люси. Вот увидите. — И многозначительно пожала ему руку.

Питомцев задержал руку Милочки в своей.

— Подушите и меня.

— Нет, мои духи не идут к вашему характеру. Вы — колючка!

Девушки ушли, еле слышно шурша накрахмаленными халатами.

— Двоюродные медицинские сестры! — бросил им вдогонку Питомцев.

— Давненько вы не острили, — с усмешкой сказал Добров.

Няня принесла обед. Петрусь снял руки с колен и вскочил с кровати.

5

После прогулки по саду в палате казалось особенно тепло, словно жарко натопили печь.

Дежурная сестра принесла почту.

— Тимченко, Сергей Александрович, — читала она вслух адрес.

— Я, — протянул он жадно руку.

Сестра подала ему письмо и читала адрес следующего.

— Добров, Николай Иванович.

— Я, — майор спокойно взял письмо.

— А мне письма нет? — спросил Титов.

— Вам нет письма, товарищ Титов. —

Сестра ушла, унося пачку еще не rozdанных писем.

Тимченко беспомощно вертел в руках долгожданное письмо.

— Хотите, я прочту вам? — услужливо предложил Егорьев.

— Спасибо. Прочтите мне сначала — от кого. — Тимченко не выпускал письма из рук.

Егорьев, склонившись, прочел адрес.

— На конверте только ваш адрес, от кого — не сказано.

— А почерк какой — крупный или мелкий?

— Мелкий, видно — женский.

— Ага, спасибо! — Тимченко сунул письмо под подушку. Письмо было от Люси. Но как ни жгло нетерпение, как ни велик был интерес — решил терпеть до завтра, пока придет Милочка. Только ей доверял он свою переписку с Люсей. Письмо от матери он дал бы прочесть и Егорьеву. Известно, что ответила Люся — нельзя обижать душу перед каждым и всяким, ронять свое достоинство. А вдруг!.. Но страшно затаивать, лучше потерпеть. В неведении тайлась надежда.

Добров читал письмо жены, подчеркивая карандашом то, на что считал необходимым ответить обстоятельно и с чем не был согласен. «Я обязательно приеду за тобой, — писала жена, — и об этом уже договорилась на службе. Мне предоставят отпуск на восемь дней — вполне достаточно. Билет обещал достать Лука Петрович. Он клянется тебе и просит передать, что очень соболезнует. Вообще, говорит, тебя все хорошо помнят и будут очень рады, если ты вернешься на свое место. Директор, хотя и новый, но он о тебе знает, ему рассказывали. Завод наш теперь чисто оборонный, план выполняем.

Деньги на дорогу сколочу: получу по аттестату восемьсот рублей и продам кое-что мне совершенно ненужное. Вполне хватит и на проезд и на продукты в оба конца. Вдобавок еще будет рейсовая кар-

точка — по ней можно будет тоже кое-что достать в пути. Главное — телеграфирую мне, когда тебя вышлют. От Шурика все еще нет письма. Я беспокоюсь и волнуюсь. Последний раз писал он о Праге, о Варшаве — должно быть он на 1-ом Украинском фронте. С тех пор они ушли далеко и теперь близко от Берлина. Шурик об этом мечтал. Как бы я хотела, чтоб он дошел туда и благополучно вернулся! Тебе не повезало. Может быть сын счастливее. Я думаю только о его счастье».

Прочитав письмо, Добров поспешно написал телеграмму: «Обязательно жди моего приезда, с места не трогайся». Написав, сказал Егорьеву:

— Жена, понимаете, вздумала приехать за мной. Прогулка теперь не из легких. Добров отнес телеграмму дежурной сестре.

Тимченко, Питомцев и Титов готовили урок. Егорьев наблюдал за ними. Он соскучился по школе, по ребятам, по торжественной тишине в классе. Прилежнее всех, заметил он, готовил урок Питомцев. Все трое напоминали сапожников — раньше чем забить гвоздь в ботинки, делают шилом дырочку. Они также орудовали шилом. Поверх плотного листа бумаги — прямоугольная алюминиевая пластинка с вырезанными в ней узкими прямоугольными ячейками. Острым шилом в рамках ячеек они накалывали справа налево, в различно-обусловленных комбинациях, точки — буквы алфавита. На обратной стороне бумаги от накалки получались хорошо осязаемые бугристые точки — их читают слева направо, осязая кончиками пальцев.

Питомцеву не терпелось — он торопился овладеть слепым методом француза Брайля. Теоретически легко его понял и усвоил, но все дело в практике, в тренировке. Практика требует времени, есть какой-то минимальный предел. Но каков этот предел? На заводе в свое время он только и делал, что вел борьбу с привычными пределами. Француз Брайль изобрел верный, но громоздкий способ для слепых — в то время, видно, еще ездили на волах, а теперь... Впрочем метод простой, проще быть не может. Однако он требует много времени. Уплотнить. Питомцев рассмеялся — он мечтает изобрести давно изобретенный будильник! Процесс уплотнения письма во времени давно уже решен — пишущая машина и стенография. Однако для слепых нет ни машины, ни стенографии. Питомцев не знал о существовании специального пишущего аппарата. Надо сделать, решил он. Поговорить с Зосей Федоровной. С ней надо о многом поговорить.

Вместо заданного урока он стал «накалывать» ей записку. «Мне надо с вами поговорить о многом. Не обижайтесь и не сердитесь. Я любопытнее женщины и засып-

лю вас вопросами». Наколал записку, как ему казалось, довольно быстро, но правильно ли? Надо прочесть. Читать — гораздо сложнее, осознание недостаточно еще развито. Как развить его? Тренировкой. Тренировка требует времени.

Красица ли Зоя Федоровна? Спросить у Егорьева? Нет, у него дурной вкус. Доброз разбирается тоньше. Но тогда это будет вкус Доброва, а не его, Питомцева. Однако есть же объективное представление о красоте?

Питомцев искал «простейшее решение». И самым простым, самым верным казалось то, что с потерей зрения неминуемо возникает новое восприятие мира, и это восприятие должно быть своим. Только тогда он останется Питомцевым. Никто третий не может внушить ему ощущений, которые вызвала в нем Зоя Федоровна. Они возникли в нем, хотя он и не видел ее и не знает, красива она или нет. Он не заметил, как при этом произвольно накалывал шилом бумагу, и, спохватившись, обнаружил, что испортил записку, которую написал Зое Федоровне. Урока не приготовил. Он слышал, как накалывали Тимченко и Титов, и на слух определил, что Тимченко готовит урок рассеянно — он часто попадал шилом по алюминиевой пластинке мимо ячейки.

6

Зоя Федоровна, как обычно, вошла в палату бесшумно. Громящей тенью следовала за ней секретарша — полная, немолодая блондинка с тяжеловесным шагом и громким дыханием. Зоя Федоровна поздоровалась сразу со всеми и отдельно с каждым из своих учеников. Протянув немного руки вперед, она уверенно подошла к кровати Титова и слегка дотронулась до его лица.

— Как вы себя чувствуете, Титов?

— Спасибо, хорошо.

— Урок приготовили?

— Точно, Зоя Федоровна.

Так же уверенно она подошла к Тимченко.

— А вы как себя чувствуете? — спросила она, ощупывая руками его плечи снизу вверх, скользя по шее, пока не коснулась лица.

— Нормально, Зоя Федоровна, — ответил Тимченко усмехаясь и хмуро добавил: — хорошее самочувствие я, видно, потерял навсегда.

— А я за вас спокойна. Ваше уныние — от чрезмерной впечатлительности. Пройдет, — она дружески пожала ему руку.

Здороваясь с Питомцевым, она задержалась. Дважды провела руками по его небритым щекам и как-то особенно тепло спросила:

— Почему вы хандрите?

— И не думаю хандрить, — ответил он нарочито бодрым басом, поймав ее руки на своем лице.

— Нет, нет, вы хандрите, — настойчиво сказала она, мягко освобождая свои руки. — Я чувствую.

— Неужели у вас так развито осознание? Вы и без наколок читаете?

— Но я ведь правильно прочла?

— Должен признаться, хотел скрыть.

— Как обстоит у вас с уроком?

Он понял, что она нарочно меняет тему разговора, но в ее вопросе, в голосе почувствовал то же приятное, что и в прикосновении рук. Вместо ответа, он подал ей лист бумаги.

Она быстро вела пальцем по рельефным точкам и тихо, почти шопотом, сказала:

— Вот, видите! Позвольте, позвольте! В этой неразберихе — мое имя. — В голосе ее чувствовалось не то удивление, не то радость. Она быстро переменяла тон и строго сказала: — займитесь сейчас, приготовьте урок! — и пошла бесшумной походкой к кровати Титова. Тонкими, стройными ногами, в туфлях на высоких каблуках, она едва касалась пола, руки, согнутые в локтях, слегка протягивала вперед, а вся ее фигура при этом оставалась неподвижной. Белый вытянутый халат свободно облегал ее фигуру с тонкой талией, прикрывая короткое зеленое платье.

Она проверила урок Титова, быстро водя пальцами по наколотому листу плотной, звонящей, как жест, бумаги, отмечая ошибки. Говорила она, глядя в сторону большими, серыми, неживыми глазами на выкат, а рот ее с едва подкрашенными губами снисходительно улыбался.

— У вас хорошо подвигается, — сказала она Титову. — Всего три ошибки.

— Меня выписывают, — с грустью сообщил Титов.

— Жаль, вам надо учиться. Я поговорю с нашим председателем, у нас есть средства.

— Спасибо, Зоя Федоровна. Я домой поеду.

— Тогда обратитесь на месте в общество слепых. Вам обязательно надо учиться. — Она прислушивалась: готовит ли урок Питомцев? Тонкий слух отчетливо ловил характерные, но торопливые уклады шила, проваливавшегося сквозь ячейки алюминиевой пластинки.

Питомцев отложил урок в сторону и писал записку Зое Федоровне. Но как ни торопился, ему казалось, что пишет слишком медленно, и от этого уклады шилом были нервные, неуверенные. «Не сердитесь, хочу поговорить с вами, только не здесь. Поговорим в коридоре, у окна». Перечитывая написанное, он водил пальцами по точкам и не чувствовал их, словно потерял способность осязать. Им овладела вдруг непривычная робость. Мысль, приученная к прямолинейному ходу, спот-

кнулась и сделала зигзаг в сторону — смеет ли он обращаться к ней так грубо, прямо в лоб?

Его размышления прервала Зоя Федоровна. Она бесшумно подошла, взяла из его рук исколотый лист бумаги, положила на тумбочку и, стоя, быстро прочла. Она не поверила собственному осязанию, которое никогда еще ее не обманывало. Перечитывала записку, медленно водя по бугристым точкам дрожащими кончиками пальцев с ногтями, покрытыми перламутровым лаком и блестящими отраженным огнем настольной лампочки.

— О чем? — спросила она дрогнувшим голосом и рукой провела по его плечу, словно повторяла вопрос.

— О многом, — ответил он тихо.

— Хорошо, — согласилась она робким шопотом и громко добавила:

— Вы неплохо успеваете. Вам надо практиковаться в чтении.

— Есть практиковаться в чтении, — радостно, по-военному отчеканил Питомцев.

Зоя Федоровна думала, что нехорошо, неудобно уединяться ей с раненым Питомцевым. Она решила не дожидаться и быстро пройти вниз, прямо к вешалке. Ее догнал голос Питомцева.

— Я провожу вас, Зоя Федоровна.

В дверях ее секретарша пропустила Питомцева вперед. В коридоре он взял Зою Федоровну под руку и, держась стенки, повел в конец коридора.

Они сели на подоконник. Снизу отдавало теплом от батареи центрального отопления. Они слышали оживленное движение по длинному коридору, различая быстрые деловые шаги сестер и медленные, неторопливые шаги раненых, гулявших перед ужином. Из раскрытой двери операционного отделения доносились громкие стоны. Питомцев узнал голос танкиста Шарипова — ему меняли повязку.

— О чем? — полюбопытствовала Зоя Федоровна. робким голосом, словно продолжала прерванную беседу. Она предчувствовала, догадывалась, о чем он будет говорить, боялась этого разговора и в то же время напряженно ждала его.

— О многом. Я вам уже сказал. Не знаю даже с чего начать, — им вновь овладело непривычное чувство робости. Он никогда не объяснялся в любви, хотя дважды в своей жизни увлекался и раз даже сильно любил. Но тогда все совершалось как-то без слов, одними взглядами. А сейчас он чувствовал себя беспомощным. Ощупью искал ее руку и положил свою на ее колено. Она сидела, сложив руки на груди, и быстрым, но мягким движением сняла его руку с колена.

— Простите, — сказал он, — трудно без глаз. Мне кажется, я понимаю только тогда, когда вижу.

— Вы еще не привыкли, но это совсем не так.

— У вас бывает сильное желание видеть? — спросил он совсем не то, что хотел.

— Нет, я ведь от рождения, — и, помолчав секунду, призналась. — Я завидую зрячим, их жизнь просторней. В детстве я играла со зрячими детьми. Они вдруг убежали, а я оставалась. Однажды и я побежала за ними. Наскочила на дерево и сильно ушиблась, а они смеялись. Больше я никогда не бегала, но желание побегать никогда не покидало меня. Даже и теперь.

— А мне все представляется более сложным. Вот я встречаю человека — первый раз в жизни. Я его не знаю, но все же он производит на меня какое-то определенное впечатление. А если я его не вижу, то как же?..

— Но я слышу его голос.

— Какой же вам голос нравится — тенор или бас?

— Ах, совсем не то я имею в виду. В одном и том же голосе я и вы, и каждый другой, слышим разное. На меня он производит впечатление, а на вас нет.

— И в голос можно влюбиться, как в красивое лицо?

— В голосе я слышу лишь первое проявление человека. Слышу его по-своему. Затем я чувствую рукопожатие — оно тоже разное у разных людей. — Зоя Федоровна слегка пожала Питомцеву руку. — И эту руку я никогда уже не смешаю с другой, как и голос. Вот сегодня я прикоснулась к вашему лицу и почувствовала, что вы хандрите. — Она провела пальцами руки по его лицу, словно по бугристым точкам слепого письма.

Он чувствовал, что она действительно читает и в то же время говорит что-то такое, что проникает глубоко в душу.

— А что вы чувствуете сейчас? — Он схватил ее руку и крепко сжал, точно от силы его пожатия зависел ее ответ.

Она молчала. Он жадно прильнул губами к ее тонкой горячей руке. Она испуганно встала.

— Мне надо уходить, — сказала она тихо. — Я вас обидел?

— Нет, нет, меня ждут.

— Не уходите, мне надо еще о многом поговорить с вами.

— Я здесь не последний раз.

— Когда вы придете?

— Завтра в обычный час, — ответила она холодно. — Приготовьте урок.

— Нет, приходите днем. Приходите, как знакомая на свидание к раненому.

— Раненого я навещу охотно, — в ее голосе чувствовалась теплая улыбка.

— Днем придете? — спросил он настойчиво.

— Днем, — подтвердила она и коснулась рукой его плеча, словно хстала успокоить, утешить.

Они пошли по коридору, держась стенки. Их встретила секретарша Зои Федо-

ровны. У палаты глазного отделения секретарша сказала Питомцеву:

— Вам сюда, — и открыла дверь.

Он прислушался. Шаги Зои Федоровны растворились в тягеловесных шагах ее секретарши. В палату он вошел радостный и взволнованный.

Питомцев лег на кровать. Он лежал, как обычно лежат, когда спать не хочется — лицом вверх, подложив руки под голову. Нарочито спокойным, равнодушным голосом спросил:

— Товарищ Добров, Зоя Федоровна красивая?

— Ах, вот, что вас интересует!

— В вашем характере есть что-то иезуитское, — обиделся Питомцев.

— Нет, гораздо проще: я вижу одним глазом.

— В таком случае он у вас лишний.

— А это уж, как говорится, от бога. Пожалуй, она красивая. У нее строгие, приятные черты лица, тонкие черные брови. К сожалению, ее большие серые глаза — мертвые. Они не освещают лица душевным огнем. Она молода — ей лет двадцать пять.

— Благодарю вас. Вы, оказывается, лучше видите, чем я думал.

Быстро прошел ужин. Госпитальный день кончился.

7

Утром у каждого были свои хлопоты.

Тимченко ходил говорить по телефону. Он просил Милочку притти пораньше — он не дожидется, пока она прочтет ему письмо от Люси. Милочка обещала, но он нервничал, ходил ощупью из палаты в коридор, из коридора в палату, натываясь на стенку, на людей. Ему казалось, что Милочка слишком долго не приходит. Мысленно упрекал ее в эгоизме и бездушие.

Питомцев был озабочен тем, как бы достать цветы и подарить их Зое Федоровне, когда она придет днем на свидание. По его поручению Петрусь носился по госпиталю и расспрашивал сестер и санитарок, где можно купить в городе цветы и кого послать. Пойти никто не мог — все заняты. Питомцев в сопровождении Петруся пошел вниз в первый этаж. После долгих хлопот удалось связаться по телефону с цветочным магазином. Ему ответили, что есть персидская сирень и хризантемы, но прислать не могут.

— Как у нас все плохо организовано! — с досадой в голосе пожаловался Питомцев Петрусь. Петрусь не понимал, зачем ему цветы.

Егорьев получил из части от командира батальона письмо и считал важным для себя прочесть его всем в палате, но троих не было на месте. Особенно он считал нужным, чтобы присутствовал Питомцев.

Возмущался беспорядком и в падении дисциплины винил Екатерину Николаевну: «нельзя быть мягким, распускать людей».

Добров писал письмо жене. Напишет, прочтет и задумчиво рвет написанное в клочки — сухо получается, недостаточно мягко и тепло. И пишет заново.

Пришли Милочка и Людочка — свежие, румяные, пахнущие духами и морозом.

Тимченко подхватил Милочку под руку. Они уединились в конце длинного коридора у окна, выходящего в сад.

Людочка привела монтера и познакомилась с Титовым. Они занялись деловым разговором. Питомцев попросил Людочку написать под его диктовку письмо. Он торопил ее. Она не понимала причины его торопливости — письмо все равно отнесут на почту только к концу дня. Сначала надо успокоить Титова.

Тимченко и Милочка сидели в коридоре на подоконнике. Она взяла у него письмо от Люси.

— Сережа, заранее говорю вам: вас любят, — сказала она, как гадалка.

— Почему вы так думаете?

— Хотите пари держать? Конверт — до военный, бледно-голубой, с сиреновой каемкой. В таких конвертах посылают только любовные письма.

— Читайте, Милочка, читайте.

— Не хотите пари держать? — она весело смеялась. — Ну хорошо, пусть так, читаю, — она вскрыла конверт, вынула два плотных листка бумаги тоже бледно-голубого цвета.

— Читайте, читайте, — торопил он.

Милочка читала, точно декламировала, лишь изредка запинаясь, разбирая мелкий, неуверенный почерк.

«Дорогой, милый друг мой Сережа! Как я хочу тебя утешить, ободрить, разделить с тобою твою боль и страдания! Но еще больше мне хочется, чтобы ты стал опять тем же Сережей — веселым, жизнерадостным, каким я и все мы — твои ровесники и друзья — знали тебя.

Я теперь стала чем-то вроде «центрального справочного бюро». Со всех сторон обращаются ко мне с запросами: «Где Сережа? Что с ним?» Все ведь читали в «Известиях» статеку о тебе, видели твой портрет и гордились: «Наш друг Сережа». Володя написал с фронта. Он, как и ты, лейтенант, только в танковых частях. (Полная почта № 47050 — напиши ему). Аня прислала письмо из Ташкента — она там учится. Бедная, застряла со времени эвакуации и все не может выбраться. Кирочка прибежала ко мне с газетой в руках, хотя до этого больше года носа не показывала. Она учится в Авиационном институте. И даже Тоня! Она совсем свихнулась: знает только тряпки и ресторан «Москва». И, представь себе, проявила к тебе горячий интерес. Завидовала твоему герою¹

ству, каялась в своей непутевой жизни и даже всплакнула. Мне ее жалко стало. Встретаться с ней я, конечно, не буду. Я всем сообщила твой адрес и все, что я о тебе знала. Вообрази, если бы я всем послала копию твоего последнего письма ко мне! Либо все сочли бы это фальшивкой, либо все подумали бы, что в «Известиях» тебя слишком разукрасили. И только я знала бы точно, что все сущая правда.

Я часто бываю у вас. Мы сидим с мамой за твоим столом, перечитываем твои письма и, конечно, знаем наизусть статейку, напечатанную в «Известиях». Как я люблю твою маму! Когда я беседую с ней, слышу, как она говорит о тебе, я начинаю понимать, что такое истинная любовь: стремление отдать все — душу, помыслы и даже дыхание и не ждать взамен ничего. Так может любить только мать. Святая любовь! На столе у нее куча книг — литература о слепых. Она все изучила, все знает по этому вопросу: профессор Панкратьев — слепой от рождения — выдающийся математик, владеет двенадцатью иностранными языками. Златогоров — ослеп во время научного эксперимента, а теперь, известный египтолог. И еще много, много. Из всей массы примеров она прикидывает, какой путь лучше всего тебе избрать, но ждет, что ты сам ей напишешь. Она ничего не хочет тебе ни навязывать, ни подсказывать. «Мой Сережа, — говорит она, — избрет самый трудный путь. Он не любит ничего легкого». Я обнимаю ее, целую и молчу. Она не знает, что Сережа раскис и стал на себя не похож. Святая женщина, святая любовь и святая вера в сына!

Я ни в чем тебя не упрекаю и не читаю правоучения. Я понимаю твое состояние сейчас и верю, знаю, убеждена, что оно пройдет. Ведь, правда, Сережа? Мама рвется к тебе всей душой, но дважды ехать ей невозможно. Она приурочивает поездку к твоему выздоровлению, чтобы самой привезти тебя домой. И тогда мы все вместе посидим за твоим столом. Ты расскажешь нам о войне так, как ты ее видел и непосредственно воспринимал.

Как часто мы проводили время за твоим столом и строили всякие планы! Восемь лет мы сидели с тобой на одной парте и дружили. Ты навсегда останешься моим другом, лучшим другом и самым молодым. Ведь среди моих постоянных знакомых, более или менее близких, нет ни одного в твоём возрасте — самому молодому тридцать два года. Ты всегда упрекал меня, что я люблю яхтаться со «старичками». Это правда. Ты был исключением, исключением и останешься. Сейчас у нас сессия. Много занимаюсь и сдаю зачеты. Если б ты учился со мною, было бы легче — ты всегда помогал мне.

Поговорим теперь о любви. Что это ты вдруг вздумал? Просто не узнаю тебя, Сен-жа. Наша дружба никогда не омрача-

лась подобными разговорами и вспышками и поэтому была прочной и нерушимой. Не будем ее и впредь омрачать. Вдалеке, в суровой боевой обстановке, ты соскучился — я была твоим единственным другом — и смешал разные чувства. Не надо, мой дорогой друг, очень прошу тебя. Я никогда к тебе не питала таких чувств — ты это знал. Поверь мне, ты никогда не пожалеешь, что я для тебя только бескорыстный друг. Кстати, я готовлю тебе маленький, дружеский сюрприз. Возьми себя в руки, будь прежним Сережей!

Выздоровляйся поскорее и приезжай — тебя ждет искренний друг. Люся».

Милочка прочла письмо, молча вложила его в конверт и дала в руки Тимченко. Он сунул его небрежно в карман халата. Охватило чувство стыда, словно его, как мальчишку, отчитали на людях. И это чувство стыда подчеркивалось молчанием Милочки. Ему неловко было смотреть ей в глаза, он повернулся спиной, забыв, что глаз у него нет, а закрытые навсегда веки забинтованы марлевой повязкой. Приконулся лбом к стеклу. Холод стекла сквозь повязку проник не сразу.

— Куда выходит окно? — спросил он, хотя и знал, что выходит оно в сад.

— Сережа! — Милочка взяла его за руку.

Он повернулся к ней лицом.

— Что, Милочка?

— Сейчас будем писать ответ?

— Что писать ей, Милочка? «Я не способна к грусти томной, я не люблю vzdыхать в тиши»... На нет и суда нет. Она считает меня попрежнему мальчиком. Ее старички моложе меня.

— Она, видно, хорошая девушка?

— Да. Она хорошая девушка. Ей двадцать два года.

— Сережа, вам очень тяжело?

— Нет, мне даже слишком легко. Мне хочется спать. Не обижайтесь, Милочка, — и он направился в палату.

Она допала его, как тяжело больного уложила в постель и накрыла одеялом. Ей хотелось поцеловать его так, как она целует перед сном маленького братишку, но постеснялась.

Тимченко ни о чем не хотел думать. Все стало сразу безразличным и ненужным. Он почувствовал усталость, словно после жаркого изнурительного дневного боя, когда самым желанным кажется сон. Нелышными станвятся тогда орудийные громы, не беспокоит пулеметная стрельба, наступает покой. Тимченко уснул.

Монтер объяснил Титову ошибку, допущенную им в монтаже аппарата. Ошибка была незначительной. В то же время он изумлялся и восхищался тем, что Титов смонтировал аппарат, не видя, наощупь.

— Двадцать лет занимаюсь этим делом и ни разу так не пробовал. А ну-ка, заяв-

жи мне глаза, — неожиданно и весело попросил монтер.

Петрусь туго завязал ему платком глаза. Егорьев придирчиво проверил — не осталось ли щели. Монтера обступили тесным кольцом. Всех охватил азарт, точно затеяли игру, в которой все принимали участие.

— Петрусь, ты смешай все в кучу, — предложил Титов.

— Это зачем же? — удивленно спросил монтер с завязанными глазами.

— А ты что, легкого хлеба захотел? — сказал, смеясь, Титов. — Попотей немного, тогда поймешь.

Все дружно рассмеялись. Игра становилась интересной.

Монтер долго выуживал из кучи нужную деталь, неумело и неловко ощупывал ее и вдруг схватился за повязку — она мешала ему. Но все дружно, в один голос, закричали:

— Стой, стой! Уговор — без глаз.

— Да это я так, — смущенно оправдывался монтер. Его пальцы, привыкшие к труду, вдруг оказались неловкими, непослушными, словно первый раз в жизни взялись за работу.

— Ну как? — нетерпеливо спросил Титов.

— Не торопись, не блох ловим, — ответил смеясь монтер. Повозившись еще некоторое время, он торжествующе объявил: — Начало сделано.

— Ну-ка, покажи! — попросил Титов.

Монтер плохо чувствовал голос и протянул руку в другую сторону.

— Пальцем в небо, — рассмеялся Егорьев.

Рассмеялись и остальные. Титов, поняв в чем дело, также рассмеялся.

Петрусь взял из рук монтера коробку и дал Титову. Он внимательно ощупал ее и, смеясь, сказал:

— Куда ж ты задом наперед привинтил?!

— Быть не может! — изумился монтер и сорвал с глаз повязку.

Все рассмеялись. Игра была проиграна. Монтер окинул быстрым взглядом то, что сделал вслепую.

— Твоя, брат, правда, — признался он. — Всякая наука требует сноровки. У тебя, парень, золотые руки.

— Руки — от скуки, а без глаз невесело. Вот до конца и не сумел, — с грустью сказал Титов.

— А зачем до конца собирать? Нет того, чтоб на заводе один человек собирал весь аппарат. На заводе — поток. Сделал свое — и все.

— А мне мало радости век на одной детали сидеть, — возразил Титов. — Я все могу и все хочу.

— Бригадиром свободно можешь.

— А возьмут?

— Чего ж не взять. Дело хорошо знаешь.

«Новый мир», № 8.

— Спасибо, товарищ, за помощь. — Титов заметно обрадовался, повеселел и пожал монтеру руку.

Монтер ушел. Все были в сборе, в хорошем, даже веселом настроении, и Егорьев считал момент удобным, чтобы вслух прочесть письмо, полученное от командира батальона. Но не успел он высказать свою мысль, как Питомцев предупредил его.

— Людочка, — сказал он, — теперь никто нам не мешает.

— Да, — подхватил Добров, — сейчас все вошло в норму. — Он еще не закончил письма жене и сел на кривая.

Питомцев диктовал и заметно раздражался. Людочка не успевала писать под его диктовку. Он повторял фразы, повышая голос, точно она плохо слышала. Людочка не замечала раздражительного тона, писала медленно, изредка спрашивая о знаках препинания.

«Директору завода 217 генерал-майору Богданову И. А.

Дорогой Иван Арсеньевич! Беспокоит Вас бывший инженер производственного отдела заводоуправления, ныне — капитан Питомцев. Полагаю, что Вы еще не успели позабыть меня, тем более, что неоднократно имел удовольствие выслушивать Вашу благодарность как устно, так и в приказе.

Я отвоёвываясь. В настоящее время заканчиваю лечение в госпитале и надеюсь недели через две выйти совершенно здоровым. Был я ранен в оба глаза и ослеп. Тем не менее речь я веду о том, чтобы вернуться на завод работать. То, что я слепой — не должно Вас смущать, как не смущает и меня. Я даже осмеливаюсь просить Вас, не считаясь с годичным перерывом в моей работе, предоставить мне более ответственную должность, хотя и в другом роде (в канцелярию — слепой, естественно, не пригоден). Я могу работать только как инженер-организатор и, в первую очередь, на вашем заводе, который я знаю буквально с закрытыми глазами — любой цех. Я просил бы Вас дать мне должность главного диспетчера. В этой роли я смогу применить с пользой свои способности организатора, и слепота моя не будет служить помехой. Для себя я в этом не вижу ни эксперимента, ни риска. Для Вас же — риск не велик. Впрочем, я знаю Вас как директора, не боящегося и большего риска.

Слепота моя, к сожалению, вынуждает меня выставить некоторые условия — они незначительны, но для меня крайне важны.

1) Дать в мое распоряжение личного секретаря.

2) Предоставить мне мою бывшую комнату в доме инженеров № 37. Я знаю ее наизусть, а это для меня — и удобство, и выигрыш во времени.

Свою работу я начал бы со следующего организационного мероприятия, разумеется, с Вашего разрешения и одобрения: объединить цеха по принципу укрупнения производственных операций. К примеру: детали №№ 1, 2 изготавливаются в цехе № 28, а дальнейшая обработка производится в цехах №№ 4, 29 и 32. При объединении все эти операции можно производить в цехе № 28. Даже без точного подсчета и калькуляции очевидно, сколько это даст экономии в мастерах, в площади, транспортировке, вспомогательных операциях, и какой это даст выигрыш во времени при таком естественном его уплотнении.

Я надеюсь оправдать ваше доверие, особенно, если мне будет предоставлена инициатива, как это предоставляется командиру на фронте — в рамках приказа к достижению цели.

С товарищеским приветом.

Р. С. Независимо от всего личного прошу обсудить и выполнить, если сочтете возможным, следующее мое предложение. Необходимо упростить плату полкового миномета. Она громоздка и тяжела. На фронте я это видел и ругал себя как инженера. Ее надо сделать ребристее, т.е. прочнее в отношении сопротивляемости и легче по весу. Наши минометчики будут заводу благодарны и еще крепче станут долачивать врага».

— Людочка я вам очень благодарен, — сказал Питомцев. — Знаете, кому следующее письмо мы с вами напишем? Наркомпросу. Мы напишем ему, что вносим предложение: в старших классах средней школы ввести как обязательный предмет преподавание стенографии. Каждый культурный человек должен владеть стенографией. Время дорого!

Егорьеву не терпелось — он хотел скорее прочесть всем письмо. Оно переполняло его. Сейчас наступил самый благоприятный момент. Добров, он видел, также кончил писать. Надо найти только приличный повод, иначе Питомцев скажет что-нибудь язвительное. На ум, как назло, не приходил ни один повод, который он мог бы признать приличным и обоснованным. Нетерпение подхлестывало, радость переливалась через край. Письмо от боевых друзей с фронта, и всем будет одинаково приятно. И вдруг он заметил, что Питомцев направился к выходу — нельзя терять времени.

— Товарищи, — сказал он, забыв сразу свои размышления насчет приличного повода. — Вы можете меня поздравить.

— В таком случае с вас пол-литра, — повернувшись, мгновенно отозвался Питомцев.

— Позвольте, позвольте, вы даже не знаете по какому поводу.

— Как не знаю? Отлично знаю. Вас представили к награде и к повышению в звании. Я хотел вас еще с утра поздравить, но думал, что вы держите в секрете.

— Совершенно верно. Но это паразитично! Откуда вы знаете?

— Поздравляю! Искренне и сердечно поздравляю! — Питомцев крепко пожал ему руку. — Уважаю боевых людей.

— И я поздравляю. От всей души, — пожимая руку Егорьеву, сказал Добров.

Радостно звеня и перебивая друг дружку, поздравляли Егорьева Людочка и Ми-лочка.

— Разрешите поздравить, товарищ лейтенант! — встав, торжественно сказал Титов.

— Спасибо, товарищи, спасибо! — благодарил растроганный Егорьев. — Петрусь, а ты что ж не поздравляешь?

— И я, товарищ лейтенант. — Петрусь застенчиво пожал ему руку.

Егорьев спохватился — Питомцев сорвал ему весь план. Письмо так и не довелось прочесть. Но сейчас еще более важно прочесть со всеми подробностями. Теперь приличный повод сам собой нашелся.

— Товарищ Питомцев, откуда вы все же узнали? — спросил Егорьев изумленным голосом.

— Не стану вас интриговать. Я узнал лично от вас.

— От меня? Да вы смеетесь! Я никому ни звука...

— Так ли?

— Честное слово!

— Узнал я все же от вас лично. Радость выпирала из вас. Вы ходили и бормотали вслух содержание письма. Кое-что я разобрал.

— Ах, вот как! В таком случае я прочту все письмо. Никакого секрета, уверяю вас. — Егорьев торопливо стал читать:

«Дорогой Трофим Афанасьевич! Я и все офицеры батальона шлем Вам товарищеский привет и пожелания поскорее выздороветь, набраться свежих сил и вместе с нами долачивать врага в его собственной берлоге. До Берлина рукой подать. О Вашем здоровье особенно беспокоятся «старички» Вашей второй роты.

Крепкожимаю Вашу руку и поздравляю с высокой правительственной наградой — орденом Красного Знамени (Приказ по Армии № 4375 от 5/III—1945 года). Тем же приказом Вам присвоено звание старшего лейтенанта. Сообщите точный Ваш адрес по выходе из госпиталя, и все по форме Вам будет прислано.

Не знаю, когда доведется нам с Вами повидаться и доведется ли, и хочу поэтому сглазить все шероховатости, которые возникали между нами. Хочу, чтобы мы вспоминали друг друга, как истинные друзья, без кислого осадка, как полагается боевым друзьям, чья дружба сцементирована кровью. Это пишу я Вам не как началь-

ник, а как друг, как старший по опыту и званию, хотя и младший по возрасту. Только, чур, не обижаться — правда в лоб. Вы хороший, честный, боевой командир, смерти не боитесь, выполняете боевые задачи, а все же не могу Вас назвать ни храбрым, ни смелым. И все потому, что думаете Вы долго и, как говорят шахматисты, часто попадаете в цейтнот. Поле боя — не канцелярия, минута иногда решает все или очень многое. И тут нужна смелость, не смелость бойца, кидающегося на пулемет, а смелость командира, смелость в принятии решения. Последний бой Вы провели очень хорошо, задачу выполнили, решение Ваше было прекрасным, но если б Вы не звонили мне, не спрашивали, а действовали на свой риск, тогда бы успели захватить переправу и плацдарм на западном берегу. И тогда Вам не орден Красного Знамени, а — Героя Советского Союза. А я хочу, чтобы все мои подчиненные и друзья были Героями Советского Союза. И за это мое желание не сердитесь на меня.

До свиданья! Ваш друг и комбат Н. Черемисов».

— Ваш командир батальона мне нравится, — сказал Питомцев. — Настоящий офицер!

— Молодой парень — двадцать четыре года, капитан. Боевой, но горяч больно, — ответил Егорьев.

— Насчет цейтнота следует подумать. Капитан ваш, кажется прав, — заметил Добров.

Вошла дежурная сестра.

— Товарищ Питомцев, к вам пришла дама. Ждет внизу, — сообщила она многозначительно улыбаясь.

— Идем, Петрусь, — засуетился Питомцев.

8

Зоя Федоровна уснула с мыслью, что завтра пойдет на свидание к раненому Питомцеву. И с этой мыслью проснулась утром. Просыпалась она всегда одинаково — ровно в 8 часов, но никогда себе не верила.

— Шура, который час? — спросила она свою секретаршу, приходившуюся ей родной теткой по матери.

— Раз ты проснулась — значит восемь, — ответила Шура, потягиваясь и тяжело ворочаясь в постели.

— Не ленись, посмотри.

— Ну, посмотрела. Легче тебе стало? Восемь.

— Если б я не будила тебя, ты спала бы, как медведь, всю зиму, без просыпу.

— Люблю поспать. Сон какой замечательный видела! Будто...

— Не рассказывай мне свои глупые сны. Сколько раз повторять тебе. Вставай!

— Не даешь ты утром помечтать в постели, — Шура сладко потянулась и с гротом, словно сломала железную кровать, встала. Громко дыша, достала из-под кровати туфли, надела пестренький ситцевый халатик и недовольно спросила: — Ну, генерал, какие будут приказания?

— Где мать, на кухне? Позови ее! — Зоя Федоровна сбросила одеяло, спустила голые ноги с кровати прямо в босоножки, сняла со стула сиреневый шелковый халат и нащупала чуткими пальцами швы, чтобы не надеть наизнанку. Подошла к старинному, красного дерева, трельяжу, села в мягкое дырявое, с торчащей пружиной, кресло и перед зеркалом стала причесывать волосы.

В трех зеркалах — три отражения ее красивого, но еще сонного лица. Она ничего не видела, но причесывалась перед зеркалом. Сделала прямой пробор, тщательно, волосок к волоску. На подзеркальном туалетном столике разбросано много баночек с разными кремами, флаконов пустых и с духами, коробок с пудрой. На первый взгляд на столике — ералаш, но все флакончики, коробочки и баночки расставлены в строгом, раз и навсегда заведенном порядке. Он отвечал удобству и привычкам Зои Федоровны, и его никто не нарушал.

— Ты чего хочешь, Зоинька? — спросила мать, войдя в комнату. — Завтрак готов.

— Я, мать, не о завтраке, а насчет обеда. — Зоя Федоровна мыла лицо миндальными отрубями, — у нас будет гость к обеду. — Она взяла баночку и, предварительно понюхав, стала растирать лицо желтоватым пахучим кремом.

— Кто же это? — мать вытерла чистым передником руки и торопливо поправляла седые волосы, будто гость стоял уже на пороге.

— Ты не знаешь, это мой старый приятель, офицер. Он теперь в госпитале, раненый.

— Что-то я не знаю у тебя такого приятеля, — удивилась мать.

— Ты его и не можешь знать. Собственно, я с ним недавно познакомилась. Я о таком давно и много думала. И мне кажется, что он мой старый, старый приятель.

— Я знаю, это капитан Питомцев, — обрадованно сказала Шура. — Он такой...

— Не смей ничего говорить о нем! — закричала Зоя Федоровна. — Слышишь, не смей!

— Не буду, не буду! — Шура протянула вперед руки, точно закрылась от удара.

— Что ты затеваешь, Зоинька? — тревожно спросила мать.

— Мама, очень прошу тебя — приготовь вкусный и хороший обед. И закусу. Видно, чтобы было, водка, — Зоя Федоровна подошла к матери, обняла ее и поцеловала. — Сделаешь?

— Ведь все приготовить надо, — с упреком ответила мать. — Что ж ты не сказала с вечера, что пригласила человека на обед?

— Я не приглашала вчера. Я сегодня приглашу его.

— Бог знает, что ты выдумываешь! Может, он еще и не согласится, не придет, — сказала мать.

— И даже обязательно не придет, — заявила Шура. — Его не отпустят из госпиталя.

— Ну да, не отпустят! Он не из тех. Раз я приглашу его — он придет. Он пойдет куда угодно, если позову его, — с необыкновенной уверенностью сказала Зоя Федоровна. — А ты, Шура, сбегай, купи коробку шоколадных конфет.

— Да ты знаешь, сколько они стоят! — всплеснула руками Шура. — Хватит ли у нас еще денег?

— Все равно, сколько бы ни стоило, хоть все деньги.

— Он, конечно, интересный...

— Не смей ничего говорить о нем! — прервав Шуру, закричала Зоя Федоровна.

У нее были на то свои причины.

И мать, и тетка Зои Федоровны знали, что интерес к любви она проявляет чрезвычайно редко. Случай с Питомцевым был третий в ее жизни. Первые два случая — один с художником и другой с преподавателем педагогического института, где Зоя Федоровна училась — так и остались случаями, короткими и мимолетными. Виною была мать, хотя она и не догадывалась о том. Она описала внешность художника и педагога так, что Зоя Федоровна потеряла к ним интерес и быстро остыла. У художника, по словам матери, лицо было красное, как свекла, нос, как огурец, а глаза, как у рыбы: ни свеклы, ни огурцов Зоя Федоровна не любила. У педагога лицо было более приятное, но кожа болезненно желтого цвета, как на барабане, нос напоминал картошку, а фигура настолько сутулая, что казался он горбатым. И, хотя Зоя Федоровна сама и не могла видеть их, описания матери все же оказались решающими, несмотря на то, что оба по-своему нравились ей. Она, не думая, сжилась с понятиями о красоте, созданными в ее воображении матерью.

Эти понятия мать прививала и насаждала с детства. Началось с того, что Зое Федоровне часто приходилось слышать на улице или в сквере, где она играла с детьми: «Как жаль, такая красивая девочка и слепая». Дома она спросила: «Мама, я красивая?» И мать, восторгаясь, не скупясь на краски, ярко описывала ее красоту. Мать думала, что она скрашивает несчастье девочки и отчасти искупает свою вину. А в несчастье дочери она считала виновной себя — родила ее слепой. Воображение девочки не знало зрительных образов, и обычного описания красо-

ты она не понимала. Невольно мать должна была пояснять зрительные образы осязаемыми, вкусовыми понятиями, доступными слепой. И с детства Зоя Федоровна знала о себе, что у нее: «щечки, как яблочки, губки, как вишенки, волосы, как шелк, вся она стройная, как молодая березка возле дома, и приятная, ароматная, как роза». Это — красиво. О тете Шуре, своей сестре, мать говорила, что она красивая: лицо, как тыква, губы толстые, точно распухли, а тело полное и рыхлое, как тесто. И так во всех случаях, когда Зоя Федоровна спрашивала о красоте. Вкусу матери она доверяла.

Такое представление о красоте вполне укладывалось в слепом воображении Зои Федоровны. Оно не мешало ей и не приходило в столкновение с ее собственным ощущением и восприятием до тех пор, пока она не встретилась с художником и педагогом.

Судьбы этих встреч решили привычные, но чужие суждения о красоте, но все же они вызвали у Зои Федоровны слабый внутренний протест и впервые заставили задуматься. Чем больше она об этом думала, тем сильнее возрастал протест. Она поняла, что в таких тонких отношениях можно и должно доверяться только собственным ощущениям. Она часто вспоминала художника — остроумного и занятого человека, с которым приятно было встречаться. Возникало желание возобновить с ним знакомство и встречи, но самолюбие не позволяло. То же самое повторилось с педагогом, хотя он был человек совсем другого склада. С тех пор прошло больше трех лет.

Питомцев понравился ей сразу. Она часто на уроках беседовала с ним, прислушивалась к биению своего сердца, пыталась подавить в себе возраставшее тяготение к этому мало знакомому ей человеку, но все больше уверялась, что он — именно тот, кто может дать ей счастье. Ей доставляло большое наслаждение касаться его лица, волос, рук, и для этого она прибегала к маленькой хитрости: делала вид, что всех своих учеников в третьей палате одинаково ощупывает, чтоб узнать их, хотя на самом деле могла легко узнавать каждого по голосу и по походке.

Настойчивость Питомцева ускорила личную встречу, о которой Зоя Федоровна мечтала, но не знала, как осуществить. В то же время его настойчивость пугала — это было непривычно. Теперь Зоя Федоровна боялась, как бы мать или тетка своим описанием внешности Питомцева не испортили их отношений, хотя твердо решила считаться только с собственными ощущениями.

Где-то глубоко внутри её бродили чужие, не изжитые до конца понятия, могущие помешать счастью. О знакомстве же с Питомцевым она думала, как о возможном

счастье, хотя уклонялась объяснить самой себе, что подразумевала под этим. Она хотела счастья, стремилась к нему всей душой, ждала его, не думая о том, как оно появится и зазвучит. И теперь она чувствовала, что счастье близко, потому что никогда ей не было так хорошо и радостно на душе.

Когда тетка ушла покупать конфеты, Зоя Федоровна обняла мать, прижалась лицом к ее плечу и молчала, переполненная радостью.

— Что с тобой, Зоинька? — спросила мать.

— Мама, когда придет капитан Питомцев, будь с ним любезна и ласкова. Он — раненый и герой. И ничего не говори мне о нем. Я все сама знаю. Пусть у него лицо, как тыква или свекла — все равно. Он мне нравится. Ладно, мама?

— Ладно, — ответила мать и поцеловала ее. — Пусти меня, пойду готовить обед. Зоя Федоровна перебрала весь свой гардероб и остановилась на черном шелковом платье. Она безошибочно отличала его от других двух шелковых платьев не только по фасону, но, как ей казалось, и по цвету. Она как будто чувствовала большую плотность черной окраски.

Одевшись, она прошла на кухню к матери.

— Посмотри, мама! — попросила она, повернувшись перед ней несколько раз.

— Все хорошо, Зоинька, — одобрила мать. Она искренне любовалась своей дочерью. В ней она видела весь смысл своей жизни.

9

Зоя Федоровна и Шура, держа Питомцева под руки, бережно вели его по улице. Он шагал по-детски неуверенно и часто спотыкался. Зоя Федоровна весело смеялась.

— Вы такой большой и беспомощный, — ей было приятно сознавать, что она ведет под руку, точно ребенка, большого и сильного мужчину.

Он вслушивался не в ее слова, а в смех — громкий, непосредственный, как у девочки. Он слышал впервые, как она смеется. Ему казалось, что открыл в ней еще что-то приятное, чего раньше не знал, и крепко прижал локтем ее руку. Еще он заметил, что шагает она твердо, уверенно, не так, как ходит по палате.

— Вы хорошо знаете город? — спросил он.

— Еще бы! — обрадовалась Зоя Федоровна. — Я родилась здесь, выросла, знаю каждый переулок. Сейчас мы идем по главной улице. На углу почта и телеграф. Самое неприятное место — там пересекаются несколько улиц и всегда большое движение. А туда дальше — Синицын переулок. Я его очень люблю. Тихий, мно-

го акаций, летом чудно пахнут. В этом переулке педагогический институт, где я училась.

— По Брайлю? — спросил Питомцев.

— Нет, я слушала лекции для всех. Письменные работы, конечно, я готовила по Брайлю и читала вслух.

Зоя Федоровна с удовольствием вспоминала институтские годы. Из ее рассказов Питомцев узнал, что для слепых издается много книг, в том числе классики и современная литература. Узнал он еще, что Зоя Федоровна обучалась музыке — играла на рояле, но ее увлекла педагогическая и общественная деятельность. Вместе с председателем общества слепых они ходили по рынкам, на пароходную пристань, на вокзал, вовлекая слепых нищих в общество, обучали их грамоте и приспособляли к труду.

Питомцев отвык от шума уличного движения и еще не привык много ходить вслепую. Странно и страшно, думал он, быть в городе, ходить по улицам и не видеть ни города, ни улиц. А Зоя Федоровна, удивляясь он, не печалится, рада, довольна. Хорошо, но незavidно. Он вскоре устал и почувствовал легкое головокружение. Внимание ослабло, и рассказ Зои Федоровны слушал уже рассеянно.

— Здесь где-то должен быть цветочный магазин, — сказал он.

— Да, мы сейчас пройдем мимо него, — ответила Шура и удивилась. — Откуда вы знаете?

— Пожалуйста, покажите мне, — попросил он, не отвечая на вопрос.

В цветочном магазине Питомцев купил корзину хризантем и корзину персидской сирени. Он дал нести Шуре сирень, а хризантемы нес сам, держа их впереди себя, навесу, чтобы не смять.

Мать Зои Федоровны встретила гостя любезно и ласково, ничем не обнаружив своего смущения при виде повязки на его глазах. Только Шура заметила, как она сокрушенно покачала головой. Зоя Федоровна стала снимать шинель с Питомцева. Он запротестовал.

— Помощь раненому — помощь фронту, — пошутила Зоя Федоровна и настойчиво сняла с него шинель.

Шура расставляла корзины с цветами, мать хлопотала за накрытым уже к обеду столом. Питомцев остался один в середине комнаты. Он стоял беспомощный и растерянный. Ни разу он еще так остро не чувствовал тяжесть повязки на глазах. И эта минута показалась ему неопределенно долгой и томительной, как бессонная ночь.

— Зоя Федоровна, где вы? — позвал он ее каким-то чужим голосом.

— Бедный капитан, все покинули вас! — откликнулась Зоя Федоровна. Она произнесла эти слова как будто шутя, но поняла по его голосу, что он плохо чувствует себя, и поспешила к нему. — Не смущай-

тес, — уже серьезно сказала она, положив ему руки на плечи. Этот жест был ей приятен, и она часто повторяла его. — Вы просто еще не знаете расположения комнаты. — Она не сняла рук с его плеч, а медленно, как бы лаская, скользила ими вниз. Правой рукой задела ордена. — О, да вы — герой! Это орден Красного Знамени, это — Красной Звезды, а это? Я даже не знаю.

— Отечественной войны первой степени. — пояснил он.

Она внимательно ощупывала орден, запоминая его форму.

— Больше у вас нет? — спросила она, проводя рукой по его груди.

— Не заслужил, — смеясь сказал он.

— А еще много могло бы поместиться, грудь у вас широкая, — произнесла она как-то по-детски, наивно.

— Пожаайте к столу, — пригласила мать. — Что ж ты, Зоинька, не приглашаешь гостя?

— А у тебя, мама, все готово?

— К пустому столу не позвала бы.

— Вы сядете рядом со мной, — сказала Зоя Федоровна. И повела Питомцева под руку. — Люблю ухаживать за детьми.

— За большими? — спросил он в тон шутиливо.

— Да, большие послушнее и менее капризные. — Она посадила его за стол. — Вот салфетка, — дала она ему в руку. — Мама, наливай.

— Зоинька, как зовут гостя? — спросила мать.

— Капитана Питомцева зовут... — Зоя Федоровна неловко запнулась.

Питомцев почувствовал удивленный взгляд матери и поспешил на выручку Зое Федоровне:

— С вашего разрешения — Константин Петрович. Как вас прикажете величать?

— Анна Семеновна. — она налила водки в рюмки. — За что пить будем?

Зоя Федоровна держала себя за столом, как и в комнате, независимо и свободно. Чувствовалась, что порядок на столе всегда один и тот же.

— За вами слово, Константин Петрович, — она чокнулась с ним.

— Первый гост. самый приятный — за хозяйку дома. — Он поднял рюмку гораздо выше, чем хотел. У него еще не было, как у Зои Федоровны, выверенного чувства жеста.

Он думал, что Зоя Федоровна и мать так же, как и он, пьют. Они часто наливали ему, чокались и подавали закуску. Обед был обильный и вкусный. Ему было весело, и он охотно провозглашал тосты: за победу, за прекрасную жизнь, за Зою Федоровну и вообще за хороших людей. Он все больше оживлялся. Он давно не пил, чувствовал, что хмелеет, но не хотел признаться в этом самому себе. Настроение поднималось, как в термометре ртут-

ный столбик. На душе становилось веселей, но мешала повязка на глазах. «А что, подумал он, если сброшу повязку?»

— Шура, не пей больше, — услышал вдруг Питомцев голос Анны Семеновны,

— Не твое дело, сама знаю меру, — ответила Шура и беспричинно расхохоталась. — У меня характер веселый, а они хотят, чтобы я монахиней жила, — пожаловалась она Питомцеву. — И сами не пьют.

— Пейте, Александра Семеновна, пейте, — поддержал ее Питомцев. — Надо, чтобы всем было весело. Зоя Федоровна, мне хочется, чтобы и вы выпили.

Он взял ее за руку и не отпустил, пока не почувствовал, что она поднесла рюмку ко рту и выпила. Он поцеловал ей руку.

— Анна Семеновна, мамаша, позвольте, приложиться к вашей ручке, — он встал. — У вас такая чудная, очаровательная дочь!

Анна Семеновна протянула ему руку. Он склонился и поцеловал, почувствовав, что рука ее маленькая и кожа на ней старческая, дряблая.

— Константин Петрович, я хочу выпить за ваше здоровье, — сказала Шура.

— Шура, не смей пить! — строго сказала Зоя Федоровна.

— Не дашь пить — замуж выйду. Вот вдруг да выйду замуж. Что ты будешь без меня делать, — она подбоченилась и вызывающе смотрела на Зою Федоровну.

— Шура, ты говоришь глупости. Прекрати! — Зоя Федоровна явно волновалась, и голос ее дрожал.

— И совсем не глупости говорю. Я тебе всю жизнь отдала. А ты не даешь мне в кои веки повеселиться с хорошим человеком.

Шура тяжело опустилась на стул и заплакала. Она плала и плакала очень редко и только в таких редких случаях, сквозь слезы, думала о своей неудавшейся жизни. Никогда, никому не жаловалась и свою неудачу тайла в себе, как стыд. Началось с того, что случается в молодости со многими — она полюбила, и ей не ответили. Но при этом узнала, что она безнадёжно некрасивая и почему-то все зовут ее «дурочкой». Сказала ей об этом не в меру услужливая подружка. С тех пор Шура замкнулась в себе, избегала людей, ко всему у нее пропала охота, и жила только потому, что жизнь шла как-то сама собой. Жила она после смерти матери у сестры.

Весь свой досуг и природную доброту души она посвятила маленькой, слепой от рождения, Зое, привязавшись к ней и полюбив, как дочь. Думала и мечтала Шура лишь о том, чтобы стать красивой и умной. Позднее она ограничила свои мечты и хотела стать лишь умной. Время шло, а ума, как ей казалось, не прибывало. Однажды соседи предложили ей выпить стопку водки. Она выпила и опьянела. Опьянение ей понравилось — в этом состоянии она чувствовала себя умной и

красивой. К водке она не пристрастилась, но при удобном случае, что бывало редко, охотно пила. Так приятно было чувствовать себя умной и красивой.

С начала войны, когда все, кто мог, ушли на фронт и на работу, Шура впервые остро почувствовала свою неустроенность и безделье. Уход за Зоей Федоровной она не считала работой и мысленно ругала себя «иждивенкой», а ей всего лишь тридцать пять лет. Такое положение тяготило ее, но не хватало решимости изменить свою жизнь — жалко было Зою Федоровну. Что она без нее? Шура казалось, что она и поныне руководит ею во всем, как руководила, когда та была маленькой. Властный тон Зои Федоровны, а иногда и окрики она воспринимала по привычке, как капризы маленькой, которую любила. Но сейчас, когда Зоя Федоровна при постороннем человеке прикрикнула, Шура обиделась и от обиды заплакала.

Зоя Федоровна подошла к ней, обняла и, целуя, утешала, как ребенка.

— Шурочка, милая, не надо плакать. Со слезами не весело, — и, повернувшись к Питомцеву, объяснила: — она у нас очень нервная.

— Александра Семеновна, — обратился Питомцев, — в самом деле, давайте веселиться.

Шура вырвалась из объятий Зои Федоровны, чокнулась с Питомцевым и выпила.

— Они в этом ничего не понимают, — показала она жестом на Зою Федоровну и ее мать. — Я могу много выпить. А жизнь у меня прошла невесело. Пионеркой не была, в комсомол не пошла. Мне и теперь хочется пройтись по улице под барабан, в трусиках. Ведь, правда, весело?

— Вы замечательно веселый человек, Александра Семеновна! У вас есть чувство юмора, — не то серьезно, не то шутя, сказал Питомцев. Он не замечал нервного состояния Зои Федоровны, красневшей за свою тетку. — Эх, музыки бы сейчас нам! — сказал он. — Вот бы повеселились! Песни пели бы. Зоя Федоровна, вы любите старинные русские песни?

— Очень люблю, особенно грустные.

— А я и веселые люблю. Был у меня в батальоне красноармеец-баянист. Вот парень! Не глядя, в огонь и воду кидался, а на баяне играл — хоть умри! Убили парня. Жалко мне его было. Не постыдился и плакал, когда узнал. — Питомцев на миг задумался и запел приятным и сильным голосом:

«Ты дуброва, моя дубровушка,
Ты дуброва моя, зеленая,
Ты к чему рано зашумела,
Приклонила свои веточки».

И так же, как неожиданно запел, так вдруг и оборвал песню.

— Мать у меня хорошо пела. Песен она знала без конца. Бывало, сидит, вышивает и скажет: «Ну, Костыка, садись, споем». И поем с ней в два голоса — я вторил...

— Шура, помоги убрать со стола, — звала Анна Семеновна.

Шура, услышав голос сестры, покорно поднялась со стула и стала собирать посуду. От ее буйного настроения не осталось и следа. Она была такая, как обычно — молчаливая и безразличная ко всему.

Питомцев стоял с Зоей Федоровной возле стола лицом к лицу.

— Хорошо у вас уютно и... весело, — сказал он, запнувшись.

— Почему вы так смотрите на меня в упор? — спросила она.

— Откуда вы это знаете?

— И вы это будете знать со временем. Когда говорящий смотрит в упор, голос его меняется.

— Да я по привычке. Но что бы со мной ни было — я не пойму жизни без вас, Зоя Федоровна! — Он взял ее за плечи, привлёк к себе и своими губами искал ее.

Она не сопротивлялась. Губы у нее были слегка влажные и горячие.

— Вы не думайте, что мне хорошо от вина. Мне весело на душе потому, что я с вами.

— Я все знаю и всего боюсь, — сказала она дрожащим голосом.

Он почувствовал ее доверчивость и не посмел еще раз поцеловать.

— Сядем за стол, — сказала она. — Сейчас нам чай принесут.

После чая Зоя Федоровна просила Питомцева предупредить в палате, что сегодня она пропустит урок. Она сама подала ему шинель и помогла надеть.

Шура, безразличная ко всему, пошла провожать его.

Анна Семеновна убирала со стола, звяня стаканами.

— Мать, ты все очень хорошо приготовила, — с благодарностью в голосе сказала Зоя Федоровна.

— Ничего не пожалела.

— Мама!..

— А мне и не жалко, я ничего не говорю. Человек он хороший, интересный.

— Я просила тебя — ничего не говори о нем! — она боялась, что ее, как ей казалось, счастье могут омрачить или испугнуть. И все же ей было приятно слышать, что он интересный.

Оставшись одна, Зоя Федоровна мучительно думала о счастье. Она хотела, чтобы Питомцеву было хорошо в жизни, а ему будет хорошо, если он выздоровеет и будет виден. Но тогда, может быть, уйдет от нее счастье? Счастье уйти не может, подумала она, и вновь на душе у ней стало хорошо, спокойно, как тогда, когда она склонила голову на широкую, надежную грудь Питомцева.

Добров все еще не решился отправить жене письмо. Он вновь перечитывал написанное. Так трудно вместили в немногие слова все то, что составляло цель и смысл жизни и что предстояло теперь превратить в дела. И в то же время все укладывалось в простые и ясные слова: «Я возвращаюсь на фронт». Добров хорошо знал свою жену, знал ход ее мыслей — двадцать шесть лет они прожили вместе в добром согласии. Она во всем с ним одного мнения, уважает и любит его за цельность и принципиальность взглядов, но... Вот это «но» и надо вышибить, чтобы не было повода для размолвок и разногласий. Все ее возражения он предвидел: «Когда ты пошел на фронт — я гордилась тобой. Но ты уже был там, ранен, остался с одним глазом, тебе уже пятьдесят два года и, наконец, у тебя сын на фронте. У тебя есть моральное право остаться в тылу. Ты и на заводе будешь служить делу защиты Родины».

Добров написал письмо с таким расчетом, чтобы заранее отвести все возражения жены.

«Родная моя Наденька, здравствуй! Я уже телеграфировал тебе, чтобы ты не вздумала приехать за мной. Я отдохнул, здоров (осталось скорее формальность, а не лечение) и чувствую себя отлично. Ты же за время войны не отдыхала, а поездка сейчас сопряжена с большими трудностями и неудобствами. Я слишком люблю тебя, чтобы не считать с этим. Я приеду дней через десять-пятнадцать. Готовь мои любимые ватрушки! Тут я уже не пощажу твоего здоровья и труда. (Вот каким я стал эгоистом!)»

Поблагодари товарищей за приглашение вернуться обратно на завод. Они, видно, думают, что я уже подлежу зачислению в инвалиды. Торопятся! Немцы еще в первую мировую войну пытались превратить меня в инвалида, но им это не удалось тогда, не удастся и теперь. Не они меня, а их добью! Добить фашизм — это завершение на практике моих принципиальных взглядов. Есть еще одно соображение, почему я обязательно вернусь на фронт. Оно ближе всего и понятнее именно тебе, Наденька. Ты, как и я, любящий нашего Шурика. Могут ли я оставить его одного на фронте, а сам наблюдать со стороны?! Я перестал бы уважать самого себя. Шурик пришел во-время ко мне на выручку, и тем более я обязан отплатить ему тем же.

Об этом и обо всем мы еще поговорим, Наденька, лично, когда я приеду. Времени у нас будет достаточно — мне полагается, кажется, месячный отпуск. Очень прошу тебя не тревожиться обо мне — для этого нет никаких причин. Я здоров и молод. Не улыбайся — молод! Скажу тебе по секрету:

драма не в том, что мы стареем, а в том, что мы чувствуем себя молодыми. Конфликт — между формальным паспортом и фактическим самочувствием. Не будем же придавать большого значения формальности.

Будь здорова. Жди меня! (как говорится в известном стихотворении). Целую».

Добров сложил письмо треугольником, написал адрес и решил немедленно сдать сестре для отправки. Увидев, что проснулся Тимченко, сказал:

— Иду сдавать письмо. Вам не надо?

— Нет, спасибо, товарищ майор! — Тимченко сел. Он прислушался, точно осматривал палату, и спросил, ни к кому не обращаясь. — Не все наши дома?

— Капитана Питомцева нет, — ответил Титов. — Загулял. Милочка велела сказать вам, что придет и напишет письмо.

— А я не просил ее.

— Не знаю, велела сказать.

Гоня перед собой запах духов, вошли в палату Милочка и Людочка. Они разошлись веером: одна — к Тимченко, другая — к Петруську.

Милочка села возле Тимченко, стиснула ему руку и, наклонившись, спросила таинственным шепотом:

— Будем писать сейчас Люсе?

— Нет, не будем.

— Почему же, Сережа?

— Нечего писать.

— Сережа, я знаю, что писать.

— Что вы знаете?

— Надо притвориться холодным, равнодушным, вызвать в ней ревность.

— Не умею притворяться, а она не ревнивая.

— Как же тогда быть, Сережа?

— Никак. Не было письма и не будет ответа.

— Я так волновалась, весь день думала. — Недоразумение, Милочка, не надо волноваться.

— Но ведь вы страдаете, вам больно.

— Проболтался, потому и страдал. Больше болтать не буду.

Милочка не поняла, кому он проболтался и в какой связи это находится с его душевными страданиями. Его поведение, по ее мнению, противоречило опыту. Она подумала, что может быть Люся и права, вращаясь в кругу более взрослых. Сережа хороший парень, но все же еще мальчик, а не взрослый мужчина. Страдания его, верно, как и любовь, тоже не настоящие.

Санитарка привела в палату Питомцева, уже переодетого в госпитальную одежду. Он стал возле дверей, растопырив ноги, слегка покачиваясь и беспричинно улыбаясь. По дороге на свежем, морозном воз-

духе хмель ударил в голову с новой силой. Но он не хотел поддаваться. Голова как будто трезвела, а ноги не слушались. На душе у него было весело, и всю дорогу сюда, в госпиталь, ему хотелось петь. Он даже пытался, но Шура не позволяла: «Раненому неприлично петь». «А почему раненому прилично только страдать?» — спросил он. Шура объяснить не могла и упрямо твердила: «Неприлично, нельзя».

Он чувствовал устремленные на него молчаливые взгляды и добродушно-ироническую улыбку. Лиц он не представлял себе — не знал их — и все, казалось ему, улыбаются одним ртом, переходящим от одного к другому.

— Возвращение блудного сына. Прошу приветствовать, — сказал он, весело усмехаясь.

Милочка и Люточка захлопали в ладоши.

— А-а, я знаю кто здесь: одна, деленная на двое. Правильно, товарищ Егорьев?

— Это вы нас с Люточкой так называете? — смеясь, спросила Милочка.

— Угадали. Ставлю вам пятерку по арифметике.

Питомцев пошарил рукой в тумбочке, нашел коробку конфет и вскрыл ее.

— Прошу! Дамы в первую очередь, — он протянул вскрытую коробку. — Милочка, похозяйничайте.

Милочка взяла конфеты и угощала всех.

Питомцев перекинул ноги через кровать, сел к Тимченко.

— Как самочувствие, дружок? — обнял он его и провел пальцами по лицу так, как это делала Зоя Федоровна. И, хотя он ничего не прочел и лишь почувствовал мелкие, как следы оспы, садины, догадливо сказал. — Грустишь все, хнычешь? Горе на душе?

— Нет, просто так, молчу, — грустным голосом ответил Тимченко.

— Врешь, брат, не обманешь. Слух у меня тонкий. Горе всегда говорит одним и тем же голосом. А вот счастье — оно поет на разные лады. Ты, дружок, не хочешь быть счастливым. Хотеть надо, сильно хочется! Я вот — счастливый.

— Неужели вы счастливый? — с иронией спросил Егорьев.

— Вы хотите сказать, что я не счастливый, а дурак. Не стесняйтесь, товарищ Егорьев, выясните обстановку. Нет, дорогой мой, я не дурак. Я знаю чего хочу. чего добиваюсь. Я вот — счастливый.

— Трудно себе представить, чтобы человек...

— В трезвом уме? — насмешливо под-сказал ему Питомцев.

— Вот именно, чтобы человек в трезвом уме, — продолжал Егорьев, — мог выйти и публично заявить: «Я — счастливый».

— А почему, позволяете вас спросить? Вот секретарша Зои Федоровны, Шура,

сказала: «Раненому неприлично петь». А почему, позволяете вас спросить, раненому неприлично петь? Кто это установил? Кто установил, что удел раненого — охать и стонать? А я вот думаю, что раненому петь приличнее, чем кому бы то ни было. Принято считать, что только дурак может публично объявить: «я — счастливый». А я не боюсь — объявляю! Кто может знать это лучше меня?! Вот я держу мое счастье. — Он встал, поднял высоко руку и сжал ее в кулак. — Попробуй, вырви его у меня, хоть я его не вижу. — И, как бы убедившись, что никто не попытается отнять у него что-нибудь, спокойно сел и замолчал. И вдруг, словно очнувшись, сказал: — Мне петь хочется. Душа просится в песню, хочу ее увидеть. Сережа, друг, давай песни петь. Эх, музыку бы сейчас! Был у меня на фронте баянист. Вот парень, вот играл! Убили. Плакал я. Помянуть бы его душу сейчас веселой песней! Жаль, пою, да не играю.

— Сыграть можно, был бы баян, — сказал Тимченко.

— Правда, Сережа, сыграешь? Будем с тобой на «ты».

— Отчего ж, сыграю. Давай баян, — так же на «ты» ответил Тимченко.

— Петрусь! — вскочил Питомцев. — Пойди к старшей сестре, к Александре Петровне, и скажи: боевая третья палата просит баян. В клубе у них есть, найдется.

Петрусь проворно заправил одеяло на кровати и побежал бегом исполнять приказание Питомцева.

— А ведь знаете, товарищ Егорьев, — сказал молчаливый все время Добров, — Питомцев, пожалуй, прав. Не станем спорить о том, что такое счастье. Мне кажется, одно безусловно верно: каждый обладает тем счастьем, которое по силам ему.

— Но зачем же кричать публично: «я счастливый», — с горячностью возразил Егорьев и с досадой подумал: «опять раздражаюсь».

— Видите ли, — задумчиво и спокойно ответил Добров, — объявить вслух о своем счастье не всякому дано. Нужна смелость. И во всяком случае нужно гораздо больше силы, чтобы чувствовать себя счастливым, чем для того, чтобы быть несчастным.

— А какое может быть счастье у слепого? — с грустью произнес Тимченко. — Мы жизни не видим.

— Жизнь, дружок мой, не в том, что мы видим, а в том, что мы делаем. Понимать надо, Сережа! — сердито ответил Питомцев. — Жизнь начинается с поступков. Запиши, Сережа!

Тимченко промолчал. Он думал о счастье и о том, возможно ли оно для слепого. Вспомнилось письмо Люси. Счастливы ли известный египтолог Златогоров и выдающийся математик Панкратьев? Они

хоть и слепые, но большие люди и наверное не хнычут. Может быть прав Питомцев. Он ему нравился сейчас — жизнерадостный, неунывающий. С ним, верно, и воевать было весело.

Петрусь принес баян.

— На, Сережа, сыграй! — подал ему Питомцев баян.

Тимченко накинул ремень на плечо и беззвучно перебирал лады, точно проверял себя — помнит ли их наощупь. Затем взял несколько звучных аккордов, быстро, без запинки пробежал послушными пальцами по ладам и резко оборвал.

— Все в порядке, — сказал он довольным голосом. — Что петь будете?

Пока Тимченко проверял на баяне послушность своих пальцев, Питомцев предложил тоном, не допускающим возражений, Людочке, Милочке и Зинаиде Петровне петь хором.

— И ты, Титов, не забывайся в закуток, — предложил ему Питомцев. — Боевое задание — песни петь!

Начали с «Ермака» Смело, во весь свой сильный голос пел Питомцев. Женщины вначале пели робко и застенчиво. Постепенно Зинаида Петровна, точно подзадориваемая голосом Питомцева, смелела, стала соревноваться с ним, стараясь перекрыть его. Голос у нее был приятного тембра, сильный, звонкий, но не поставленный. За ней потянулись Милочка и Людочка. Тимченко отлично играл на баяне и умело вел импровизированный хор.

Необычное в госпитале хоровое пение привлекло раненых из других отделений. В просторной палате стало тесно. Кое-кто из раненых примкнул к хору, и пение звучало все громче, разносясь по длинному коридору и палатам печальной удалью Ермака.

— Ну-ка, Сережа, — сказал Питомцев, когда кончили «Ермака», — придержи хор к рукам, наведи дисциплинку!

Тимченко воодушевился и вошел в роль дирижера. Он расставил поющих по голосам, прорепетировал раздельно мужские и женские голоса, затем вместе и, овладев хором, предложил Питомцеву и Зинаиде Петровне запевать «Вниз по матушке по Волге».

Хор налаживался. Стройно и мощно звучала старинная русская песня и, точно широкая река неслась по длинному коридору, как по простору. Число слушателей росло, они толпились в дверях палаты и в коридоре.

— Bravo баянисту! — кричал кто-то.

Понеслись предложения:

— Организовать хоровой кружок!

— Назвать: «хор непобедимых».

По просьбе слушателей хор пел одну песню за другой. За песней время бежало незаметно. Дежурная сестра предложила разойтись по палатам — спать пора.

Питомцев встал во весь рост и торжествующим голосом спросил:

— Кто сказал, что раненым петь неприлично?!

Его вопрос приняли, как удачную шутку, и все захолопали в ладоши. Только в своей палате знали, к чему относились слова Питомцева.

Раненые не уходили, спать не хотелось. Тимченко заиграл плясовую. Начал он в медленном темпе, точно подзадоривал любителей поплясать, но стеснявшихся обнаружил свой талант, и постепенно убыстрял, все шибче перебирая лады гибкими, послушными пальцами. Он импровизировал, усложняя всем знакомую, простую мелодию плясовой разнообразными вариациями, точно испытывал свои способности и предел звучаний, которые можно извлечь из инструмента. И, как бы убедившись, что этого предела ему сегодня не достичь, стал сбавлять темп, сокращать вариации, пока не свел мелодию к простейшему звучанию, которого можно добиться, перебирая всего лишь несколько ладов. Музыка постепенно затихла.

Раненые восторженно аплодировали.

— Сережа, друг! — стиснул его в объятьях Питомцев. — Да у тебя талант в руках, жизнь! Хватай ее, косматую, за холку и сядлай.

Дежурная сестра настойчиво предложила разойтись по палатам.

12

Титова выписывали из госпиталя. От Клавды все еще не было ответа. Страх, что она не примет, не пожелает жить с ним, как будто прошел. Титов сидел неподвижно, спокойно, безучастный к самому себе, словно всю предвечную суету, волнения и хлопоты доверил надежным друзьям, а на свою долю оставил сестру в поезде и смело устремиться навстречу жизни.

Суежились больше всех — с душой, поженски — Людочка и Милочка. Они принесли от шефов подарки Титову и его семье. Отрез на платье, хотя и шелковый, но извините, что не креп-де-шин и не шелковое полотно. Отрез шерсти тоже неважный — процентов пятьдесят бумаги. Они тщательно щупали отрезы, говорили об этом с волнением, точно от качества шелка и шерсти зависело семейное счастье Титова. Детские ботиночки казались большими по размеру, а костюм для Титова сшит стандартно, не модно. «А все потому, — самобичевалась Милочка, — что мы доверились и не доглядели». Милочка и Людочка принимали участие в судьбе Титова и чувствовали на себе тяжесть ответственности. Они принесли темносиние очки в светлой оправе из пластмассы и уговорили Титова надеть их — так красивее.

Хлопотала с причитаниями старшая сестра, Александра Петровна, спаряжая шуструю, маленького роста, сестру Нишу Котову сопровождать Титова. Надо предусмотреть каждую мелочь: паек в дорогу, но не по норме, а с запасом — «мало ли что» — нужно как-то и где-то выкроить. Дать в дорогу походную аптечку, оформить документы Титову и сопровождающей сестре в оба конца. В канцелярии — там бумажки, а тут живой человек, да еще беспомощный, сам о себе не позаботится.

Наконец, волновались товарищи Титова по палате, решая самое главное и важное. Они давали наказ Нине Котовой: тактично подготовить встречу Титова с его женой Клавой. Не сразу приводить его в дом, а предварительно повидаться с женой, поговорить с ней и выяснить ее отношение к нему. В случае, если она не хочет жить с ним, сестра должна обратиться в районный отдел социального обеспечения и потребовать немедленно предоставить Титову комнату. Он не должен чувствовать себя ни одного часу бездомным. Но если Клава согласна жить с Титовым, то пусть встретит и сама поведет мужа домой. Так будет теплее и сердечнее встреча. Еще много советов и наставлений надавали сестре, предусмотрев все возможные варианты. Наставляли Питомцев и Добров. Егорьев и Тимченко молчали или односложно одобряли их предложения. На одном только настаивал Егорьев — чтобы сестра в любом случае телеграфировала условным «кодом»: либо — «все в порядке» — хороший вариант, либо — «Титов устроен» — плохой вариант. Такая телеграмма, по мнению Егорьева, внесет успокоение здесь в палате, так как неизвестность хуже всего.

Спокойствие Титова было внешним и кажущимся. Он никогда еще не переживал такого волнения и напряжения мысли, даже тогда, когда решился впервые сказать Клаве, что любит ее и просит выйти за него замуж.

Все то, что он мысленно решил и о чем говорил Людочке и Милочке, казалось ему теперь ненужным. Сейчас, в последнюю минуту он понял, что не так-то просто добиться изменения закона насчет прав отца и матери в отношении детей, не так-то легко забрать у Клавы Шурика и того, другого, а главное — не в том смысл. Гордость надо отбросить, она сбивает. Смысл в другом: Клава — его жена, дети — их дети, и все должно так и быть, потому что Клаву и детей он любит, и надо, чтобы и они его любили. Вот этого надо добиваться. К такому решению пришел он не сразу. Натолкнул его Питомцев в тот вечер, когда вернулся подвыпивши от Зои Федоровны и повел разговор о счастье. Титов не вмешивался в тот разговор, но слушал и вначале даже посмеивался: «Какое оно из себя, счастье? Кто его видел?» И все

же, не веря в счастье, задумался о нем и хотел его. Но в чем оно, счастье? Ясным, понятным казалось несчастье: он ослеп и не человек он теперь, а полчеловека. Но с такой мыслью не хотел примириться. Почему полчеловека? Глушее он не стал, работать может не хуже зрячего, даже бригадиром может быть по монтажу телефонных аппаратов. Не обязательно каждому быть шофером. Не в том счастье. А в чем же? Не в том ли, что больше всего ему нехватало? Прозреть! Чтобы те самые, маленькие, зеленые глаза ожили и смотрели на мир. И тогда вся жизнь встала бы на свое место. Но, если бы так и случилось, то было бы это не счастье, а чудо. Чудес же не бывает, и в них он не верил. О таком и думать не стоит. Вот если Клава, любя, примет, примирится с ним — слепым, если они будут жить, как и раньше, вместе растить детей, сообща работать — это будет счастьем. Это возможно, и в такое он верил. Но само по себе ничто не делается. И чужими руками счастья не добьешься.

Титову казались смешными наставления, которые Питомцев и Добров давали сестре Котовой. Разве он доверит ей переговоры со своей женой. Маленький он, что ли? Нет, прямо с вокзала он внезапно нагрянет и, еще не сказав ни слова, не видя Клавы и не слыша ее голоса, почувствует, чем она дышит. И чем бы ни дышала, он будет добиваться своего, как добивался, когда захотел жениться. Сейчас, правда, положение другое, но и она уже не та.

Товарищам по палате он ничего не сказал. Искренне благодарил их за хлопоты, за теплое, дружеское отношение, обещал написать и крепко пожимал им руки. Петрусю он обнял и сказал, словно оставляя завещание:

— В поводыри не думай! На завод работать иди!

— Спасибо! — Петрусь застенчиво поцеловал Титова, и так как к горлу подступили слезы, быстро взял узелок и молча пошел в коридор.

Тимченко сыграл на баяне прощальный марш. Проводы были закончены. Сестра Котова взяла под руку Титова, чтобы так довести его и сдать на поечение жене. Они вышли из палаты.

Стало сразу тихо. Умоляли и сели Людочка и Милочка, легли на свои кровати Егорьев, Добров, Тимченко и Питомцев. Каждый задумался по-своему, но все — об одном и том же: отправился Титов в новую жизнь. Как она встретит и примет его? Думая о Титове, гадали о себе, словно Титов был прозрачным и просвечивал их судьбу.

Санитарка сняла с кровати шофера одеяло, подушку, матрац и унесла проветривать. Обнажилась пружинная серая сетка. От кровати повеяло холодным и неживым,

точно от скелета. Угол, где жил Титов, стал неуютным и нежилым. Тишина в палате заволокла молчаливой грустью и печалью.

13.

Гудящее движение грузовых машин и подвод неслышно переместилось куда-то за холмистый берег. Сквозь вымытые, прозрачно-чистые стекла блеснул на реке грязновато-серый бугристый лед. Река поднялась вверх, разбежалась вширь и оказалась такой же вымытой, прозрачно-чистой, как стекла в окнах госпиталя. Одинокие деревья на берегу, где была земля, стояли по колена в воде, отражались верхушками в светло-зеленом зеркале. Тяжелый лед оседал, расщеплялся на куски, словно вразброд искал спасения от потеплевших солнечных лучей.

Питомцев стоял у окна. Он услышал радостный крик грачей, угадав их низкий, бреющий полет. С такой же грачей радостью позвал он Тимченко, еще лежавшего в постели.

— Сережа, иди сюда, послушай!

Они стали рядом, тесно друг к другу и, затаив дыхание, вслушивались в прощальные звуки зимы. Вновь пронеслись с криком грачи.

— Весна! — произнес Тимченко странным голосом, словно у него першило в горле.

— Что, из-под крыши закапало? — взял его за руку Питомцев и повернул лицом к себе.

— Очень я люблю весну, Костя, — овладев собой, ответил Тимченко.

— Жаль, не вместе воевали, — сказал Питомцев, — я бы отучил тебя от восторгов. — Он взял его за плечи и крепко встряхнул.

— Молчи! — нервно рванулся Тимченко. Он вслушивался в еле уловимую сквозь двойные стекла музыку ранней весны. Он слышал плавное, скользящее движение льда по реке, слышал, как падает капля за каплей таялая вода с крыши, шуршащий полет грачей и, как ему казалось, доносившийся из сада слабый треск согревающихся деревьев.

Питомцев и Тимченко стояли лицом к лицу и глядели друг на друга белыми марлевыми повязками.

— Сережа, — не смог долго молчать Питомцев, — не сдавай, бери жизнь смелее!

— Знаю. Сразу не дается. — Тимченко строил жизнь по-своему, кропотливо, по деталям, точно подбирал незнакомую мелодию.

Молчали оба и вслушивались в тихо долетавшие шумы наступавшей весны. Питомцев видел ее всю сразу — короткую и ясную — сквозь нее просвечивало лето.

— Погуляем сегодня, — предложил Питомцев.

— Обязательно, — согласился Тимченко. Дежурная сестра позвала к врачу на перевязку.

Екатерина Николаевна сняла маленькими пахнущими формалином руками повязку у Питомцева. Он увидел под ресницей левого глаза золотистую черту, точно тонкий луч света проник в темную комнату сквозь щель закрытой ставни. Они сидели друг против друга. Он сказал ей о золотистой черте под ресницей спокойным, без удивления и радости голосом, так как давно ждал и верил, что золотой свет сверкнет, хотя не знал, когда и как.

Екатерина Николаевна, словно строгий следователь, не верила на слово и с похвальным упорством искала объективных доказательств.

В лупу Екатерина Николаевна рассмотрела, что кроваво-красный сгусток, покрывавший сетчатку и зрачок, заметно стал тоньше, побледнел и видимо рассасывается. Она затемнила кабинет, гасила и зажигала лампочку, будто играла в жмурки с Питомцевым, а син бойко и радостно отгадывал: «свет», «тьма». Глаз верно и безошибочно реагировал на свет. Симптомы были хорошие, обнадеживающие, но Екатерина Николаевна предупредила Питомцева, что не следует преувеличивать и что надо терпеливо ждать — ближайшие дни покажут.

— Дорогой мой. скептик! — Питомцев наощупь схватил ее руки и целовал. Его спокойная вера перешла в радостную уверенность и прорвалась наружу.

Он не шел, а бежал по длинному коридору. Сестра едва поспевала за ним, будто не она его, а он ее вел. Он спешил поделиться своей радостью, сказать Тимченко. Доброву. Как обидно, что Зоя Федоровна придет только вечером и целый день не будет знать его радости, не будет радоваться вместе с ним! Она прочла бы его уверенность чуткими пальцами на лице. Надо побриться! Скорее бы она коснулась его лица. Он теперь не сомневался, что скоро увидит ее — прекрасную, желанную Зою Федоровну.

Дойдя до двери палаты, Питомцев остановился, словно от быстрого бега у него нехватало дыхания. Нет, нельзя рассказать Тимченко, нельзя подчеркивать и напоминать ему...

Питомцев вошел в палату спокойно, как обычно, когда возвращался от врача. Бурлившую в нем радость переключил на Петруся, которого переводили в хирургическое отделение. Там извлекают осколок, может быть вернется зрение правого глаза. Вот будет здорово! Конечно, жаль разлучаться с Петрусем, все так привыкли, привязались к нему, без него, как без глаз, придется кричать, звать, как танкист Шарипов: сестра! няня!

На прогулку повел Добров. Питомцев крепко держал его под руку. Тимченко

успел изучить дорожки сада и ходил с палочкой без поводья. Сегодня он плутал, проваливался в лужи, сбивался с дорожки. Снег растаял, обнажил землю, весна разрушила по бокам дорожек снежные валики, кюветы наполнились талым снегом и водой. Все казалось наощупь новым, не знакомым — за ночь подменили сад, всю природу.

Тимченко шел впереди. Питомцев слышал, как он петлял, сбивался с дорожки.

— Сережа, — сказал Питомцев, — не упрямься, возьми майора под руку. Весну не переспоришь, у нее своя, особая наколка.

— Вот я и учусь читать, — ответил Тимченко.

Добров слушал звуки разговора, но не вникал в смысл. Он выполнял товарищеский закон взаимной поддержки и выручки разумом, а не сердцем. В час прогулки он любил быть наедине со своими мыслями — в палате не уединишься. Думы его сейчас рвались куда-то ввысь, но Питомцев опирался на руку и своей тяжестью как будто давил на них, приземлял. Он слишком земной и никогда не оторвется от земли.

Добров услышал рядом с собой обрывки разговора.

— «Ближайшие дни покажут» сказала Екатерина Николаевна, — говорил Питомцев.

— И ты все утро молчал, ничего не сказал мне?! — возмутился Тимченко.

— Видишь ли...

— Пожалел поделиться, — с раздражением прервал Тимченко. — Сладкий кусок самому проглотить приятно.

— Сережа, как тебе не стыдно!..

— Да, мне очень стыдно... За тебя!

— Слушай, Сережа! Честное слово! Совсем другое, поверь! — уверял Питомцев. — Я думал, что огорчу тебя...

— Вот как ты думаешь обо мне!

— Погодите, погодите, не ссорьтесь, — поспешил Добров примирить их. Он не хотел признаться, что не слышал их разговора, и наводящими вопросами добрался до сущности спора. — Оба правы и оба виноваты, — вынес он решение.

Тимченко порывался уйти один, он был обижен.

— Лейтенант! — не то шутя, не то строго повысил голос Добров.

Тимченко присмирел и послушно дал взять себя под руку. Добров вел обоих и заботливо регулировал движение — сегодня ему не придется поднимать ввысь и смотреть вдаль. Побудем на грешной земле. Параллельной дорожкой, увидел он, шагал Егорьев и, сутулясь, смотрел вниз, будто не замечал соседей.

Тимченко задумчиво ощупывал палочкой дорожку, запоминая весенние ямки, бугорки и рельеф обочин. Питомцев, думал он, поступил не по-дружески. А поче-

му он друг? Просто товарищ. Что такое дружба? Она не вспыхивает внезапно, она медленно созревает. Друг — это Люся. Он сам поступает не по-дружески — до сих пор не ответил на ее письмо. Будто она обязана любить его! Что подумает Люся? «Обиделся мальчик». Опять «мальчик». Вечно «мальчик». Он перебирал в памяти люсиных знакомых «старичков», с которыми встречался у нее. Особенно запомнился инженер. Но какой же он старичок. Ему лет тридцать пять, он высокого роста, хорош собой и выглядит в очках очень солидно; много ездил, видел, побывал за границей и обо всем интересно рассказывал. Он часто приглашал Люсю в кафе, в ресторан, водил по театрам. Однажды предложил и ему пойти с ними в ресторан. Тимченко гордо отказался: «Я принципиально не хожу по ресторанам». Инженер улыбнулся, точно хотел сказать: «у вас денег нет». Улыбнулась и Люся, и что-то было схожее в их улыбках. Как не хотелось тогда быть мальчиком! Люся должно быть влюблена в этого инженера, она чаще всего встречалась с ним. Теперь бы встретиться с этим инженером! Нет, не теперь. Встретиться, когда имя Тимченко будет в одном ряду с Панкратьевым и Златогоровым. Обязательно ответить на письмо Люсе. О любви, о чувствах — ни слова. Если можно не думать об этом, не вспоминать!

— Шагайте самостоятельно, — сказал Добров, открывая дверь госпиталя. — По бокам две пальмы, не заденьте.

Питомцев предчувствовал бессонную ночь. В такую ночь одолевают мрачные мысли и терзается вера в то, что днем казалось незбылемым. Он готовился к борьбе.

Неверие и сомнение подкрались поздней ночью незаметно. Слишком долго нет ответа от директора завода. Ровно пятнадцать дней! Глаз может быть не выздоровеет. «Ближайшие дни покажут», но что они покажут? Жизнь не ждет. Почему не пришла Зоя Федоровна? Что с ней — не заболела ли? Увидит ли он ее? Любит ли она его? Как хорошо с ней! Он чувствует на своем лице ее тонкие пальцы — она читает его настроение и мысли. Он краснеет. Она скользит нежно пальцами по его лицу и шепчет что-то приятное. Он успокоенно засыпает.

Полная, громоздкая, в сером драповом пальто с рыжей лисой на шее Шура молча и рассеянно вела под руку Питомцева по весенней, сыкатной улице.

Шура пришла в госпиталь за Питомцевым в двенадцатом часу. Угрюмым голосом она сообщила, что с вечера Зоя Федоровна была занята на срочном совещании в обществе слепых и приглашает к себе в

гости. Питомцев не удивился, точно знал и ждал, что так будет, быстро переоделся, оформил свой уход и отдал себя во власть Шуры.

Питомцева встретили, как близкого знакомого. Он это почувствовал по голосу Анны Семеновны, когда она, поздоровавшись, ласково сказала:

— А мы ждем вас, Константин Петрович, и думаем — где это вы так долго? — Она хотела снять с него шинель, но Зоя Федоровна предупредила — сама сняла и повесила на гвоздь за дверь. Затем взяла Питомцева под руку, повела в угол комнаты и посадила рядом с собой на мягком, скрипучем от ветхости, диванчике.

— Как себя чувствуете? Как здоровье? — заботливо справилась Анна Семеновна, одергивая при этом одной рукой чистое ситцевое платье и другой поправляя седые, гладко причесанные волосы.

Питомцев рассказал им свою радость — как увидел золотистую черту под ресницей и то, что сегодня уж безошибочно различал свет и что Екатерина Николаевна говорит: «все идет как нельзя лучше».

— Дай бог, дай бог! — молитвенно сложив руки, шептала Анна Семеновна.

Зоя Федоровна, все еще державшая Питомцева под руку, теснее прижалась к нему. Он почувствовал ее голову на своем плече.

— Пойди, мама, займись там вместе с Шурой, — сказала Зоя Федоровна. Ей хотелось остаться вдвоем с Питомцевым.

— Если б вы знали, как я рада за вас! — она дрожала, как в ознобе.

Он почувствовал ее дрожь, обнял и робко целовал.

— Какое счастье — вы будете видеть! — говорила она. Этими словами она глушила непрощенную мысль: «станет зрячим и уйдет, как и появился, неожиданно».

— Я счастлив, я увижу вас.

— А сейчас, когда вы не видите? — она испуганно высвободилась из объятий и взяла его обеими руками за лицо.

— И сейчас я счастлив, — он поцеловал ей руки. — Но я хочу большего — хочу видеть вас. Взгляну и спокойно вернусь на фронт.

— На фронт? — почти вскрикнула она.

В ее голосе он уловил не испуг, а сомнение.

— Вы думаете, с одним глазом меня не возьмут? Возьмут! Я умею добиваться своего, — успокаивал он ее, как ему казалось.

Настойчивость Питомцева нравилась Зое Федоровне и возвышала его в ее мнении. И все же слова его вызвали в ней опасения. Она любит его, и грустно, что он думает только о себе. О ней ничего не сказал, точно она для него случайная знакомая.

Было бы хорошо, думала она, если б само собой так сложились обстоятельства, чтобы он оставался здесь. Но тогда он будет чувствовать себя несчастным. Этого она не хотела — он должен быть счастливым. Чутьем она знала и верила, что Питомцев любит ее.

В этом и заключалось то счастье, о котором она мечтала, к которому стремилась.

Но что это за счастье — на один миг? Вот он встанет сейчас, уйдет и унесет с собой то, что кажется ей сейчас счастьем. Останется тоска по несбывшемуся. Она высвободилась из его объятий и встала.

— О Титове ничего еще неизвестно? — спросила она старательно равнодушным голосом.

— Нет, — он почувствовал перемену в ее настроении и тревожно спросил. — Что с вами?

— Так, ничего. Вспомнила служебные неприятности. Появились слухи на рынке, в поездках, на вокзале. За всеми не ухватишься, а надо.

— Вы правы, конечно, — успокаивал он ее, — одной вам не угнаться за ними.

— Нет, мы обязаны угнаться. Я буду ходить по рынкам, ездить по пригородным поездкам. Не успокоюсь, пока слепые не привыкнут к работе.

— Одной вам — не по силам. У вас целое общество, мобилизуйте активных людей. — Он взял ее за руки и потянул к себе, но почувствовал сопротивление. Руки ее были холодные, чужие, не те, что своим прикосновением согревали его. Он понял, что причину ее дурного настроения надо искать в чем-то другом. — Что с вами, Зоя Федоровна? — спросил он ласковым голосом.

— Я вам уже сказала, — ответила она холодно.

— Нет, не то. Вы сами научили меня в голосе слышать не только слова.

— Это хорошо. Я рада, — она действительно обрадовалась — в его голосе она услышала неподдельную тревогу. Ей захотелось успокоить его, приласкать. — Сядьте. Вот так. Мне стало холодно почему-то. Дайте мне ваши руки. — Ее маленькие руки вместились в его больших, как в просторных варежках. — Помните, когда вы первый раз взяли мои руки? Я испугалась.

— А теперь?

— У вас очень теплые руки. Но почему мне холодно? Согрейте же меня. Обнимите! — Она прислонилась лицом к его груди. — Теперь пустите, — почти вскрикнула она и встала.

— Странная вы сегодня и непонятная. А, может быть, я еще плохо читаю?

— Да, ссызание у вас еще недостаточно развито. Сейчас будем обедать.

Он услышал ее уверенные шаги, она закрыла за собой дверь на кухню, и наступила тишина. Он остался один со своими неясными догадками.

После обеда, оставшись вдвоем с Питомцевым, Зоя Федоровна, нежно скользя пальцами по его похудевшему, гладко выбритому лицу, по острому подбородку, ласково, полушопотом уговаривала:

— Не грустите, не надо.

Она чувствовала, что он любит ее, но молчание пугало. Она не знала, что он думает о ней, и со страхом вспомнила, что скоро он уедет, а она останется одна. Ждать этого, как обреченная, она не хотела — лучше самой сразу оборвать все.

— У меня кружится голова, — сказала она и порывисто встала.

— Может быть вы хотите прилечь? — спросил он заботливо, готовый оставить ее одну.

Зоя Федоровна позвала мать и Шуру. Анна Семеновна вошла первой и сразу обратила внимание на необычно раскрасневшееся лицо дочери, забеспокоилась, по сделала вид, что ничего не заметила.

— Константин Петрович уходит, — сказала Зоя Федоровна. — Проводи его, Шура.

Питомцев молча простился. Шура взяла его под руку и повела.

Зоя Федоровна посадила мать рядом с собой и заплакала.

Анна Семеновна ласково гладила дочь по коротко стриженным волосам и, как бы желая образумить ее, мягко упрекнула:

— Что ты, Зоинька? Ведь он сам сказал, что уйдет.

— Уйдет или останется, — сквозь слезы ответила Зоя Федоровна, — все равно я люблю его.

— Не дала я тебе, Зоинька, счастья. Родила слепой, не видишь того, что делаешь. — Анна Семеновна стала тихо всхлипывать.

— Не плачь, мама, я счастлива.

Они сидели, обнявшись, и обе плакали.

15

Весна выдалась капризной и непостоянной. Выглянет солнце, яркое, теплое, согреет людей и землю, высушит городские, мощенные булыжником улицы и, подразнив теплом час, другой, скроется, точно под плащом, за темносерыми, как дым из труб, тучами. Налетит из-за высокой, седой колокольни холодный ветер, взбаламутит темносерые тучи, и сыплется с них мелкий, мокрый снежок. Утром просыпается город, как в постели с несвежим бельем, запорошенный тонким слоем грязновато-белого снега. Лежит снег недолго и быстро тает под первыми утренними лучами вновь выглянувшего солнца. Лениво, нехотя наползает на солнце, как огромная тень, громоздкое, черное облако, несмело разряжается коротким весенним дождиком и дочиста обмывает булыжные улицы.

Егорьев был в дурном настроении. Екатерина Николаевна сказала, что назначит его на комиссию, но не высказала своего мнения о возможных результатах. Она уклончиво говорила о том, что полость глаза чистая, все зарубцевалось и протез будет хорошо держаться; зрение здорового глаза — 0,5, а с «коррекцией», т.е. с очками — 0,7 Единица бывает только у летчиков. Комиссия все это обсудит на основании расписания болезней, и назвала даже номер приказа. Егорьев знал, что Екатерина Николаевна действует правильно, но неизвестность, неопределенность волновала его и даже пугала. Он был в нерешительности: готовиться ли обратно на фронт или домой?

Раздражало Егорьева еще и то, что сестра Котова вернулась из поездки, явилась по начальству, а в палату не пришла и ничего не сообщила о Титове. Она поступила нехорошо — не прислала телеграммы, как об этом договорились с ней. Егорьев не любил неаккуратных людей — они раздражали его.

О том, что вернулась сестра Котова, в палате узнали от Петруся. Он видел ее, но постеснялся остановить и спросить о Титове. Все понимали, что она все же придет, расскажет обо всем, и терпеливо ждали. В это утро каждый был занят своей собственной судьбой — повод задуматься дала всем Екатерина Николаевна.

Доброву она сказала, как и Егорьеву, что назначит на комиссию. Тимченко — более определенно, чем другим — самое позднее дней через восемь или десять его вышлют. Питомцев поспорил с ней — он уже смутно различал сиауэт человека, контуры вещей и хотел, чтобы ему сняли повязку, боли он не чувствовал. Екатерина Николаевна решительно запретила снимать повязку и требовала строгого подчинения врачебному режиму.

В кармане у Питомцева лежало полученное утром письмо. Он догадывался, что оно от директора завода, но не хотел пропустить ни Доброву, ни Егорьева прочесть, а ждал, пока придут Милочка и Люлочка. Вдруг директор отказал во всем? Не хотелось, чтобы крушение планов стало известным — сочтут хвастуном и потеряют к нему уважение. Люлочка и Милочка, если предупредить их, будут скромно молчать. Питомцев не вынимал руки из кармана, мял и ощупывал шуршащий конверт, испытывая свое терпение. Привычки точно и конкретно мыслить, он тут же уличил себя в малодушии и непоследовательности. Либо все то, что он говорил о самом себе, о своей прямолинейности, о своих силах занять место в новой, большой жизни — пустые слова или, как сказал Егорьев, «нервы, а не активность», либо все действительно правда, и тогда не должно быть сомнений, каков ответ директора завода. Сознательно Питомцев никогда не гово-

рил неправды, ни другим, ни тем более самому себе. Он верил в свои силы, верил в то, что безусловно способен справиться с обязанностями главного диспетчера на одном из крупнейших заводов Союза, и в то, что организационное предложение, которое он сделал заводу — разумно и целесообразно.

— Товарищ Добров, вас не затруднит прочесть мне письмо? — попросил он непривычно робким голосом. И сам удивился незнакомому, словно чужому, голосу.

— Охотно, с большим удовольствием, — отозвался Добров. Он подошел к Питомцеву и взял письмо.

Питомцев слышал, как Добров достал с тумбочки очки, вытер платочком оба стекла, хотя ему достаточно одного, затем, шурша, вскрыл конверт, развернул письмо, написанное, видно, на плотной, хорошей бумаге, так как при развороте она звенела. Добров читал монотонным, скрипучим голосом, повышая его на тех словах, которые считал особо важными.

«Дорогой товарищ Питомцев! Получил ваше письмо и рад приветствовать вас. Я и товарищи, знающие вас, выражаем вам свое искреннее соболезнование. Мы очень сожалеем, что лишены возможности навестить вас, но надеемся в скорости увидеться здесь, у нас. Перехожу к делу.

Я решил предоставить вам должность главного диспетчера завода и так же, как и вы, не считаю это экспериментом. Верю, что вы с успехом справитесь со своими обязанностями. Ваши условия (секретаршу и комнату) принимаю. Что касается вашего организационного предложения, то мы его обсудили на совещании с начальниками цехов и единодушно одобрили. Проведение в жизнь мы откладываем до вашего приезда, предполагая, что вы свое предложение детально разработаете и непосредственно примите участие в осуществлении. Тем более это желательно, что, в случае удачи, в чем мы не сомневаемся, оно будет подхвачено другими предприятиями и, вероятно, надолго свяжется с вашим именем.

Касательно плиты полкового миномета — поручил конструкторскому бюро.

Телеграфируйте день вашего выезда, пришлю провожатого. С товарищеским приветом директор завода генерал-майор Богданов».

— Вы можете поздравить себя с хорошим началом, — сказал Добров, возвращая Питомцеву письмо.

— Ближайшие дни покажут, какое начало самое лучшее; — Питомцев имел в виду свое намерение вернуться на фронт.

Егорьев сознавал, что письмо директора завода каким-то боком касается не только Питомцева, но его самого и других в палате. В чем это касательство — сразу не мог охватить, надо подумать. В то же время понимал, что должен как-то отозваться,

сказать что-нибудь Питомцеву. Егорьев принадлежал к числу людей, которые не хотят и не могут сами понять своих ошибок и заблуждений, а если указывают на них, считают это личным оскорблением. И, хотя Питомцев еще ничего не сказал, Егорьев чувствовал себя оскорбленным.

Письмо директора завода как будто говорило, что Питомцев не только «шумит», как думает Егорьев, не только на словах активен. Еще не явился на завод, но уже «переворачивает». Так ли это? И если так, то Егорьев не прав, ожидая «готовенькой инструкции» Наробраза, вместо того, чтобы нести туда свой опыт. Но, думал Егорьев, завод — не школа, и системы заводских цехов — не системы воспитания. В ней ничего не «перевернешь». Можно, конечно, внести некоторые поправки. Но зачем делать это отсюда, издалека. В работе виднее будет. И, наконец, неизвестно еще, вернется ли он на фронт или пошлют в тыл на прежнюю работу. С Питомцевым то же самое, но он не понимает. Вдруг глаз у него выздоровеет, пошлют на фронт, а он уже поднял шум — «хочу быть главным диспетчером», и сам не занимает места, и другому не дает. Егорьев считал свою позицию правильной — зачем забегать вперед и шуметь. Решив так, подошел к Питомцеву и развязно-веселым тоном сказал:

— Итак, товарищ Питомцев, шумим?

— Да, товарищ Егорьев, шумим. Что ж нам, слепеньким, остается делать?! — в тон ответил Питомцев.

— Вот бы вас вместе свести: товарища Егорьева — начальником, а вас, товарищ Питомцев — подчиненным, — смеясь сказал Добров.

— К сожалению, нередко так бывает, — ответил Питомцев. — Мне даже не смешно. — Он поднял вверх лицо и посмотрел повязкой туда, откуда шел голос Доброва.

Егорьев ничего не ответил и молча сел на свою кровать, сердито натянув воротник халата высоко на затылок.

Петрусь, подперев рукой подбородок, сидел возле столика с фikusами и внимательно прислушивался к разговору офицеров. Лицо после операции было у него забинтовано, виднелся только здоровый левый глаз, торчал маленький, курносый нос и толстые, мясистые губы. В хирургическом отделении, куда его перевели, он лишь спал, а дни проводил в глазной палате. Здесь он привык ко всем, люди хорошие, здесь же Людочка продолжала с ним занятия. Привлекала не книга, которую читал по складам, не тетрадь, в которой робко, неуверенно выводил буквы, а беседа с Людочкой.

Рассказывала она как будто о самых простых, будничных, житейских делах, но Петрусь они казались порой более сказочными, чем сказки о кладах, которые когда-то рассказывал в Копычинцах сле-

пой старик-нищий. Представлялось невероятным, что он может, по словам Людочки, явиться на любой завод или фабрику и сказать: «хочу быть слесарем» или «хочу быть токарем». И его возьмут на работу. Или явиться в школу: «хочу учиться» — и его посадят за стол, денег не спросят, все, что надо, дадут бесплатно — учишься! Он все прикидывал, примерял к себе самому, к своему положению в госпитале, а иногда проверял у раненых красноармейцев, и они говорили ему то же, что и Людочке.

Теперь особенно правдиво звучал наказ Титова — «в поводиры не думай. На завод или работать». Хороший человек Титов! Петрусь стал спокоен за свою судьбу и с благодарностью вспоминал друга.

— Товарищ капитан, — обратился Петрусь к Питомцеву, — могу пошукать сестру Котову. Вона десь тут у госпитали.

— Хорошо, поищи, приведи ее.

Питомцев лежал. Мысль его непрерывно билась в поисках «простейшего решения». Письмо директора завода внесло успокоение, дало ответ на все вопросы, которые занимали его. Все, что он хотел, сбылось с гораздо большей легкостью, чем предполагал. Но легкость эта оттого, что не рассчитал собственных сил, слишком мало запросил у самого себя. И хотя можно, как сказал Добров, поздравить себя с хорошим началом, но успокоиться на этом — значило бы не знать самого себя, жить без дальнейшей перспективы. Но в то же время нельзя совершить прыжка из одной точки в другую, не зная и не видя ее. Где она, конечная точка? Он видел ее где-то далеко, но все же она была достижимой. Нужно лишь усилие — пусть усилие всей жизни, но это не может служить препятствием. К цели надо двигаться непрерывно, от рубежа к рубежу, закрепляясь на достигнутом, думать о средствах, знать их и соразмерять. Раньше всего — достижение победы. Затем — бросок вперед на десяток лет. Глаз его будет видеть. Надо еще применить свои силы на фронте, а потом — на завод. Директору завода написать, что положение изменилось и чтобы они организационное предложение осуществляли сами, дело не терпит. Но так, пожалуй, будет несолидно: выздоровление глаза не зависит от его воли, и возвращение на фронт гадательно. Он вспомнил, что сказал уже об этом Зое Федоровне, и пожалел. Поторопился. Впрочем, Зое Федоровне он может говорить даже самые сокровенные мысли — он любит ее, и отношения с ней не временные, не случайные, не как с товарищами по палате.

Директору завода ничего писать не надо, а выждать. Все зависит от состояния глаза. Отрадно сознавать, что преуменьшил свои силы, что еще есть какой-то неизвестный самому себе запас, но думать об этом не хотелось. На душе хорошо. Бес-

покоила лишь мысль о Зое Федоровне. Станным и непонятным казалось ее поведение. Прошное воскресенье не позвала к себе, на уроке торопилась, уклонялась от беседы и редко прикасалась к нему. Она объяснила это усталостью — целые дни она ходит по городу, ездит по пригородным местам, стремясь привлечь слепых к обучению. И хотя ее объяснение казалось убедительным, Питомцев чутьем угадывал, что есть еще какая-то другая причина и что он сам причастен к ней.

Он почувствовал знакомый запах духов и услышал звонкие голоса Милочки и Людочки. Они наперебой рассказывали, что видели сестру Котову. Петрусь смешно и неотступно бегаёт за ней и тянет ее в палату. Она сказала, что сейчас придет. И у всех вновь обострился интерес в судьбе Титова.

— Напишем письмо Люсе, — шепнул Тимченко Милочке.

— Давно пора, — обрадовалась она, точно сама была заинтересована в этом письме.

Но писать сейчас не довелось. Петрусь привел Котову и торжествующе доложил Питомцеву:

— Ось вона, сестра Котова, — точно подал ее на блюде.

Она виновато улыбалась, оправдываясь, что сразу не пришла — надо было выполнить всякие формальности в канцелярии.

— Почему вы, сестра, не шлсали телеграммы? — спросил Егорьев, словно допрашивал обвиняемую.

— Да, телеграмму послать! Расскажу все по порядку, — сестра Котова оглянулась, где бы сесть, взяла свободный стул и, разгладив сзади белый халат, аккуратно села. Она загадочно улыбнулась своим еще не высказанным мыслям, поправила козынку и стала рассказывать:

— Когда сели в поезд, Титов послал мне телеграмму: «встречай». Приехали мы на место. Только выходим из вагона — встречает нас женщина с двумя ребятишками, одного за руку ведет, другого держит на руках. Женщина молодая, такая приятная, в каракулевой жакетке, юбка шелковая, в туфлях и поверх чулок вышитые шерстяные носки. Носки хорошие, должно быть своей вязки. У нас здесь таких и не достанешь. Увидела она Титова и как будто не узнала, спрашивает: «Никита, ты?» — «Я», говорит. Она сразу: «Сними ты, пожалуйста, очки, Леньку напугаешь». Титов ничего, снял и в карман. Потом Клава говорит ему: «Ну здравствуй, Никита! С благополучным приездом!» Обняла его и поцеловала. Подала ему маленького на руки: «Это наш Ленька, познакомься». Титов поцеловал его. А она подталкивает другого: «Ты что же, Шурка, папку не узнал?» Шурка обнял Титова и кричит на весь перрон: «Автомат немецкий привез?»

Потом Клава со мной поздоровалась и повела нас. Машину легковую приготовила — на заводе, где работает, выхлопотала. Приехали мы к ним на квартиру. Одна комната, чистенькая, аккуратно все. На столе пирожки, закуска, вино, водка. Сели, выпили, закусьваем. Титов за выпивкой говорит Клаве: «пойду завтра же на завод поступать». Она его сразу осадила: «Так я тебя и пустила завтра. Отдохнешь месяц, а там видно будет — на завод или в колхоз, может, вернемся. Сама все думала, без тебя не решалась». Переночевала я и на утро уехала. А телеграммы не послала потому, что, как условились, не получилось.

— Она с ним ласкова? — спросила Милочка.

— Ласки особой не выказывает, но, видите, очень заботливая, — ответила сестра Котова.

— А подарки понравились ей? — полюбопытствовала Людочка.

— Похваляла. Титов ей про вас рассказывал много. Велела благодарить и кланяться. Да, — спохватилась сестра Котова, — самое важное я и забыла. Титов кланялся всем и просил написать. Особенно просил капитана Питомцева — очень интересуется, как с глазом.

— Я очень рад за Титова, — сказал Тимченко.

— Как видите, все обошлось благополучно, — радостным голосом подытожил Добров. — Надо признаться: много страхов мы сами создаем себе.

— И все же, потеря зрения — не вымышленный страх, — с грустью произнес Тимченко. — В воздухе, когда я уже ничего не видел, самолет горел, никакой надежды, я не испугался и бросился с парашютом. А когда почувствовал землю — страшно стало, понял, что ослеп.

Петрусь догнал в дверях уходящую сестру Котову и спросил:

— Мени Титов ничего не сказал?

— Ах, совсем забыла. Кланялся и сказал, чтобы пошли работать на завод, — Котова захлопнула за собой дверь.

Петрусь молча и грустно посмотрел, словно сестра наглухо отгородила его дверью от единственного друга. Он вышел и вскоре вернулся, неся большой медный чайник воды. И молча стал поливать фикусы.

Тимченко, взяв под руку Милочку, пошел с ней в Ленинский уголок, в это время там никого не было. Она писала под его диктовку письмо Люсе:

«Дорогой друг Люся! Мы расстались с вами, едва сойдя со школьной скамьи. Я был тогда мальчиком, а вы уже ходили на высоких каблуках и причешивались, как взрослая. Ваше письмо я получил после того, как узнал уже жизнь и крепкое, неприятное рукопожатие смерти. Один момент от другого отделяет время гораздо большее, чем отмечено в календаре. Вы

были серьезно заняты и счастливо не замечали этого времени. Для меня же на войне потеря времени была бы «смерти подобна».

Вы, надеюсь, не обидитесь, что так долго не отвечал на ваше письмо. Вы, конечно, представляете себе, что взрослый человек может быть занят неотложными делами, глубокими размышлениями, и не остается свободного часа ответить на письмо школьного друга. Это так естественно! Но, поверьте, я бесконечно благодарен вам за память обо мне. за то, что вы навещали мою мать, утешали ее и вместе, за моим школьным столом, вспоминали нашу хорошую, славную юность. Признаюсь, я порой завидовал матери. Самому хотелось бы так посидеть с вами. Это желание не покидало меня и не покинуло. Моя память ничего не утратила из моей юности.

Я провожу в госпитале последние дни — дней через восемь или десять меня выпишут. О дне отъезда я сообщу матери телеграммой, и вы, так как поддерживаете с ней связь, узнаете.

Жизнь здесь, как вы догадываетесь, однообразна, и я стараюсь ее разнообразить как могу. Занимаюсь по слепой системе Брайля и достиг уже немалых успехов — бегло пишу и читаю. Время провожу преимущественно с одним товарищем по палате и несчастью — капитаном Питомцевым. Мы с ним сдружились, человек он хороший и во многих отношениях любопытный. Он очень подходит мне, так как крепко стоит на земле и не дает мне витать в облаках. Вы, верно, помните, что этой привычкой я страдал еще в юности. Вы, спасибо, сообщили мне о Панкратьеве и Златогорове — я вижу их почему-то на седьмом небе и тянусь все туда. Питомцев уверяет, что там ничего нет и все на земле, а он заслуживает доверия. Я постепенно приземляюсь, нахожу в этом большой смысл и, ощущывая землю падочкой, заменяющей мне теперь зрение, убеждаюсь, что при сильном желании, как говорит Питомцев, на земле можно достигнуть больших высот. Он даже утверждает, что я родился в сорочке. Не знаю еще — верить ему или нет. Кстати, мое предыдущее письмо я писал вам, как теперь понимаю, находясь в облаках. Я хочу встретиться с вами на земле. Прекрасна юность, и хорошо витать в облаках! Вам, как школьному другу, я признаюсь в этом. Сердечный привет».

За день Зоя Федоровна успевала, кроме рынка, побывать на вокзале, совершить наскоро поездку в пригородном поезде и везде, не сбавляя тона, вести утомительные, но волнующие беседы со слепыми.

Поздно вечером, усталая, возвращалась домой и в изнеможении ложилась в нера-

зобранную постель. Ни есть, ни спать не хотелось, и в мягкой постели не находила отдыха. Привлечение к работе слепых, хотя и отнимало много сил, казалось легким по сравнению с той борьбой, которую вела сама с собой. Она хотела забыть Питомцева, отказаться от счастья, которое носила в себе, непрестанно чувствуя его как биение сердца. Счастье, о котором она много мечтала, оказалось навязчивым, сильнее ее желания и воли. Не она им владела, а оно изнурительно управляло ею и не поддавалось никаким убеждениям.

Любовь Питомцева, в которую Зоя Федоровна верила, напоминала ей игру со зрячими детьми, когда была еще маленькой: зрячие дети убегали, а она оставалась одна. И как тогда одиночество обижало ее и пугало, так и теперь. Все больше Зоя Федоровна приходила к мысли, что зрячий Питомцев не будет любить ее и ей не следует ждать, пока «зрячий убежит». Но, сколько раз ни решала так, Питомцев оставался в памяти, и на душе было хорошо и радостно лишь тогда, когда думала о его любви и чувствовала ее, как свою.

Ей неодолимо хотелось встретиться с ним, провести кончиками пальцев по лицу — прочесть его настроение, мысли, любовь к ней. Он любит ее и может быть страдает от того, что так долго не встречался с ней. Утешить бы его, приласкать. Последние дни, когда посещала еще уроки, обходилась с ним холодно. Помнила, что он тогда уже различал глазами, как сказал ей, смлуэт человека, контуры вещей, хотя врач еще не разрешил снять повязку. Может быть ему уже сняли повязку, и он хочет увидеть ее. Он так мечтал об этом! Надо, чтобы он увидел ее, и тогда сразу все станет ясным. Ее охватил страх — она останется одна без его любви, но это был страх отчаяния, толкающий вперед.

— Шура, — позвала Зоя Федоровна, встав с кровати, — собирайся, пойдем в госпиталь.

— Десятый час, — равнодушным голосом сказала Шура. — Я звонила, что ты не придешь.

— Там не спят до одиннадцати, — настаивала Зоя Федоровна, поправляя прическу. — Идем.

Шура послушно стала собираться.

— Зоишка, — обняла ее Анна Семеновна, — не ходи ты. И поздно, и гордость терять не надо, — она настойчиво повела дочь к кровати, усадила и стала снимать с нее платье. — Ты устала, не евши весь день. Поужинай и ложись. Век твой не сегодня кончается.

Зоя Федоровна послушно дала уложить себя и так же покорно, без аппетита, ела, когда мать подала ей в постель ужин. Она была благодарна матери, хотя придется

терпеть целые сутки — двадцать четыре часа.

Этим утром Екатерина Николаевна осмотрела глаз Питомцева и сказала, что повязка ему больше не нужна. Кроваво-красный ступок, покрывавший сетчатку и зрачок, рассосался, глаз был чистым, серо-голубым, веко окрепло и послушно поднималось. Питомцев взглянул на Екатерину Николаевну и теперь лишь заметил, что брови у нее почти срослись у переносицы, а глаза — серые. Еще три дня тому назад от радости, а может быть оттого, что глаз еще не ясно различал, он не обратил внимания на глаза доктора. И сейчас что-то мешало ему хорошо видеть и все время казалось, что пролетает неслышно перед самым глазом маленькая черная муха. Питомцев пожаловался Екатерине Николаевне.

— Со временем пройдет, — успокоила она его.

— Буду ли я видеть лучше? — тревожно спросил он.

— Глаз у вас совершенно здоровый, но вам нужны очки. Я пропишу.

— А дальше что будет? — спросил он, поняв, что она не хочет чем-то огорчить его.

— Завтра пойдете на комиссию.

— А на фронт.

— Вы офицер, военный, лучше знаете, — уклончиво ответила Екатерина Николаевна.

Она прописала очки и сказала, что протез подберут ему там же, в аптекоуправлении, куда сегодня сестра поведет его вместе с Егорьевым и Добровым. Он просил разрешения еще раз посмотреть в стеклышко, по которому прописаны очки. Сквозь стеклышко взглянул на Екатерину Николаевну и заметил, что лучше различает цвет ее глаз и сходящиеся на-нет у переносицы брови. Ничего не сказав, Питомцев вышел из кабинета.

В длинном коридоре обдало его ослепительным потоком света. Солнце рассыпалось радостно бегающими по белой стене зайчиками и отражалось многоцветными бликами в продолговатых граничных хрусталиках висевшей под потолком люстры. Свет, как вода сквозь шлюзы, лился через высокое и широкое окно. Питомцев с волнением узнал то самое окно, где впервые уединился с Зоей Федоровной. И яркий солнечный свет, и неожиданное богатство красок, сменившие тягостный черный цвет ночи, — все связалось и перепелелось с радостной мыслью о Зое Федоровне, словно она и есть то солнце, что излучает свет и которое он так страстно хотел увидеть. Щурясь, он упивался светом, точно после долгой, изнуряющей жажды припал к воде. Золотыми казались желтые квадратики на ковровой дорожке, по которой он ступал, и горели разноцветными огнями многогранные стеклянны́е дверные

ручки палат. Питомцев глазом искал стол дежурной сестры, который должен стоять вблизи окна, но не находил. Через несколько шагов стол вдруг выплыл, как из тумана, на своем месте. Радость омрачилась мелькнувшей, как тучка, мыслью — «так вот что значит «зрение 0,2»!» За окном — сад, куда Питомцев ходил на прогулку, но он увидел вдаль лишь неясные очертания деревьев, утопавших в серой мути, а в ее глубине плавала маленькая черная муха.

Как сквозь сон Зоя Федоровна услышала знакомый голос. Она вскочила с постели и побежала.

— Константин Петрович! — вскрикнула она у порога. — Вы видите?! — спросила она таким голосом, точно сама прозрела.

— Да, я вижу вас и сам пришел, — ответил он, чувствуя радость в ее голосе.

Она повела его за руки в комнату.

— Вы уже по-летнему? — сказала она, нащупав на нем мундир. — Ах, — спохватилась она, — я не одета, — и захлопнув за ним дверь, крикнула, — потерпите, я недолго.

Все произошло как-то слишком быстро, он едва успел разглядеть ее. Запомнились короткие пряди темных волос, слегка подкрашенные тонкие губы, оголенная до локтя рука, которой Зоя Федоровна запахнула растегнутый халат. Глаз ее он не видел, они были скрыты под опущенными густыми, черными, длинными ресницами. И эта женщина, которую Питомцев только что увидел впервые, понравилась ему.

Он стоял в маленькой, тесной прихожей, и прямо перед ним на стенке висел, привязанный за деревянную рукоятку, ярко блестящий, как зеркало, большой медный таз, в котором, видно, давно уже не варили варенья. В кривом медном зеркале Питомцев увидел свое лицо, смешно искаженное — приплюснутое, миниатюрное, но широкое, с пухлыми щечками, и на маленьком носике — очки, к которым еще не привык. Лицо казалось чужим — он не хотел признать его своим.

Питомцев всматривался в свое кривое отражение и, смеясь, подумал: «Придется признать». Сильным щелчком он ударил в таз по всему смешному отражению. Раздался громкий медный звон. Питомцев виновато оглянулся. На кухне кто-то гремел посудой, а за закрытой дверью в комнату было тихо — Зоя Федоровна бесшумно переодевалась. Она была той женщиной, которая понравилась ему сразу, как только он увидел ее, и в которую он должен был признаться — сразу влюбился. Может быть потому, что знал, что это Зоя Федоровна, которую он любит. Как хорошо заново влюбиться в ту, которую любишь! Но Питомцев не хотел обманывать самого себя и сознавал, что будь это другая, она все равно понравилась бы ему.

Впрочем, это и есть другая, Зою Федоровну он представлял себе иначе, не такой. Но голос — близкий, мягкий, приятный и волнующий — был голосом Зои Федоровны. И все же были как будто две женщины и два чувства к ним: одну он любит, в другую — влюбился. Питомцева терзало противоречие. По привычке он искал простейшее решение и нашел его: надо увидеть ее глаза — он знает их со слов Доброва — и противоречия не будет.

Обе женщины были за закрытой дверью и позвали его знакомым ему одним голосом:

— Константин Петрович, войдите!

В черном шелковом платье, аккуратно причесанная, с опущенными, длинными черными ресницами, Зоя Федоровна показала Питомцеву еще более привлекательной, но чуть строгой и немного чопорной. Только голос звучал мягко, ласково и душевно просто.

Они сидели на мягком диванчике близко друг к другу, лицом к лицу. Он хотел видеть ее глаза. Она чувствовала на себе пристальный, изучающий ее взгляд и скрывала глаза под черными ресницами, как под маской, боясь открыть их: он видит теперь — что скажет, что подумает? Наступил, наконец, тот момент, которого она так радостно ждала и в то же время боялась.

Питомцев увидел на стене в простой дешевой рамке большой портрет — профиль молодой красивой девушки с опущенными ресницами и строгими чертами лица — портрет Зои Федоровны. Питомцев осторожно взял ее за плечи, повернул в профиль и слыхал.

— Похожа? — спросила она, угадав, что он делает. — Это снимали меня перед войной.

— Сейчас вы строже, серьезнее и нравитесь мне гораздо больше, — сказал он задумчиво. Он хотел видеть ее глаза.

— Правда? — спросила она, широко открыв глаза.

Он увидел их — серые, большие, на выкат, но неживые, ничего не выражающие, обладающие холодом, и сквозь этот холод не проникал теплый, мягкий, волнующий голос любимой женщины. И хотя для Питомцева ничего неожиданного в этом не было — он полюбил ее такую — все же он задумался: казалось, что холод ее серых глаз замораживает его чувство. Он не хотел этого и испугался.

Она почувала, что с ним происходит что-то необычное, догадалась даже, что именно, и, тревожась, захотела проверить, убедиться. Тонкими, чуткими пальцами она стала внимательно водить по его лицу, словно читала рукопись с неразборчивым почерком.

— Снимите очки! Без них лучше, — сказала она. (Очки мешали ей.) И продолжа-

ла читать, изучая его короткие, немного жесткие волосы, зачесанные набок, большой покатый лоб, изогнутую линию бровей, шершавое пятно под глазом и гладко выбритое лицо.

— Почему вы так тревожно настроены? — беспокойно спросила она.

— От вас ничего не скроешь, — удивился он, хотя и знал уже эту ее способность.

— Если чувствуешь и хочешь прочесть — всегда прочтешь, — ответила она и застенчиво прикрыла глаза длинными ресницами.

И холод, обдавший Питомцева, вдруг пропал. И тотчас же ее тревога передалась ему. Но заговорил он о другой тревоге, волновавшей его:

— Завтра комиссия. А вдруг признают негодным на фронт?!

— А вам обязательно надо на фронт? — наивно, по-детски, спросила она, взяв его за руку, как бы удерживая.

— А как же! Я столько прошел, а до победы осталось рукой подать, — он даже слегка привстал, точно готов был сейчас, немедленно отправиться туда, где можно достать рукой до победы.

И только теперь она поняла, как это важно и необходимо для него.

— Но ведь еще неизвестно. Может быть все будет так, как вы хотите, — успокаивала она его. — А если не пошлют вас на фронт?

— Придется поехать на завод, — ответил он грустным голосом.

И то, что он в том и другом случае все же уедет, дошло вдруг до ее сознания с необыкновенной ясностью. Вновь всплыли мрачные мысли, одолевшие ее в течение всеми долгих дней, заслонили собой радость встречи, ощущение счастья. Опять останется она одна со своей любовью. Но исчезло и это чувство — его поглотило возмущение: Питомцев думает попрежнему только о себе и ничего не говорит о ней. Она подняла голову и широко открыла глаза.

Он вновь почувствовал их холод и вспомнил свое смешное отражение в кривом медном зеркале: если всмотреться — привыкнешь и признаешь... Привыкнет ли он к холоду ее серых глаз? Надо проверить, испытать себя. Уйти. Потянет ли обратно к ней с той же силой, что и раньше? И, решив так, не стал откладывать. Взял Зою Федоровну за руки и, крепко пожимая, говорил, точно убеждал не ее, а самого себя:

— Завтра я скажу вам все. Все, все, — подчеркнул он. — А сейчас мне надо бежать. — Он поцеловал ей руки. — Завтра, с вашего разрешения, приду.

Зоя Федоровна, не шелохнувшись, сидела молча, пока исчезли звуки его шагов и хлопнула за ним дверь. Что он ей скажет завтра? Она боялась подумать. Нет, пусть ничего не говорит, пусть уезжает на

фронт или на завод, ничего не сказав. Так будет лучше.

— Мама! Шура! — позвала она.

Они вошли и сразу заметили ее тревожное, беспокойное настроение.

— Что, Зоинька? — участливо спросила Анна Семеновна.

— Завтра придет капитан Питомцев. Не оставляйте меня одну с ним. — И про себя подумала: «При них он ничего не посмеет сказать».

— Что ты надумала, Зоинька? — тревожась, спросила Анна Семеновна.

— Ничего. Ничего мне не надо, — она вдруг взъерошила волосы и стала снимать с себя черное шелковое платье.

17

В эту ночь — последнюю в госпитале — спал один лишь Питомцев. Он широко раскинул большие руки за борты железной кровати и спокойно, ровно дышал. Добров и Егорьев не спали. Они норовили улесться спиной друг к другу, чтобы скрыть бессонницу, которой стеснялись, как малодушия. Тимченко, занятый своими мыслями, сосредоточенно глядел пустыми глазами куда-то вверх. Изредка он слышал доносившиеся из коридора торопливые шаги дежурной сестры или сквозь окна отдаленные свистки паровоза и вновь погружался в свои мысли и сонную ночную тишь.

Больше всего его мучил стыд и терзало сознание, что не он сам, а Питомцев, чужой человек, заботливо подумал, что не надо грустить, чтоб не огорчать мать. Нежно любящая мать как бы выпала из его памяти, хотя он любил ее, знал и помнил, что завтра она придет, чтобы обнять его, единственного сына, и повести домой. И все потому, казалось Тимченко, что тогда, ударившись о землю, подумал только о себе и почувствовал страх. За ним пришли грусть и уныние, леги повязкой на глаза и заслонили гордость, радость победы, все, что было впереди. Наступила ночь — бесконечная и непроглядная. На фронт он уходил при свете солнца. В ясной видимости, как на школьном глобусе, простиралась необъятная родина, и голос внутри, точно радостный звук пионерской трубы, звал на подвиг. Вылетая в бой — в первый, в десятый и в последний — думал не о себе — о победе. В огне горящего самолета, раненный, ослепший, когда горела последняя надежда, думал о победе. Не было ни страха, ни грусти, ни уныния.

Тимченко ощутил, как нестерпимый зуд, жажду движения, желание что-то делать, повернуть руль на себя, оторваться от кровати. Он встал и в одном белье подошел к окну. Прислонился горячим лбом к холодному стеклу и чутко вслушивался в тишину весенней ночи. Слышал за окном

размеренное течение реки, легкую игру волн, как тихо они ударялись о берег, и робкий, застенчивый треск распускающихся на деревьях почек. В тишине послышался нарастающий по булыжной мостовой топот женских ног на высоких каблуках. Торопливо шла Люся. Ее маленькая фигурка, светлая в черной ночи, быстро надвигаясь, росла, поднималась до второго этажа и лицом прислонилась к стеклу, забавно расплывив нос. Что-то, смеясь, шепнула и потонула в густой, как нефть, темноте. Была ночь без начала и конца, непроглядная, без светлых проблесков.

Тимченко на миг отодвинулся от окна и вновь прислонился горячим лбом, еще раз ощутив приятный, освежающий холод стекла. Озарилась мысль, что жизнь, к которой он так тянется, как цветок к солнцу, скрыта за темной ночью, в которой исчезла Люся и в которую он сам погрузился. Надо преодолеть ночь — сил у него хватит. Он даст матери слово, обрадует ее — может быть когда-нибудь вновь перелистывая энциклопедический словарь, найдет она не только имена Панкратьева и Златогорова, но и его — Сергея Тимченко. И, как всякий, кто впервые постиг, что в жизни есть нечто важное, чего он еще не совершил, он должен совершить, он почувствовал себя как бы вновь рожденным. Он лег в постель, накрылся одеялом и сразу уснул.

Ровно в семь часов вошла в палату физичка. Она хлопнула дверь, взметнув легкий ветерок, и подала команду:

— Товарищи, на зарядку! — она знала, что в третьей палате раненные не встают на зарядку, но аккуратно приходила каждое утро, выполняя свой долг.

Первым проснулся Тимченко. Бодрым голосом он поддержал команду сестры:

— Товарищи! И в самом деле, пора нам вставать на зарядку.

— Люблю натошак слушать мудрые речи, — пробасил Питомцев. Он быстро вскочил и весело торжовил Доброва и Егорьева: — Вставайте, последний парад!

Сестра подавала в темпе команду: «вдох-выдох», и между одним и другим упражнением хвалила:

— Очень хорошо! Очень хорошо!

Когда сестра ушла, Тимченко взял полотенце и сказал:

— Хорошо бы теперь в одних трусиках сбегать к реке.

— Вы, молодой человек, не иначе воображали себя на курорте, — рассмеялся Питомцев.

— Ничего я не воображаю. Ползу к умывальнику. — Он перекинул полотенце через плечо и, протянув руки вперед, направился к выходу.

В окно ломилось напролом ясное, погожее утро. Солнечные лучи, ударяясь о стекло, рассыпались тонкими стрелами, множеством светящихся искр и посреди-

не палаты укладывались золотой короной на блестящем, чисто вымытом крашеном полу. Перешагнув через корону, Питомцев со звоном раскрыл окно. Хлынула теплая, весенняя свежесть и, как внешний поток, затопила палату. Вдали за окном, зеленая, сверкала солнечными бликами полноводная река. По ее тихой глади, дымя, как самовар, и грохоча, как трактор, плавно и важно скользил небольшой паровой катер. На нем суетливо двигались маленькие черные фигурки. За холмистым берегом нарастал живой, жужжащий шум города и высоко в ясное серо-синее небо поднимался черно-бурый дым заводских труб.

Явился Петрусь с большим медным чайником и, весело поздоровавшись, поливал фikusы с таким видом, точно по старой памяти стыдливо читал «Отче наш».

Егорьев перед маленьким зеркалом робко и боязливо встал в глазницу протеза и, повернувшись, неуверенно сказал:

— По-моему, не очень заметно. — Глаз был, как настоящий — большой, зеленый, со зрачком, но фарфоровый.

— Правый глаз — новый, как у младенца, а спарили со стариком. — ответил Питомцев, взглянув на Егорьева.

— И у вас так, и у меня, — заметил Добров, глядя на Питомцева. — Обносится, впереди еще целая жизнь.

За шутивными, спокойными словами скрывалось все же волнение, хотя каждому казалось, что он ничем не обнаруживает его. Ждали с нетерпением, что скажет лечебная комиссия — ее слова откроют двери госпиталя и определят, в какую сторону взять направление.

Комиссия заседала в просторном, хорошо обставленном кабинете начальника госпиталя и никого долго не задержала. Егорьев вышел оттуда успокоенным. Он ждал того, что прикажут — его признали негодным в армию и направили домой. Добров был огорчен и опечален — потеряли крушение мечты: он не примет участия в последнем ударе, который нанесут гитлеризму. С решением комиссии он не был согласен и надеялся все повернуть по-своему по приезду в Москву, где у него есть связи с влиятельными товарищами.

Питомцева не удивило решение комиссии — он понимал, что с его зрением не охватишь поля боя, хотя до последней минуты волновался и все еще на что-то надеялся. Он вышел из кабинета комиссии и направил туда ожидавшего в приемной Тимченко. Сам сел, развалившись, на старый, потерявший кожаный диван и глубоко вздохнул: «отвоевался». И, будто услышав новое, незнакомое слово, повторил его полупотомом, стараясь вникнуть и понять его смысл. Перед глазами мелькнули знакомые, родные и близкие лица, боевые друзья его батальона. Они шагали, точно по воздуху, через доты с бронированными

колпаками, через леса, остриженные снарядами, по полям, вспаханным гусеницами танков и воронками снарядов, по селам и городам, полыхавшим огнем пожарищ, и вдруг он, шагавший с ними, споткнулся, провалился в глубокую, бездонную воронку. Очнувшись и выглянув из воронки, увидел, что батальон движется все вперед, а он сам идет в обратном направлении. Стало грустно и ни о чем не хотелось думать.

Нащупал в кармане халата шуршащую смятую бумажку и впервые как прозрел вспомнил о письме директора завода. Извлек из кармана, развернул, разгладил и внимательно читал. От непривычки казалось, что стекла очков не чисто протерты, часто протирали их, но строчки письма неизменно как бы напознали одна на другую, а маленькая черная муха мелькала все назойливее и садилась на буквы.

Питомцев решил заготовить объяснительную записку по своему предложению еще до приезда на завод. Напишет в поезде — езды трое суток. Скорее бы приступить к работе! Надоело безделье. Он вспомнил завод, и захотелось бродить из цеха в цех. Он ясно видел каждый в отдельности, но странно, шума работающих цехов не представлял, точно их перенесли в госпиталь, и ощутима была лишь тишина.

В приемную вошли Милочка и Людочка, а за ними — две женщины: одна почкая, с сединой, в мягкой черной шляпке, с накинутым поверх пальто белым халатом, и другая — совсем еще молодая, с пестрым шарфиком на голове и не по росту большому халате поверх пальто.

— Сережа там еще? — спросила Милочка, жестом показав на дверь комиссии.

— Да, там, — почтительно встав, ответил Питомцев. Он догадался, что это мать Тимченко.

— Приехала мать Сережи, — пояснила Милочка.

— Капитан Питомцев, — представился он, четко приставив ногу к ноге, но мягкие туфли не щелкнули, а шаркнули. — Я с вашим сыном в одной палате.

— Я знаю, мне писал о вас Сережа, — вступила в разговор Люся, подав руку Питомцеву. Она смотрела на него широко открытыми умными глазами, без стеснения разглядывая его, точно сличала попавшие ей в руки два портрета.

— Нам с вами лучше уйти, — предложил Питомцев Милочке и Людочке.

— Почему же? — удивленно спросила мать Тимченко.

— Такие встречи без свидетелей приятнее, — ответил Питомцев. — Мы еще, надеюсь, увидимся. — Он взял под руки Милочку и Людочку и увел их.

— Наталья Сергеевна, смотрите же, не говорите Сереже, что я здесь, — попросила Люся.

— Я думаю, как бы не расплакаться, а слезы уже... — Наталья Сергеевна достала из сумки платочек и вытерла глаза.

— Лучше, конечно, не плакать, — сказала Люся дрогнувшим голосом.

Екатерина Николаевна помогла Тимченко пройти в приемную. Он услышал чьи-то нерешительные шаги, а затем тихий, знакомый и родной голос:

— Сережа! — Наталья Сергеевна обняла его, целовала, ласково гладила по голове и шептала: — Красивый ты мой! — Лаская, она внимательно осматривала его похудевшее, с зажившими следами войны, лицо и, сдерживая рыдания, не могла унять слез.

Тимченко робко водил кончиками пальцев по ее лицу, точно читал неуверенно мало заметные точки слепого письма.

— Похудела ты, мама, — сказал он с сожалением. — А слезы ни к чему, живых не оплакивают.

— Сынок мой! — говорила она сквозь слезы. — Что они с тобой сделали, проклятые! Если б я могла, я бы заново родила тебя и опять послала б туда на них...

— Вот это хорошо ты говоришь, мама! — он поцеловал ее. — Ты не думай, что я несчастный. Мне писала Люся о Панкратьеве и Златогорове. И я буду рядом, — сказал он, подумав об энциклопедическом словаре. — Слово даю! Мама, — вдруг спросил он, — ты видела перед отъездом Люсю?

— Да, видела.

Люся, затаив дыхание, молча смотрела на мать и сына. По лицу ее текли слезы. Услышав его тревожный вопрос, вытерла платочком глаза, неожиданно обняла Тимченко и поцеловала его крепким, дружеским поцелуем, каким встречаются школьники после каникул.

— Люся! — радостно угадал он и был счастлив. — Лучшего сюрприза и придумать нельзя.

Наталья Сергеевна почувствовала, что сын ее счастлив, и смотрела на него и на Люсю радостными, блестящими от слез глазами.

В третьей палате Питомцев, Добров и Тимченко, прощаясь, обменялись адресами и записали адреса Милочки и Людочки. Егорьев чувствовал себя обиженным, никто не предлагал ему своего адреса и не спрашивал у него, хотя прощались с ним тепло и дружески. Он написал на клочке бумаги свой адрес.

— Пишите, — сказал он Милочке и Людочке. — Я буду очень рад. Вы прекрасно ухаживали за нами.

Он первым ушел из палаты.

Петрусь молча и растерянно прощался со всеми, застенчиво подавая руку. Больше всего хотел бы он сказать, что остается один и грустно ему расставаться.

— Петрусь, — сказал ему Питомцев, — уговор наш остается в силе. Вот тебе мой

адрес, — выздоровеешь, приезжай. Будем вместе работать — устрою тебя на своем заводе.

— Спасибо, товарищ капитан. Я останусь. И тут заводы есть, — ответил Петрусь, смущенно улыбаясь.

— Что ж ты, раздумал? — удивился Питомцев. — А говорил тогда: «как скажете, так и будет».

— Я тоди ще хворый був, — виноватым голосом ответил Петрусь. Лицо у него было еще забинтовано.

— Как хочешь. А если надумаешь — приезжай, — Питомцев обнял его и поцеловал.

Все вышли гурьбой. В коридоре Наталья Сергеевна и Люся взяли Тимченко под руки.

Третья палата опустела. Санитарка открыла окно и стала выносить постели для проветривания.

Вещей у Питомцева не было — остались на фронте. Налетке, с шинелью и походной сумкой, шел он к Зое Федоровне, охваченный весенней нежностью. Был теплый легкий день, все радовало — и весенний воздух, и серо-синее небо, и белые облака.

Встретили его привычно тепло и приветливо, но в этой теплоте он почувствовал затаенную тревогу. Он уловил ее в приятном голосе Зои Федоровны, в старушечьи-добром взгляде Анны Семеновны и даже в рукопожатии равнодушной ко всему Шуры. Усадили его на мягком диванчике, а сами — три женщины — сели против него чинно в ряд на стульях и молчали, словно ждали, что он скажет что-нибудь такое, что рассеет их тревогу. Он молча смотрел перед собой на корзину увядших хризантем, казавшуюся неотделимой от старинного, высокого, как цапля, столика на прямых, тонких ножках, как бы приклеенных к небольшому пестрому коврику. Охватило вдруг чувство робости, как при первом свидании в коридоре госпиталя у окна, и выпало из памяти все то, что собирался сказать, идя сюда.

— Вас можно поздравить? — нарушив молчание, спросила Зоя Федоровна, словно почувствовала затруднение Питомцева.

— Все зависит от вас, Зоя Федоровна, — ответил он, приободрившись сразу, точно ее вопрос помог ему побороть робость и вспомнить то, за чем пришел сюда.

— Почему же от меня? Не понимаю, — искренно удивилась она.

— Я должен уехать. Буду работать на заводе. Я вам уже говорил — без вас не пойму я жизни. Вот и решайте.

— Константин Петрович, разве можно? Так сразу, вдруг? — она не знала, что ответить ему. Все как будто сразу прояснилось, исчезло то, что волновало, над чем мучительно думала столько дней, было ощущение счастья, но все пришло слишком неожиданно.

— А ты подумай, Зоинька, — солидно подсказала Анна Семеновна, — серьезно спрашивают, серьезно и ответить надо.

— Зоя, вот и мое счастье пришло, — заговорила вдруг Шура. — Отпусти ты меня теперь.

— Шура, милая, как же я без тебя, — в испуге сказала Зоя Федоровна и не заметила, что тем самым ответила согласием Питомцеву. Она была слишком взволнована — ей ни разу не приходило в голову, что он предложит выйти замуж и придется уехать с ним. Она не представляла себе ни другой квартиры, ни другого города и сейчас, когда Шура попросила отпустить ее, почувствовала себя брошенной неизвестно где, откуда, казалось, нет выхода. Как никогда — поняла, ощутила темноту, в темноте стало страшно, и думала, что спасти ее может только Шура...

— Ты, Зоя, не одна теперь будешь, — настаивала Шура, — а я хочу пожить сама по себе. Пойду работать, не век же мне иждивенкой быть.

— Вот, Константин Петрович, сами понимаете, — с грустью сказала Зоя Федоровна, — ничего я не могу ответить вам... — Она чувствовала, что счастье уходит и удержать его она бессильна.

— Зоя Федоровна, — встал Питомцев, — я буду с вами! — он наклонился и целовал ей руки.

— Нет, я свяжу вас, — тихо ответила Зоя Федоровна, нежно глядя его по голове.

— Зоинька, родная моя! — завопила Шура, — не отказывайся от своего счастья! Это я, дурочка, сбита тебя с толку. Константин Петрович, когда надо нам ехать, скажите? Я уложу вещи.

— Погоди ты с вещами, — взяла ее за руку Анна Семеновна. — Обдумать надо все, обсудить. Дай поговорить им. — Она за руку увела Шуру из комнаты.

Зоя Федоровна робко, кончиками пальцев, читала по лицу Питомцева и, точно по складам, прочла: он думал, как и она сама, о счастье.

СТИХИ

ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ

★

Тебе шестнадцать. Знаю, буду,
Седой, в плену лукавых глаз.
Шестнадцать пуль себе добуду,
Убью себя шестнадцать раз!

Шестнадцать? Как бы мы ни жили,
Отметят скоро двадцать шесть.

Косою скосит стебли лилий
Годов губительная месть.

Как примирение печально
С утратой наших юных дней,
Но в блеске осени хрустальной
Мечты и глубже, и нежней.

★

Вашего дома сладок уют.
Здесь по рутине ливни идут.

Осень. Дождями исчерчена даль.
Крадется в душу лесная печаль.

Летние дни обманули меня.
Слушаю задумчиво лепет огня.

Вижу стоцветный узорный ковер.
Ваших ресниц чародейный шатер.

Сгорбного друга разве не жаль,
Если его истомила печаль?

О, пощадите, чтоб навсегда
Сердце не стало крупницею льда!

Вы для поэта — нездешний цветок.
О, напишите хоть несколько строк!

Может, растопится гибельный лед
И неизбывная грусть отойдет.

★

Зеленой глади не рябила
Волна у мола пред тобой,
И небо так спокойно было,
Как этот вечер голубой.

И вечер уходил устало,
И мир объят, казалось, сном,
Как будто в гавань тишь вступала
Огромным белым кораблем.

★

Густел туман, грозился шквал,
И пулемет не умолкал.

Нахмутив брови, день сгорел.
Повсюду стыли груды тел.

Взвился неожиданно столб огня,
К звездам тяжелый дым гоня.

Но я лелеял этот свет,
Немало видя в нем примет.

И я кричу во все концы:
«Я в буре был, когда певцы

Хранили в Грузии покой
Над соловьиной чепухой».

★

Уже сменяет дня блистанье
Глаз чародейных глубина.
Любимая! Вы в состоянье
Над миром властвовать одна.

Казните! А пока украшу
Обыденность, подняв бокал.
Но как прославить встречу нашу,
Чью сладость тщетно я искал?

★

Мы победим, мы победим! —
 Так мыслим мы, с зарей вставая,
 А вечерами, отдыхая,
 Дела былые песней чтим.

Существованья каждый миг
 Для нас овеян светлым маем,

★

И, как страницы новых книг,
 Мы дни грядущие листаем.

Пора всё ближе золотая,
 И мы, счастливые, стоим,
 На каждом дне печать читая:
 Непобедим! Непобедим!

★

Другого не ищу поэта!
 На старой полке книга эта
 Прельщает тайной.

Осенних далей золотистей,
 Она, как вихрь червонных листьев
 Необычайный.

Идем в поля, где воздух чистый,
 Ведь нам не выдумать артиста
 Прекрасней ветра!

Уже налитые отравой,
 О чем грустят и шепчут травы
 И ветви кедра?

Мы будем вместе, в дали канув,
 Всегда вдвоем. От ураганов
 Кто спасется?

Мы песнопевцы. Солнце — наше,
 И тосты пьем пьянящей чашей
 Во славу солнца!

★

Кудрей азийских черный вихрь в полете,
 Безумный бег коней, летящих в высь.
 Тебя спасут лишь вечные высоты, —
 В лазурном свете небе растворись!

Как в зеркалах разлив зари чудесен!
 Пьянят певца венцы ширазских роз.
 Смотри, поэт, настало время песен,
 И правый путь найди средь бурь и гроз!

★

Великолепием блистая,
 Затмив былых столетий строй,
 Пришла эпоха золотая,
 Как в шкуре тигровой герой.

И мы — у светлого преддверья,
 Ведущего в большой простор,
 Где солнца золотые перья
 Живописуют склоны гор.

Перевод с грузинского Георгия Цагарели

РАССКАЗЫ

П. БАЖОВ



КРУГОВОЙ ФОНАРЬ

Цену человеку смаху не поставишь. Мудреное это дело. Недаром пословица сложена: человека узнать — пуд соли с ним съесть.

Только этак-то узнавать, на мое разумение, больно солоно, в годах затяжно, да и опаска тут одна есть. За пудом-то соли ты беспрерывно с тем человеком либо приятство заведешь, либо врозь расползешься. Глядишь, неустойка и выйдет: либо по дружбе скинешь, либо насередке накинешь.

Мои вот старики по-другому советовали:

— Обойди человека раз десяток кругом да разузнай, какой он в работе, какой в гульбе, ловок ли по соседству, каких по хозяйству да по семейности.

Одним словом, без пропуска.

Да еще наказывали:

— Гляди в полный глаз, не смаргивай, это тебе де соринка, то пушинка, это просто так, а это и вовсе пустяк. А ты все прибирай: соринку в приметку, пушинку в память, так — за пазуху, и пустяк в карман. Помни: не велика зверинка комар, а и от него оберуч не отмаешься.

И про то старики забывать не велили, чтобы со всякой стороны человека на полный вершок мерять. А то ведь бывает — иной, как говорится, и поет и пляшет, а не послушать и не поглядеть. И наоборот случается. По всем статьям человек в негунаях, либо вовсе в дураках ходит, а с одного боку светит не хуже рудничной блендочки. А это тоже навеска не малая. Против лампочки, коя кверху коптит, да во все стороны подмигивает, такая бленда куда больше вытянет. Ну, а та же блендочка — мизюкалка-мизюкалкой против кругового фонаря.

Про нынешний рудничный свет моим старикам, понятно, и во снах не виделось, а все-таки у них на больших подземных работах, у главного подъемного ствола, ставился особый фонарь, круго-

вым назывался. Он, конечно, был много больше рудничной блендочки, светильня у него покрупнее и какие-то еще угольчатые стеклышки круговую лесенкой ставились. Главная сила будто в этих стеклышках да лесенке и была. Чуть лесенка прогиб даст, либо какое стеклышко побьется, сразу на шахтном дворе потемки станут. А ежели все в исправности, фонарь гонит свет ровно, сильно и большой круг захватывает.

Силу фонаря, видишь, разглядеть просто оказалось, а вот по какой причине люди по-разному светятся, это еще понимать и понимать надо. Стеклышек, поди-ка, никому не поставлено. У всякого две руки, две ноги и в голове начинка не из гнилой соломы, а разница выходит вовсе большая. Один от всех печеней пыхтит, старается, а никому от его ни свету, ни радости. Другой, опять, кодному какому делу сроден, а востальном — бревно-бревном. Ну есть и такие, что вроде играючи живут, и во всем им удача. Лошадь купит — она и воз везет и в бегу от рысак не отстает. Женится — ребята пойдут мост-мостом, как груздочки после дождя, оди другого ядреней, и жена не чахнет. Всякая работа у такого удачника спорится, и на праздничном лугу ни от песенников, ни от плясунов он не отстанет. Вот и пойми эту штуку.

Старики про такой приметный случай сказывали:

Не помню, в котором заводе был подмастерье при прокатном стане, прозванием Гриньша-Рыбка. Парень не то, чтобы сильно могутный. Ну все-таки здоровый и на работу ловкий. Известно, при прокатке медвежьим обычаем топтаться не годится, пошевеливаться надо. Гриньша и ходил веселенько, смотреть любю. Другие прокатчики тоже, конечно, народ из складных статей. Были, которые много рослее да могутнее Гриньши, а выстоять против него не могли. Податнее всех у него работа шла, и браку никакого.

При таком положении, понятное дело, без завистников не обойдешься, а тут еще в той же смене стоял Михалко Гвоздь. Мужик в тех же годах, и по работе его ничем не похvaeшь. Тоже в самолучших прокатчиках считался. Лицом чистяк, ус богатый, глаз горячий. Прямо сказать, из таких, на кого девочки да молодые бабенки поглядеть любят.

Против этого Михалко Гвоздя у Гриньши одна неустойка случилась по житейскому делу. Они, видишь, как еще неженатыми ходили, к одной девушке прилипать стали. Не то, чтобы какая богатая невеста была, а из того девьего слою, про который говорится: не разберешь, чем взяла — веселым обьчаем, густой бровью али крутым плечом.

Михалко Гвоздь сперва будто опередил Гриньшу. Присватался к этой девушке. Рукобитье сделали. А Гриньша все-таки не отстает, свое напештывает.

— Неуж ты, Аганюшка, своей судьбы не чуешь?

Аганюшка послушала-послушала, да и учуяла про свою судьбу: убогом за Гриньшу выскочила. Родня, конечно, шум подняла. Грозили всяко.

— Мы этого въюна на поганой сковороде изжарим да собакам выбросим.

Гриньша, знай, посмеивается.

— Может, — говорит, — въюна изжарить просто, да поймать нелегко.

Ну потом аганина родня утихомирилась. Видят — хорошо молодые живут, себе на радость, соседям на погляденье. По работе друг от дружки не отстают и от веселья не чураются. На том и помирились. Близко к первым родинам свадьбу справили. Отгуляли честь-честью, сколько достатку хватило.

Обошлось этак-то дело, только Михалко Гвоздь своей обиды не забыл. Он, конечно, тоже женился. Хорошую девушку взял, а против Гриньши все-таки злобу имел. По работе подвести не один раз посылкался, только Гриньша тоже поглядывал и слету всякий раз подвох узнавал.

С первых годов, случалось, Михалко и драку затевал, на кулак свой надеялся. Мужик, и верно, могутный. Того и жжирасшибет, а на деле окажется — Рыбка сверху сидит, да кулаками гвозди заколачивает. На другой день в прокатном сойдутся, Гриньша ничем-ничего, веселехонек, а у Михалко кругом синяки да шишки понасажены.

С годами это, понятно, прошло. Оба самыми лучшими мастерами стали, а разница между ними большая. У Михайлы и ус завял и глаз помутнел, а Гриньша живчиком ходит, как в молодые годы, и жена у него ребенка принесет, ровно себе цвету прибавит.

Вот Михайло тогда и придумал:

— Не спроста это. Беспременно, тут какая-то тайность есть. Жив не буду, а распутаю это дело до ниточки.

Ну, мужик въедливый. Недаром его Гвоздем прозвали. Не только сам подглядывать да разузнавать стал, других подбил. Многие любопытствовать стали. Время тогда, известно, темное было, пустякам разным верили. Сперва пошли разговоры о тайных родинках на теле, да счастливой рубашке. Ну бабка, которая Гриньшу принимала, этому вранью ходу не дала.

— Никаких, — говорит, — тайных родинок не было и счастливой рубашки не бывало.

Потом сплели, будто Гриньша каждое лето на Иванову ночь в лес ходит за тайной травкой. Не по один год в эту ночь подкарауливали, не пойдет ли куда Григорий, а он себе похрапывает на холодке под сарайчиком.

Тут еще что-то придумали. Ну видят — пустое дело. Живет мужик в открытую, от людей не таится, худого другим не делает, а кому и помогает по своей силе. Тогда и решили: спросим у самого. Выбрали часок, собрались где-то да и говорят:

— Скажи, Григорий Зотеич, по какой причине у тебя во всех делах удача? По работе спорина, по семейности — порядок и по домашности гладенько ведется. Нет ли в этом деле тайности?

А Ефимша Задор еще полюбопытствовал:

— Дело, конечно, прошлое, а все-таки не один раз дирался с Михайлой. Всем нам ведомо, что он крепче тебя и в развороте не уступит, а почему ты всегда долбил Гвоздя, а ему ни разу не довелося?

Гриньша и объяснил по совести.

— Никакой, — говорит, — тайности нет, а только я приметливый, и ни одно дело ниже другого не считаю. По-моему, хоть железо катать, хоть петлю метать, хоть траву косить, али бревна возить — все вылучка требуется, и не как-нибудь, а по-настоящему. Потому ежели какое дело не знаю — за то не возьмусь, а придется — так сперва поищу у кого перенять, чтобы по-хорошему вышло. Простое, скажем, дело литовку отбить либо пилу наточить. Всяк будто умеет, а на поверку выходит — один из сотни. Вот я и гляжу, у кого литовка самоходом идет и морхов не оставляет, у кого пила сама режет, только наднеси. У тех, значит, и учусь. — и ладно выходит. Ну кругом себя смотреть тоже не забываю. Без этого нельзя. Ежели, к примеру, ты семью завел, так об этом днем и ночью забывать нельзя. Последнее дело будет, коли себя в исправности содержишь, а ребят балуками да неслухами вырастишь. Большого догляду да забот это дело требует.

Рассказал этак-то и говорит:

— В этом и вся моя удача, что всякое дело за пустяк не считаю, да кругом себя гляжу. И касательно драчишек с Михайлом это же самое. К дракам, конечно, у меня охоты не было. Ну знал — без этого на веку не обойдешься, вот и примечал с малолетства, в которую косточку больше стукнуть. Этим Михайлу и брал. Только и дела.

Все-таки многие не поверили, при своем остались — счастливым, дескать, уродился. А ведь Гриньша правду говорил.

★

ЗОЛОТЫЕ ДАЙКИ

Кто-то сказывал, что дайки — чужестранное слово. Столбик будто по-нашему обозначает. Может, оно так и скрывается, только наши березовские старики смехом смеялись, как такое слышали.

— Какое же, — говорят, — чужестранное, коли чисто по-нашему говорится и у здешних стариков раньше в словинку входило. Вроде заклятья берегли. Не всякому из своих сказывали. Как дойдут до настоящей породы, так кто-нибудь в этом сведущий и бормочет ту словинку.

Пустяк, конечно, пустословье одно, вроде ребячьей приговорки, да к тому речь, что дайка тут родилась, в нашем заводе, и не след ее чужим людям отдавать. Себе пригодится. Может, в ней, в этой самой дайке вся маята первых здешних добытчиков завязана. Поворошить такое — старикам утеха, молодым — наученье. Пусть не думают, что деды-прадеды золотые пенки снимали. Тоже, небось, и рук не жалели и часов не считали, а сколько муки приняли, то по нынешнему времени и поймешь не сразу. Известно, в чем понавыкнешь, то всегда легко да просто кажется, а ведь сперва не так было. На деле с нашим березовским золотом вовсе мудрено вышло. Как нарочно придумано, чтоб до концов не добраться.

Ведь с чего началось? Искал Ерофей Марков дурмашки да строганцы и нашел в той ямке золотые комышки. Вроде и просто, а как подумаешь — большая это редкость, чтоб в здешнем жилинном золоте комышек отдельно найти. Золото у нас, поди-ко, полосовое: полосами в земле лежит и крепко в тех полосах заковано. Маленько посвободнее только в жилах, которые те полосы пересекают. Наши старики, кои потом научились эти поперечные жилки выковыривать, приметку оставили:

— В которой жилке турмалин блестит, либо зеленая глина роговицей отливает, там золота не жди. А вот где серой припахивает, либо игольчатник-руда пойдут, айконитом-то которую зовут, там, может статься, комышек готовенького золота и найдешь.

По теперешним временам это виднее стало. Недавно вон одного вальцовщика в книгу почета записывали. Так и саяк поворачивали, а на одно выходит. По работе лучше всех, и ребята у него отличники, свою учебу не забывает и даже по огороду на первое место среди своих вышел. Одним словом — круговой фонарь. Только как он в партии состоит, так по-другому старики похваляли:

— С которой стороны ни поверни, все коммунист.

Вот на такую-то редкость Ерофей и наскочил, видно, да еще в ту пору, когда по всей нашей земле золота добывать не умели. И немцы, которых в городе за сведущих кормили, тоже в этом деле кукарекать не умели. Видимость только одну дедали, будто что разумеют.

Ну вот... Нашел Ерофей золото, принес по начальству, честно указал место, а стали искать — даже званья не оказалось. Как быть? Пришлось нашему первому золотому добытчику голову на плахе держать да под палачевским топором клясться-божиться:

— Места не утаил, а куда золото подевалось, того не ведаю.

А ему одно обещают:

— Коли в срок не укажешь место, голову отрубим.

При таком-то положении недолго умом повихнуться. Неведомо кого просить-молить станешь, а то и грозиться примешься. Это уж кому как подходит.

Не один Ерофей из-за золота сна-покою лишился. У других, кто про находку узнал, тоже руки зачесались: мне бы. Разговоры всякие про золото пошли, которое, может, и от тогдашних шарташских стариков в те разговоры налипло.

Ерофей-то Марков из Шарташа происходил. Коренной тамошний житель. А в Шарташе в ту пору самое что ни есть кержацкое гнездо было свито. Когда еще нашего города и в помине не было, туда, на глухое место у озера, и набежало скитников-начетчиков с разных концов. Иные, сказывают, из Выгорецких каких-то пустынь, другие — с Керженца-реки. Этих больше было, потому шарташских и прозвали кержаками. Скитов-то, мужских и женских, порядком тут поставлено было. И все эти скитники-начетчики большую силу в шароде имели.

Конечно, и скитники не одним дыхом да молитвой живут. Тоже хлебушко едят и от медку либо еще чего не отказываются. Вот они и давали народу ослабу.

Вы, дескать, в миру живете, вы и трудитесь, как всякому полагается, а мы мо-

литься станем. Чем лучше нас кормить будете, тем молитва доходчивее.

Только и про то скитники наказывали, чтоб с бритоусами да табашниками народ не якшался.

— Они де вас живо под печать антихристову подведут. Не смигнешь — припекают.

Ясное дело, боялись, как бы народ не перестал их слушаться. Вот страху и нагоняли. А народ, хоть в потемках ходил, разумом не обижен. Скитников-начетчиков слушал, а про себя то соображал, что лучше казалось. Как стали в этих местах город строить, шарташские и запохаживали поглядеть, что за люди появились и какую думку они имеют. Скитники обеспокоились, зашипели: «Кто с городскими свяжется, тому царства божьего не видать».

Только ведь не зря говорится: «Который огонь не видишь, о том не думаешь, а к ближнему костерку всякого тянет». А тут, считай, вовсе большой по тому времени костер развели, когда наш-то город ставили. Ну как же. Реку перехватить, крепость поставить, завод на всякое железное дело, чтоб и якоря ковать, и ядра лить, и посуду делать. Каменное дело тут же. Шарташским и было около чего походить, чему подивиться. Скитники вовсе исполошились, проклятьем грозить стали. Иные, понятно, испугались, а которые крепко залюбопытствовали, тех не проняло. В числе этих-то и оказался Ерофей Марков. Его, видно, каменная сила захватила. Она, известно, кого краешком заденет, и того не выпустит. Нашел один камешек, стал другой искать, а там третий где-то близко остался. Его беспрерывно найти надо. Так и пошло. Скитникам это нелюбо, а проклинать все же боялся: если этого не проймешь, с другими сладу не будет. Ерофей по-своему думает: притерпелись старики. Сторожиться перестал, а они за ним неотступно доглядывают. Как нашел Ерофей золото, скитники живо про это разнохали и шум подняли.

— Гляди-ко, что Ерофейко наделал! Золото змея из земли выпустил. Погибель скитам нашим. Набегут бритоусы и всю нашу пустыню порушат. Убить Ерофейку мало, а место зарыть, чтоб золотой змей силу не взял.

Ну, нашлись такие, кто этих скитников послушался. Ночью вывели из яме возов с десятком чего попало и завалили то место. Скитники одно наговаривают: «Вези больше, чтоб золотому змею ходу не было».

Немцам, коим оглядеть ерофееву яму доверили, эта скитническая дурость к рукам прилась. Немцы, может, и догадались о подсыпке, да им-то что! Поковырялись для видимости, нашли вовсе другое, чему там не место, да и потянули Ерофея к ответу, как за обман. А скитники шар-

ташские радуются: отвели беду, сохранили пустыню.

Только и в Шарташе не все так думали. Нашлись такие, кто по-другому понимал. Начали перешептываться.

— Ерофей-то, верно, золото нашел. Порыться был кругом того места. Может, и нам покажется. С золотом и пустыню можно по-боку. Пусть, кому надо, за нее держится, а нам и без нее не тоскливо.

Скитники-начетчики прослышали, грозились:

— Проклянем, кто посмеет ерофейкин погибельный путь торить.

Только когда это бывало, чтоб молодые во всем стариков слушали! Недаром слово молвлено: «старому с молодым и во сне не по пути — разное грезится». Сколь старики ни угрожали, у молодых ерофеева находка из ума не выходит. Которые посмелее, те стали около ерофеевой ямки всякие дела себе выискивать. Кто, скажем, корягу для кормовой колоды на том самом месте нашел. Кто, опять, виловине выбирает, а оно близко той же ямины выросло. Скитники видят — не пособиться без самой большой остротки, собрали всех шарташских поголовно и давай дудеть:

— Кто станет около ерофейкиной ямы топтаться, того из Шарташа выгоним и семью не пощадим.

Про то скитники, видно, забыли, что пугать все-таки с оглядкой надо. Кто испугается, а кто и нет. Бывает и так, что от лишней угрозы люди такое делают, о чем и не думали. Тут это самое и вышло.

В Шарташе в ту пору жила одна семья — семеро братьев. Стариков в той семье не осталось, но братья дружно держались, одной семьей жили, а все женатые. Посчитай, сколь народу. Братья это понимали и крепко не любили, чтоб им кто грозил. Насчет ерофеевой ямы до того у братьев и в помине не было, а как стали скитники грозиться, их ровно муха укусила. Стали поговаривать, что, дескать, за такое, почему старики не в свое дело лезут, какое у них на то право. Скитники узнали, понесли на братьев: они в вере не тверды. Так, сказывают, и было. Братья без своих стариков жили, досматривать за чином обрядом некому было, они и обходились с божественным простенько. Досуг — помолются, недосуг — и без того обойдется. У стариков-начетчиков эти семеро братьев давно на приметке значились, да подступить к ним побаивались, а тут сгоряча и налетели. Братья, конечно, в обиде, в открытую заговорили:

— Не мешало бы разведать, нет ли у стариков корысти в ерофеевой яме, и про то узнать надо, почему у мужика незадача вышла. Не пьяный, поди, был, место хорошо запомнил, а стали копать — не то оказалось. Не подстроил ли кто в этом деле штуку какую?

Сами, понятно, знали, кто и сколько воров вывез, чтоб следок к золоту запорошить. Скитники-начетчики чуют, к чему клонится, вой подняли:

— Веру потоптали! Городским табашникам продались! Выгнать всех из Шарташа! Чиб духу не осталось!

Братья на дыбы:

— Попробуй! Скиты размечем!

За скитников, понятно, вступились, и за братьев тоже. Шарташ и закачался — на две стороны пошел. В задор люди вошли. Всяк свое доказать хочет. От скитников больше всех старался Михей Кончина. Мужик справный. Слово-то у него по праздникам услышишь, а тут горячится, кричит, кулаками грозит. И в семьях срава пошла. У одного из семерых-то братьев жена в скиты сбежала: испугалась стариковских слов.

С этой свары по-настоящему поиски золота и начались. Перфил, у которого жена-то в скиты от греха ударилась, так и объявил:

— Жив не буду, а золото найду. Тут оно где-нибудь.

За этим Перфилом другие потянулись, принялись землю ворошить. Все-таки от той ямы, которую Ерофей раскопал, далеко не уходят. Разговоров про золото еще больше стало. Всяк по-своему судит, как его искать, да от какой причины золото в земле заводится. По темноте плетут несусветное, и от скитников-начетчиков нитка тянется про скованного в земле золотого змея. Одним словом, неразбериха. До того в этих разговорах запутались, что иные от поиска отставать стали. Другие, наоборот, еще усерднее за рытье взялись. Подалее от ерофеевой ямы отходить стали. Глядишь, то один, то другой и наскочит на породу с золотой искрой. Блестит вьаве, а не возьмешь. Начальство около этих новых ям толчею на речке поставило. Стали ту породу пестами долбить, потом через огонь из нее золото добывать. Толку немного получалось, но всем видно стало — золото в той породе есть и добыть его можно.

Народу все-таки охота добраться до тех золотых комышков, которые Ерофей нашел. Ну никак не выходило. Потом уж это открылось через одну женщину да вовсе зряшного мужичонка, коего жена заставила яму в новом месте рыть.

Так вышло. У Михея Кончины в семье была его сестра. Глафирой звали. Девушка, сказывают, пригожая и работящая. Женихов у нее хоть отбавляй. Только Михей с этим не торопился: выбирал, видно. Сама Глафира тоже никого не приглядела. Тут вот и подвернулся Вавило Звонец. Мужичонко, прямо сказать, незавидный. Из таких, кои больше всего любят по завалянкам посидеть да побалакать. Руки-то ему только на то и надобны, чтоб языку пособлять: где развести, где помахать, где

пальцами прищелкнуть. Зато языком Вавило, как говорится, города брал. Кого хочешь, заставит уши развесить.

Этот Вавило Звонец и подсыпался ко Глафире. На ту пору у него беда приключилась: жена умерла. Ребят хоть не осталось, а все вдовцу не сладко жить. Вавило, значит, и давай напевать про свою участь горькую. Разжалобил девушку до того, что она самоходом за него замуж вышла. Скитники-начетчики побаивались, понятно, Михея, только и Звонец им не чужой. Подумали-подумали, окружили. Михей в обиде на скитников, а сестре заказал передать: больше ко мне на глаза не кажись.

У Глафиры со Звонцем доли не вышло. Известно, сколь жена ни колотись, а если у мужа один язык в работе, так в квашне не густо. Глафира у брата в достатке жила, впроголодь-то ей живо наскучило. Она и говорит мужу:

— Ну, Вавило, живи, как тебе мило, а я тебе больше не жена, потому не работнигы, а вроде худого ботала.

Вавило давай ее улещать, только она не поддается.

— Слыхала, — говорит, — сладких слов не мало, да дела не видала.

— Вот погоди, — отвечает, — дай журавлей дожидаться. Увидишь, какой я человек.

— На что, — спрашивает, — тебе журавли сдались? На хвостах, что ли, тебе богатство принесут?

Смеется, видишь, а сама залюбопытствовала маленько. Звонцу того и надо. Который человек залюбопытствовал, того Звонец непременно оболгает, потому, из таких был — сам себе верил. Тут и принялся расписывать.

— Многие, — говорит, — золото ищут, а ни у кого настоящего понятия нет. В старых списках про это во всей тонкости показано. Владеет золотом престрашный змей, а зовут его Дайко. Кто у этого Дайка золотую шапку с головы собьет, тот и будет золоту хозяин.

Глафира сперва не верит, посмеивается.

— Журавли-то с которого боку тут пришились?

— Журавель, — отвечает, — в том деле большую силу имеет. В ту самую ночь, как журавли прилетят, змей Дайко ослабу в своей силе дает. Тогда и глуши его тайным словом.

Глафира и давай спрашивать, что за тайное слово, коим змея глушат, и как до того змея добраться. У Звонца, конечно, на все ответ готов.

— Надо, — объясняет, — в потаённом месте яму вырыть поглубже да в ней и дожидаться, когда журавли закурлыкают. Змей Дайко, как услышит журавлей, поползет из земли их послушать. Весна, видишь, он и разнежится тоже. Приденется для такого случая. На голове большущий комок золота, вроде шапки али, скажем,

венца, а по тулову опояски золотые, с камнями. Под землей Дайко ходит, как рыба в воде, только через яму ему все же поближе. Он тут и высунет голову. Человек, который в яме сидит, должен тут сказать самым тихим голосом:

— Подайко, Дайко, свой золотой венец да опояски!

От того тихого слова змей Дайко очумел, голову маленько сбочит, будто слушает да разобрать не может. Тут и хватай у него с головы золотой комок. Коли успеешь, ничего худого тебе змей не сделает, потому, с шапкой силу потеряет и станет камнем камнем, хоть кайлой долби. А коли оплошаешь да змей на тебя поглядит, сам камнем станешь.

Глафира посомневалась:

— Такое дело и удалому по грудки, а тебе выше головы.

Ну, Звонец недаром так назывался. Оболтал-таки жену, поверила, а про себя думает: заставаю испытать на деле. Вот и начала донимать Вавилу, чтоб поскорее яму в потаённом месте сготовил. Тот стал отговорки всякие придумывать: «время не подошло, земля не оттаяла». Только Глафира не отступает, за ворот взяла:

— Пойдем выбирать место!

Вавило еще отговорку нашёл: днем нельзя — скитники увидят, а ночами какая работа в эту пору, коли волков сила.

Глафира свое твердит:

— Огонь на что? Разведешь — не подступят волки.

Добилась-таки. Пришлось Звонцу собираться. Кайлы, конечно, у него не было заведено, так он топор-тупицу взял. Ну, ломок да лопату тоже. Собирается так, а про себя думает: «Отсижусь у соседей, либо у скитников, утречком пораньше прибегу». Жена свое в голове переводит: «Что-то мой муженек волков боится, а об огне у него и думушки нет. Сфальшивит, видно, хочет».

Подумала так и говорит:

— Сама с тобой пойду.

Звонец давай отговаривать.

— Не пригоже такое женскому полу. Невывалое дело.

Глафира уперлась.

— Мало ли чего не бывало, да стало.

Так и не мог Звонец отбиться, пошла с ним Глафира. Полный горшок углей из загнетки нагрелба.

Звонец злится, конечно, да хитрости придумывает:

— Коли на то пошло, заведу ее подальше. Ноги по снегу-то наломает, другой раз не увяжется.

И скитников тоже побаивается, как бы они не узнали, что он тоже золото искать придумал. Вот, значит, идут да идут. Глафира женщина в силе — что ей? А Звонец притомился, язык высунул. Подбодрило, как волков услышал. Ноги сами наутёк пошли, да жена ухватила.

— Что ты, — говорит, — дурак такой, а еще мужиком считаешься! Неуж не слышал, коли кругом волки завывали, одно спасенье — разводи огонь.

Так и сделали. Остановились на полянке и скоренько развели костер. У Звонца зуб на зуб не попадает, а Глафира распоряжается:

— Выбирай место.

— Это, — отвечает, — самое подходящее.

— Коли так, начинай бить яму.

Звонцу что делать? Принялся, а земля мерзлая и руки непривычные. Видит Глафира, толку не выходит — занялась сама. Сразу смекнула, как костром работе помогать. Пошло дело. Глафира работает, а Вавило на волков оглядывается. К утру волчишки затихли, поразбежались, видно, и Звонец с Глафирой домой пошли.

С неделю ли больше Глафира этак-то своего мужа в лес таскала. Напринимался он страху. Ну все-таки ямку вырыл. Мало-мальскую, конечно. На том месте она пришлась, где вот старый березовский рудник теперь показывают.

Как к весне подвигаться стало, Глафира и потянула мужа в лес: не пропустить бы прилет журавлей. Только Звонец на этот раз отбился. Насказал, что по всяким книгам женщине не указано при таком случае быть: змей ее сразу учует. Выгородил, чтоб одному итти, а у самого одно на уме: «Ни за что на такую страсть не пойду». Глафира, конечно, подозрение имела, каждый вечер провожала мужа из дому, да по потёмочкам он увернется и куда-нибудь к своим приятелям утянется. А как журавли прилетели, объявил жене:

— Не оказалась мне змей Дайко. Учужа, видно, что женщина в той яме бывала, Глафира тут не вытерпела. Плюнула Звонцу в бороденку и говорит:

— Эх, ты, сокол ясный! Нашёл отговорку — подолом прикрыться! Дура была, что такого трухляка слушала. Других журавлей поджидать не стану. Живи, как знаешь, а я ухожу.

Звонец, понятно, опять язычком заработал, да Глафира и слушать не стала: пошла. А куда ей? К брату и думать нечего, потому — Кончина: сказал слово — не отступится. Да Глафира и сама той же породы: оплошку сделала — плакаться не станет. Скитницы, на ее житье гляючи, давненько к себе ее сманивали, потому — работница без укору. Да, видишь, дело молодое, грехов не накоплено, каяться не тянет. Глафира и придумала в город податься.

В городе в ту пору в женщинах большая нехватка была. Увидели такую молодую да пригожую, валом за ней пошли. Один болзнует, как ты одна в таком месте жить будешь, другой это же говорит, и всяк к себе тянет. Глафира женщина строгая, объявила:

— Не пойду без закону.

За этим тоже дело не стало — хоть рядами женихов составляй. Глафира и выбрала, какой ей показался поспокойнее, да и обвенчалась с ним по-церковному. Кер-жацкое-то замужество тогда вовсе в счет не брали.

Когда до Шарташа слухи дошли, скитники-начетчики на две недели вой подняли. Нарочно в город своих людей послали передать Глафире:

— Проклята ты в жите и в потомстве твоём до седьмого колена. Не будет тебе части в небесной радости и счастья на земле.

Одним словом, не поскупились. Случай, конечно, небывалый, чтоб керженка из Шарташа по-церковному обвенчалась. Старики и нагоняли страху, чтоб другие побаивались.

Небесного Глафира не больно испугалась, а земная доля у нее опять не задавалась. Шарташские, видишь, в ту пору на бродяжьем положении значились и ни за барина, ни за казной не числились, а как вышла замуж, так и попала в крепостные. Как говорится, из глухого рёму да в бо-лотное окошко!

Муж Глафире не плохой будто пришелся. Из маленьких начальников, вроде нарядчика по работам. Ну, из боязливых. Больше всего за то беспокоился, как бы барина не прогневить. С год ли два ладно жилось. Об одном Глафира скулала: ребенка не было. А к счастью оно оказалось. Барин, видишь, заметил пригожую молодицу и велел наряжать ее по вечерам в барский дом полы помыть да постель сготовить. Глафира знала эту барскую повадку, сказала мужу, а тот глаза в пол да и говорит:

— Что ж такое? Наше дело подневольное.

Глафира остолбенела от такого слова. Ну смолчала, а про себя думает: ни за что не пойду. Раз не пошла, другой не пошла, на третий барские слуги сами за ней пришли. Мужа, конечно, в ту пору дома не случилось. Глафира видит — прямо не выйдет, на кривой объезжать надо. Прикинулась веселой, будто обрадовалась.

— Давно, — говорит, — завидки берут на тех девок да молодая, коих в барский дом наряжают. Работа легонькая, а за большой урок им засчитывают. Сколько раз собиралась, да муж не пускал, и еще на меня сваливает. Хорошо, что сами пришли. Рада-радехонька хоть одним глазком поглядеть, как барин живет, на какой постелюшке он спит-почивает.

Обошла этак посланных словами-то и говорит:

— Придется дозвольте. Негоже в барский двор растрёпой показаться.

Посланные видят — не супротивничает баба, доверились ей. Глафира выбрала из сундучка сарафан понаряднее, буски да еще что, прихватила ширинку и возврати-

лась в сенцы, будто умыться да переодеться. Сама первым делом подперла чем пришлось дверь, ухватила из угла лопатку и шмыгнула огородами.

Время летнее. К вечеру пошло, а еще долго светло будет. Глафира и думает: как быть. Посланные не больно долго задержатся, из окошка вылезут и поиск учинят. Надо хоть до лесу добежать, а там не поймут. Вот и поторапливается, а дорогу только в одну сторону знает — к Шарташу.

Город в ту пору невелик был. Избушка по-за крепости приходилась. Глафира без хлопот и выбралась. Отдышалась, потише по лесу пошла, а сама все думает: куда? В таких-то мыслях добралась до Шарташа-озера. По вечернему времени вода тихая да ласковая. Рыба в озере, видно, сытехонька, не мечется за мошкой, а только плавится, хребтовое перо кажет. Круги по воде от этого идут, а плёску не слышно.

Отошла Глафира от тропочки, села на береговом камне, а в голове одно: сколько ни прикидывай — нет ходу, как в воду. Женщина молодая, в полной силе, пути не исхожены, смерть не манит, а что сделаешь? Хлеба с собой ни крошки, в одной руке лопатка, в другой узелок с праздничным нарядом. Вспомнила про узелок, поглядеть захотелось. Известно, женщина... В последний, может, разочек. Развернула. Полюбовалась там всякими проймами-прошвами да позументом, буски на себя нацепила, погляделась в воду и говорит шуткой:

— Нарядиться вот да пойти в вавилону яму. Не возьмет ли змей Дайко меня в жены. Иначе дороги нет. От церковников убежала, от своих проклята, а раков озерных кормить неохота.

Потом и по-другому подумала:

— Может, этот наряд и для дела пригодится. В ношебном-то меня многие видали. Вот и оставлю его на тропе, а сама в этом уйду. Найдут — скажут: утопились, искать перестанут.

Придумала так, и давай переодеваться. Не утерпела, погляделась в воду да и говорит:

— Не может того быть, чтоб ни одного дитёнка не выкормить. Не в одном этом городе да Шарташе люди живут. Подальше уйду, а свою долю найду.

Сказала так, и ровно переменялась. Скоренько переделась в праздничный наряд, буски на себя пристроила и пошла дальше невеста-невестой. Про горькую долю думать забыла, сторожиться стала. По счастью, ни одного встречного. Прошла мимо Шарташа. Дорога густым лесом, а уж вовсе к потёмкам близко. Волков по летнему времени, конечно, не опасайся, а все-таки в потёмках итти несподручно. Глафира тогда и подумала:

— А что если мне в той ямке, какую с Вавилой рыли, переждать до свету.

Забавно показалось, как про это вспоминала. Ну и пошла. Место она хорошо знала. Пришла еще на свету. Видит — перемена большая вышла. Яма много обширнее стала и все сделано по-хозяйски. Подивилась: неуж Вавило такое может? Вало с бадьей пристроены, а вместо суковатой жердины для спуска лесенка хорошая устроена. Глафира раздумывать долго не стала, спустилась в яму. Ступенек десятка полтора оказалось. Темненько там, а разобрать можно, что тоже по-хорошему ведется, и сухо в той ямке. Глафира затуманилась, позавидовала:

— Бывают же мужики!

Неохота ей после того стало из ямы выходить. Нашарила рукой выступ да и села тут. Припомнилось ей, как Звонец про золотого змея Дайка рассказывал. Думала-думала об этом, да, видно, и задремала. Только это ей, как явь, показалось:

Сидит будто она на дне большого-пребольшого озера. Во все стороны этакое серое, маленько столуба, на воду походит. И дно, как в озере — где помельче, где поглубже. На дне травы да коренья самого разного цвета. Одни кверху в роде деревьев тянутся, другие понизу стелются, вроде, скажем, конотопа, только много больше. Меж теми, что с деревьев ростом, какие-то веревки повешаны. Толстенные и красным отливают. В промежутках везде змей. Одни ближе к земле, другие поглубже, и рост у них разный. В том сходство, что на каждом змее как обручи набиты и блестят те обручи золотыми искрами да камешками переливаются. Глядит Глафира и думает:

— Вон оно что! Не один Дайко-то, а много их тут!

С этим проснулась да сейчас же снова заснула и точь-в-точь это же видит. Один змей вовсе рядом. Руку протяни — обруч достать можно. Глафира сперва испугалась змея, думает — живой. Змей пошевеливается, как вот намокшее в воде бревно, а жизни не оказывает. И большой. Где у него голова, где хвост, не разглядишь, только шапки золотой нигде не видно. Пригляделась этак-то Глафира и бояться перестала. Обруч, который поближе, разглядывает, а это вовсе и не обруч, а вроде сквозной рассечки. Камешки тут беленькие и цветные тоже, золотых капелек много, и комышки золота видно. И до того все явственно, что Глафира, как проснулась, приметку острым камешком поставила, в котором месте ближний обруч приходился.

Видит — вовсе светло. Собралась из ямы подниматься, а какой-то мужик по лестнице спускается. Глафира, чтоб врасплох не потревожить человека, и говорит: — Погоди, дяденька! дай сперва вылезу.

Мужик вскинулся, а не испугался, вроде даже обрадовался.

— Пришла-таки? Ну-ка, кажись, кажись! Какая в мою долю ввязалась?

Глафира удивилась, что он такое говорит. Выбралась поскорее, глядит, а это Перфил. Из семерых-то братьев. Жена у которого в скиты ушла.

Перфил тоже Глафиру признал. Он годов на десяток постарше был, с малых лет ее видел. Приметна ему чем-то еще в девчонках была. И потом, как полной невестой стала, Перфил на нее поглядывал, а случалось, и вздыхал:

— Даст же бог кому-то экое счастье! Нет, что моя Минодора. Только и знает, что поклоны по лестовке отсчитывать да перед божницей на коленках ползать.

Судьбу глафиру Перфил хорошо знал и дивился, сколь она нескладно повернулась. Когда скитники-начетчики принялись голосить насчет проклятия Глафире, Перфил дал такого тумака Звонцу, что тот, почитай, месяц отлеживался и вовсе без пути языком болтал. Кто ни подойдет, одно слышит:

— Дайко-змей, Золотая шапка, дай мне за кисточку от твоего пояса подержаться. Потом, как отлежался, со свидетелями пришел к Перфилу допрашиваться: за что? Перфил на это и говорит:

— Считаю, как тебе любо, да вперед мне под руку не подвертывайся. Рука у меня, видишь, тяжелая, может и покойником сделать. Тогда и вовсе не догадаешься — за что?

Из-за этого случая у Перфила с братьями рассорка получилась. Они, конечно, против скитников зуб имели и Звонца крепко не долюбивали, а все-таки укорили брата:

— Нельзя этак-то — смертным боем хлестать ни за что, ни про что. Тоже живое дыханье, хоть и Звонец.

Перфил на это говорит:

— То и горе, что с дыханьем посчитался, ослабу руке дал, кончить бы надо.

Братья, понятно, свое заговорили, он — свое, так и рассорились. С той поры Перфил на отшибе от своих стал, а про то никому не сказал, что за Глафиру этак Звонца стукнул. Теперь видит — эта самая Глафира, живая, молодая, по-праздничному одетая, выходит из его ямы. У Перфила руки врозь пошай. Спрашивает:

— Когда ты из города ушла?

Глафира без утайки ему рассказала, что с ней в городе случилось. Перфил слушает, зубами скрипит, потом опять:

— Как ты в мою яму попала?

Она и это рассказала. Тогда Перфил расстегнул ворот рубашки и показывает перстень.

— Не твой ли на гайтане ношу?

— Мой, — отвечает.

— То-то он мне по душе пришелся. Нашел эту ямку. Вижу, кто-то начал да бросил. Полюбопытствовал, нет ли чего. Тоже бросить хотел, да вот перстенок этот мне и

попался. Перстенёк, гляжу, немудреный, а чем-то он меня крепко обрадовал и вроде обнадежил. С той поры и нощу на гайтане с крестом и все поджидаю, не покажется ли хозяйка перстенёка. Вот ты и пришла. Теперь осталось какого-нибудь толку от ямы добиться.

— Не беспокойся, — говорит, — толк будет. — И рассказала, что ночью видела.

— Про золотого змея Дайка, — отвечает, — много в Шарташе разговору было. Звонец вон, как его кто-то стукнул, чуть не месяц про этого Дайка бормотал. Все просил за кисточку какую-то подержаться, да не дождался, видно. Может, и твое виденье обман, а все же попытаться надо. Только просить-молить не согласен. Лучше я тому Дайку пригрожу — не испугается ли.

Спустились оба в яму. Показала Глафира свою приметку. Перфил ударил против того места, а сам приговаривает:

— Подай-ко, Дайко, свой пояс! Не отдашь добром, тебя разобьем, под пестами столцем, а свое возьмем.

Маленько поколотился, дошел до поперечной жилки, а там хрустали и золотая руда, самая богатая. Сколько-то и комышков золотых попало. Радуются, конечно, оба. Потом Глафира говорит:

— Надо мне, Перфил, дальше итти. Тут не укроешься: найдут. Скажи хоть, до какого места мне теперь добираться. Да не найдется ли кусочка на дорогу?

Перфила даже оторопь взяла.

— Как ты, Гранюшка, могла такое молвить? Куда ты от меня пойдешь, коли мы с тобой кольцом через землю обрученные. Да я тебя, может, с тех годов ждал, как ты еще девчонкой-несмышлёнышем бегала.

Потом обхватил в полную руку и говорит решительно:

— Никуда ты не пойдешь! Избушка у меня по нагорью поставлена. Хозяйкой будешь. Никто тебя не найдет. А кто сунется — не обрадуется. Не обрадуется! В случае тогда оба в Сибирь подадимся. Ладно?

Глафира из-под руки не вырывается. На улыбе стоит, как вешний цветок под солнышком, и говорит тихонько:

— Так, видно... Коли старым не укоришь да проклятья не побоишься, так я

тебе... тоже через землю венчанная... до гробовой доски.

На том и сладились. Перфил, конечно, в полное плечо Глафиры пришелся. Мужик усердный да работящий, заботливый да смекалистый. И за себя постоять мог, а за жену особенно. Сперва-то поговаривали которые, она, дескать, проклятая, такую нельзя держать. Другие опять городских опасались, как бы из-за Глафиры прижима не вышло. Ну, Перфил со всеми такими столь твердо поговорил, что потом его избушку стороной обходили.

— Свяжись, — говорят, — с этим чортушком — в могилу до времени загонит. Ничего не падит, коли про его Глафиру кто нескладно скажет.

Прожили свой век по-хорошему. Не всегда, конечно, досыта хлебали, да остуды меж собой не знали. Ребят Глафира навела... целую рошу! Парней хоть всех в Преображенский полк записывай. И девки не отстали. Рослые да здоровые, а красотой все в мать. На что Михей Кончина строгого слова человек, и тот по ребятам сестру признал. Седой уж в ту пору был, а смирился. Зашел как-то в избу и говорит:

— Ладные у тебя, сестра, ребята. Ладные. Не тем, видно, богам, скитники кадили, как тебя проклинали. Оно и к лучшему.

Как до бабкиных годов Глафира достукалась, так внучатам и счет потеряла. Это перфилово да глафирино поколене не один дом тут поставило. Завязку, можно сказать, нашему заводу сделало. Конечно, и других много было, ну эти коренники. От них, может, и словинка про Дайка пошла.

Теперь это вроде забавки. Известно, при солнышке идешь, ногой зацепить не за что, а по той же дороге в потемках пойдешь — все пороги да ямины. То же и с золотом. Нынешние вон дивятся, почему старики только поперечные жилки выбирали, а остальное в отвалы сбрасывали. А по делу тому дивиться надо, как им поспило эти поперечные жилки найти, когда никто ничего по золоту не ведал, а в письменности была одна посказулька про золотого змея. С Брусицинским вон золотом и того забавнее вышло. Ну это уж в другой раз.

СМЕРТЬ ФЕЛЬДМАРШАЛА

Рассказ

К. ОСИПОВ

★

1

Медные звуки марша гремели и перекачивались в недвижимом воздухе. Солдаты с натруженными, красными лицами, шиплыми голосами кричали «ура», облегченно смотря вслед уезжавшим со смотра монархам. Фельдмаршал тоже не отводил взора от гарцовавшего на караковом жеребце императора Александра и почтительно ехавшего подле него — на голову позади — короля Фридриха-Вильгельма.

В продолжение всего смотра фельдмаршала мучила одышка, сердце щемило, в коленях не проходила дрожь. Может быть, виною всему была эта необходимость встретить блестящую кавалькаду, стоя на земле, и так же проводить ее. Пятьдесят лет он появлялся перед строем верхом, и вот теперь не в силах взобраться на лошадь...

Он бросил последний взгляд на исчезающую в облаке пыли группу и устало махнул рукой. Музыка оборвалась на полутакте. Кутузов, опершись о плечо подбегавшего адъютанта, долго смотрел, прищурив глаз, на ровную линию солдат. Было в этом взгляде что-то скорбное и тяжелое, словно при прощании с близкими.

Тяжело вздохнув, он сказал:

— Велл, голубчик, подавать карету.

Пока адъютант торопливо отдавал приказание, фельдмаршал, скосив глаза, рассматривал только что прикрепленный к его груди прусским королем орден Черного Орла. Одноглавый орел... Видно, вся храбрость и гордость в другой голове остались...

Кутузов вспомнил, как бледнел Фридрих-Вильгельм при одном имени Наполеона и как подлестно, словно задабривая русского главнокомандующего, сказал, что наградит его после войны поместьем.

— Благодарю вас, ваше величество, — звучал в ушах фельдмаршала его собственный голос. — Но мне в прусской земле поместьев не надобно. Император Александр моих детей не оставит.

«Точно ли не оставит? — размышляет фельдмаршал. — А, может быть, как в восемьсот одиннадцатом — когда он, выиграв турецкую кампанию, получил вместо награды предписание сдать армию бездарному Чичагову... Что же! С Суворовым покойный император обошелся еще хуже. Спасибо и за то, что привел бог послужить на старости лет отечеству, привести войска из Москвы до Калиша, а там, авось, и до столицы бонапартовой...»

— Ваша светлость! — Голос адъютанта почтителен, но настойчив. — Пожалуйста... Погода сырая, как бы не простудились.

— Хорошо, Николенька! Иду, дружок... Кучер осторожно трогает с места. Лошади бегут мерной рысью, и гулкое цоканье их копыт чем-то приятно фельдмаршалу.

— Какое сегодня число, дружок? — спрашивает он, поудобнее устраивая свое грузное тело на мягких подушках.

— Двадцать первое марта, ваша светлость.

— Как думаешь, на Воляни скворцы уже появились?

— Полагаю, уже прилетели. Самое время...

— Я, когда там жил, в именье моем Горошки, везде велел скворечники понастроить. Ох, и много весной этого народу птичьего там... А улетать они собирались тогда в сентябре, как раз в день ангела моего. У тебя, Николенька, когда рожденный день?

— Шестого декабря, ваша светлость.

— Так, так... Значущее число! В армии много верят приметам. Говорят, что шестое число нам благоприятствует: двадцать шестого была Бородинская битва, шестого баталия под Красным, шестого же под Чернишней... — он побарабанил пальцами по стеклу. — А я ни в сон, ни в чох не верю. Надо хорошо командовать, а тогда с нашими солдатами победишь и в чет, и в нечет...

— Ну, вы-то, Михаил Илларионович, это искусство постигли.

Кутузов поджал губы.

— Я мог бы величаться, быв первым генералом, пред которым бежит надменный Наполеон, но бог смиряет гордых, и потому не хочу впасть в сей грех.

Карета подкатила к двухэтажному белому дому с мезонином и плавно остановилась. Кутузов медленно, с видимым усилием опустил сперва одну ногу, затем вторую. Адьютант услужливо подставил плечо, но фельдмаршал, поморщившись, отстранил его. Он все еще не мог привыкнуть к своей немощи. Собственное тело не слушалось его, стало вдруг словно чужим.

Адьютант, стоя рядом, молча, с безграничной жалостью глядевший на него, думал о том же. Он вспоминал, как на походе из Тарутино к Малоярославцу, когда войска шли форсированным маршем в жестокую осеннюю непогоду, старый фельдмаршал делал с солдатами все трудности, как он отказался войти в дом, где ему приготовили обед, сказавши: «Нет! Я ни на шаг не отойду от тех, с которыми должен умереть за отечество!» С тех пор прошло всего пять месяцев, а какое ужасное превращение...

Кутузов не спеша пошел в свою квартиру. Вид у него был самый безмятежный, точно и не он минуто назад с таким трудом переступал через подножку. Взгляд был по-обычному добрый и в то же время внимательный и гасроженный.

В обширной комнате, служившей теперь приемной, столпилось много посетителей. Аксельбанты, золотое шитье мундиров, ордена, ленты через плечо, гремящие сабли, тренькающие шпоры — на одно мгновение все слилось перед фельдмаршалом, но он тотчас поборола слабость и, приветливо раскланиваясь по сторонам, прислонившись к высокому креслу, пристально оглядел собравшихся.

— Ваша светлость! — выдвинулся дежурный офицер. — Донесение от генерала Милорадовича: он продвинулся за два дня на пятьдесят семь верст.

— Молодчина, Михаил Андреич! — лицо Кутузова озарилось улыбкой. — Он ведь у нас крылатый. Суворовым пестован... Потом доложишь подробнее. Еще что?

— Письма от Дарьи Илларионовны и Екатерины Михайловны, — продолжал офицер, протягивая ему длинные, узкие конверты, надписанные сестрой и дочерью.

— Хорошо, — он сунул письма за бошлаг. — Все?

— Еще желает представиться вам прусский полковник Зейдль, аккредитованный при вашем штабе для решения вопросов продовольствования армии в Пруссии.

Кутузов наклонил голову.

Тотчас от почтительно застывшей свиты отделился человек в чужом мундире и, вытянувшись перед фельдмаршалом, ло-

маным русским языком, нещадно коверкая ударения и перевирая падежи, начал рапортовать.

Кутузов, морщась, слушал его,

— Вы можете говорить на вашем родном языке, — сказал он вдруг по-немецки, рассматривая Зейдля.

Тот осека, но сейчас же продолжал рапортовать, перейдя на немецкую речь, отчетливо и резко выговаривая слова.

Фельдмаршал слушал со скучающим видом, но вдруг прервал Зейдля, бросив ему несколько коротких, отрывистых слов. Полковник закусил губу и стал что-то усиленно доказывать. Кутузов опять перебил его и произнес длинную тираду, в заключение которой жестом дал понять, что аудиенция окончена.

Зейдль, пятясь обратно, сказал:

— Я доложу обо всем королю... Но вы, господин фельдмаршал, говорите по-немецки, как природный немец.

Кутузов некоторое время молча смотрел на него.

— Нет, милостивый государь, — сказал он сухо, повернулся и пошел в соседнюю комнату.

2

В молодости Кутузов любил плотно и вкусно поесть, но, состарившись, равнодушно отказывался даже от самых изысканных блюд. Он ел теперь только один раз в сутки, вскоре после того, как вставал. День начинался у него в семь часов утра и заканчивался ровно в одиннадцать часов вечера. Но такого распорядка он придерживался не всегда: в походах он иногда не спал по несколько ночей сряду. Дежурившие в соседнем помещении адъютанты не раз слышали, как фельдмаршал целые ночи напролет шагал по комнате, останавливаясь иногда перед картой и время от времени приговаривая: «так...» «не так...» Потом опять равномерные шаги, и снова: «так...» «не так...»

Но сейчас, вернувшись со смотра, Кутузов, против обыкновения, приказал подать ему завтрак. Может быть он сделал это потому, что увидел Раевского, только что приехавшего, еще хранившего на лице следы дальнего путешествия.

— Позови, дружок, Раевского, — сказал он адъютанту, войдя в свой кабинет и опускаясь в кожаное кресло.

Вынув полученные письма, он стал читать их. Дочь сообщала, что ждет ребенка. О сестрах писала, что все здоровы. Праксovia в Москве, хочет отстраиваться, Дарья в деревне; Анна в Петербурге, везде ее прекрасно принимают, а Елизавета не ладит с мужем, их даже мирил владыка. Кутузов дважды прочел последние строки, задумчиво повертел письмо.

Дарья Илларионовна писала мало. Крупными косыми буквами было выведено: «Любезный брат! Я и братец наш Семен кланяемся тебе, поздравляем с новыми наградами и не чаем, когда же свидимся с тобою. Запрошлый месяц ездила я в Горошки. Супруга твоя, Екатерина Ильинична, недужит, надо бы к ней хорошего медика прислать. А у меня все хлопоты: именье в долгу, не знаю как выкручусь. Не поможешь ли малость, братец? Прислал бы тышчонок десять на первый раз — как соберу урожай, отдам...»

— Ваша светлость! Звали меня? — на пороге стоял Раевский.

— А, Николай Николаич! Иди ко мне, братец, обниму тебя. — Он трижды, накрест, расцеловал Раевского и усадил его напротив себя. — Закуси со мной. Небось, с дороги еще не отдыхал?

— Прямо сюда явился, Михаил Илларионович. По правде говоря, от завтрака не откажусь.

— Ну вот... ну вот... Сейчас принесут... И я тебе компанию составлю... Да ты что мнешься?

— Простите, Михаил Илларионович, меня в приемной мой штабной офицер дожидается. Разрешите сообщить ему, что он может удалиться. Он тоже, наверное, в дороге изголодался.

— Зачем же его отсылать? Позови его сюда. Погляжу, кого ты себе в штаб подобра.

Раевский обрадованно вышел из комнаты и через минуту вернулся в сопровождении рослого, лет тридцати, офицера с плотно сжатыми губами, крутым подбородком и колючими серыми глазами.

— Подполковник Хотинский, Малек Илларионович, — представил его Раевский.

Кутузов с любопытством окинул взглядом заставшего, как изваяние, офицера и по-заговорщически подмигнул ему.

— Почти что тезки с вами, подполковник? Прошу садиться... На меня внимания не обращайтесь, господа: я едок стал плохой. Но люблю видеть в других то, чего сам лишен. Так расскажи, Николай Николаич, как воюешь. Я тебя ведь, почитай, с декабря не видел.

— Совершенно верно, ваша светлость. Со времени Вильно.

— Да, Вильно... — Кутузов задумался и грустно сказал, — полстолетия служу в армии, всякого насмотрелся. А такого, как в Вильно, не видывал... Больные, раненые, ити не в силах, ползут по земле и все кричат *du pain, du pain!*, а если подашь им съестного — то друг на друга кидаются, из рук, изо рта вырывают... Больных было больше, чем здоровых, а мертвых больше, чем больных.

Он уронил голову и замолчал.

— Да, дорого заплатила «великая армия» за намерение завоевать Россию, — произнес Раевский. — Медики наши говорили, что опасно было даже дышать воздухом, который тогда сгустился над Вильно.

На некоторое время в комнате водворилось молчание, прерываемое лишь позваниванием расставляемой посуды. Потом фельдмаршал снова заговорил:

— Сказать правду, и у меня, как и во всей армии, было искушение немного отдохнуть в Вильно. Но я не хотел, чтоб этот город стал для меня тем, чем для Аннибала была Капуа. И я повел моих усталых солдат дальше, — фельдмаршал ударил ребром ладони по столу и почти вскричал. — Какой это был марш! Бонапарт, этот гордый завоеватель, бич человечества или, лучше сказать, бич божий, бежал от меня несколько сот верст, как дитя от школьного учителя. В Вильно комнаты дома, где я спал, были вытоплены для Бонапарта, но он не смел остановиться и, объехав вокруг города, только переменял лошадей.

Кутузов сделал неопределенное движение губами.

— Не хочу более об этом распространяться: боюсь возгордиться. Рассказывай, Николай Николаич. Ты моложе меня, у тебя память лучше.

— Будучи передан в распоряжение графа Витгенштейна, — заговорил Раевский, — я двинулся на Кенигсберг. Одновременно, Чичагов шел на Гумбинен, в обход Кенигсберга. Находившийся в сем городе Мюрат сдал начальство маршалу Макдональду и выехал в Эльбинг. Макдональд же увел войска, затопив 33 осадных орудия.

— И вы там были с генералом? — спросил Кутузов у Хотинского, на которого он то и дело бросал как бы случайные, но пристальные взгляды.

— Никак нет! Я тогда состоял в авангарде графа Платова, под непосредственным начальством генерал-адъютанта Чернышева, — Хотинский говорил, отчеканивая и будто рубя каждое слово. — Под новый год мы подошли к Мариенвердеру. Там был маршал Виктор. При нашем приближении он бежал, все бросив.

— Да, помню! — сказал фельдмаршал. — Первого января мы перешли Неман. Для Бонапарта эта река стала подлинным Рубиконом. В тот день я отдал в приказе: «Надобно довершить поражение неприятелей на собственных полях их».

Наступила пауза. Раевский осторожно прервал ее.

— Петр Христианович¹ послал меня в Шнейдемюлле, чтобы оттуда наблюдать за Кюстрином и Штеттином. Наши передовые отряды перешли Одер пятого февраля у Кюстрина и Франкфурта. Лед у Кюстри-

¹ Хлеба, хлеба.

¹ Витгенштейн.

на был тонок, и через два часа после переправы река вскрылась.

— Перст божий, — сказал Кутузов. — Судьба французского воителя решена неукоснительно. Сперва он потерял прозорливость политика, потом славу непобедимости, а теперь и удачу полководца.

— Он будет бороться упорно, — покачал головой Раевский. — Сейчас он произвел новый рекрутский набор в 180 тысяч человек. Разбросанные по Франции внутренние гарнизоны и отряды береговой обороны сведены в 100 когорт по 1100 человек в каждой. Из Испании вызвана гвардия и польские войска. Матросы с кораблей образовали корпус в 40 тысяч. Наполеон обещал, что приведет 300 тысяч на соединение с Главной армией.

Кутузов улыбнулся.

— Но эта Главная армия при переходе через Одер насчитывала только 9 тысяч пехоты да тысячу уланов. Впрочем, Ожеро имеет еще 40 тысяч, а в Германии разбросано еще 130 тысяч. Однако все это тщетно, — Кутузов повертел граненый хрустальный бокал, из которого отпил один глоток, и с силой повторил: — Тщетно! Звезда, которая угасла, не загорается вновь.

Было тихо. Где-то вдалеке ударили оружейные выстрелы — вероятно, шло ученье.

— В то время, как Бонапарт собирает новую рать, — заговорил вновь фельдмаршал, — в нашей армии только 140 тысяч человек: 75 тысяч пехоты, 45 тысяч кавалерии, остальные ополченцы и артиллеристы. Да еще резервные войска, что в районе Гродно—Ковель расквартированы; почитай, 180 тысяч всего наберется, но многие вовсе не обстрелены и даже не обучены. На союзников, Николай Николаич, я не очень полагаюсь: австрийцы Суворова чуть не погубили, пруссаки же еще вдвое коварнее. Вот и получается, — он сощурил свой единственный глаз и поднял палец, — что у Бонапарта чуть ли не числительный перевес, а между тем кампания им всеконечно проиграна будет. — Простите, ваша светлость, — сказал вдруг Хотинский. — но я не вполне уясняю мысль вашу. Отчего же столь безнадёжны усилия Наполеона?

Кутузов ответил не сразу и даже как-то будто нехотя.

— Ошибка Бонапарта не в том, — произнес он тихо,¹ — что он неверно оперировал стратегически, а в том, что он переоценил силы своего народа. Молодые рекруты, призванные в 1811 году, да и многие другие не хотели сражаться за него. Франция устала от войн. К тому же в России продовольственное снабжение французской армии распаталось в одночасье, местных кормов мы не оставляли, климат наш суровый, болезни развились во множестве. Сколько дезертиров ушло...

— Сейчас они снова призваны, — вставил Раевский. — Среди пленных французов очень многие имеют ранение в палец: видимо, о прошлом годе стрелялись, чтобы на родину вернуться.

— Да, силы французского народа не безграничны, — сказал слушавший с напряженным вниманием Хотинский. — У русского народа, борющегося за правое дело, иная мера. А Наполеон презрел это.

— Французский император любит азартную игру, — промолвил Кутузов, и на губах его заиграла снисходительная, насмешливая улыбка. — Он знает, как завоевывается победа. Но, к счастью его противников, он не постиг, что тайна великого полководца — в сочетании смелости с осторожностью. Александр, прежде чем углубиться в Персию, обеспечил тыл завоеванием Тира и Египта.

Он взял кусок сахара и, держа в растопыренных пальцах блюдечко с нарочитой, как показалось Хотинскому, простоватостью, стал прихлебывать горячий чай.

Раевский не знал, должно ли ему продолжать свой рассказ; он ждал какого-нибудь знака Кутузова, но тот с явным удовольствием глотал чай, казалось, вовсе забыв о присутствующих, и генерал, поколебавшись, заговорил опять.

— Дух войск был прекрасный. Трудности зимней кампании были забыты, о предстоящих опасностях не думали. Приказ о выдаче всем выступившим за границу не в зачет полугодового жалованья еще больше взбодрил людей. Сформированные по вашему, Михаил Илларионович, приказу полки конных егерей стремились увенчать первыми лаврами свои знамена...

— А в Берлине ты был, голубчик? — спросил вдруг Кутузов.

— Никак нет! Вот подполковник участвовал во взятии прусской столицы.

Кутузов, поставив блюдце на стол, поднял взгляд на Хотинского, и тот, приняв это за молчаливое приказание, проговорил, все так же рубя и чеканя слова:

— Генерал-лейтенант Чернышев внезапно двинулся на Берлин, так как, по имевшимся сведениям, Ожеро не ждал нападения. На рассвете 8 февраля мы подошли к Берлину. Французская артиллерия стояла в Шарлоттенбурге. Туда послали в атаку полковника Власова с двумя казачьими полками, и одновременно генерал Чернышев хотел ударить на город своими главными силами.

— Это все я знаю, — перебил его Кутузов. — Мне в реляциях доносили... Но как случилось, что сей простой замысел не был приведен в исполнение?

— Когда казаки подходили к Шарлоттенбургу, — сказал Хотинский, — оттуда показался отряд французских кавалеристов. Власов не сумел сдержать своих людей: они налетели на французов и на пле-

чах у них вскакали в город. Генералу Чернышеву ничего не оставалось, как двинуть свои войска. Мы ворвались в Берлин. Пораженные жители попрятались по домам, иные приветствовали нас кликами, но в таких полиция стреляла. Однако французы вскоре опомнились. Из Шарлоттенбурга неслись пушки. У маршала Ожера было гораздо больше сил, и нам пришлось оттянуться из города. Мы остановились на расстоянии пушечного выстрела от заставы. Неприятель атаковал нас, но был отброшен.

Раевский, с интересом слушавший рассказ Хотинского, вполголоса сказал:

— Эка простофиля этот Власов оказался! Как же вы все-таки овладели Берлином?

— Наш нечаянный штурм французов очень взбудоражил. Ожеро вывел солдат из домов, поставил их биваками на улицах. Возобновлять атаку с нашими силами мы уже не могли, — Хотинский словно оправдывался, — но тут его светлость столь искусно вел войска, что и мы сие почувствовали. Ожеро уехал, сдав команду Сен-Сиру. Опасаясь, что будет обойден в связи с общим отступлением французской армии от Одера, маршал Сен-Сир 19 февраля очистил Берлин. На следующий день мы вступили туда с распущенными знаменами и с музыкой.

— Так, — протянул Раевский, — значит генерал Захар Григорьевич Чернышев брал Берлин в семьсот шестидесятом, а через полста лет его визит повторил князь Александр Иванович Чернышев. Любопытное совпадение, не правда ли, Михаил Илларионович?

Ответа не последовало. Оба посмотрели на Кутузова и вдруг умолкли. Свесив голову на грудь, фельдмаршал дремал. Глаз его был закрыт, грудь равномерно вздымалась. Генерал и подполковник осторожно поднялись и тихими шагами, чтобы не звенели шпоры, вышли из комнаты.

Заметив, что дверь плохо притворена, адъютант подошел, чтобы закрыть ее, и на всякий случай взглянул в комнату. К его удивлению, Кутузов сидел не за столом, а за маленьким бюро с выдвигаемыми ящиками. Перед ним лежала груда бумаг, и он перелистывал их.

— Я думал, вы задремали, ваша светлость, — проговорил адъютант, входя. — Не прикажете ли чего-нибудь?

— А, Николенька! Нет, мне ничего не надо. Пускай только уберут посуду. Мне, дружок, вон сколько донесений прочитать нужно. Из-за смотра вчера не удосужился. Сказать Раевскому неудобно: я его вроде как гостя пригласил. А дело не ждет, не терпит. Вот я и схитрил малость.

— Ваша светлость! Местный магистрат дает сегодня бал в вашу честь и очень просит вас присутствовать. Что передать прикажете?

— Бал... — Кутузов задумался. — Когда-то я любил балы, перигордэн танцевал, да и в мазурке не плох был. А теперь что уж мне туда ездить...

— Очень просили, — повторил адъютант.

— Пожалуй, обидятся, если не покажусь. — Он вдруг засмеялся надтреснутым, старческим смехом. — А и то! Скажи, что приеду.

Он слегка кивнул головой и снова склонился над бумагами.

3

Вечер выдался ясный и холодный. Тревожные мартовские звезды мерцали в черном небе. Гонимая ветром гряда темнопепельных облаков то заслоняла, то вновь приоткрывала тонкий серп бледного месяца.

Кутузов, сидя в углу кареты, зябко кутался в меховую шинель. Его знобило, поламывали руки и ноги. Хуже всего то, что он теряет обычную ясность мысли; все чаще ему изменяет память. Всю жизнь он учил офицеров не полагаться на других в важных делах: самим осматривать укрепления, батареи, присутствовать при переправах через реки и горы и, главное, проверять, как выполнено порученное дело. А теперь сам он часто забывает отданные накануне приказания.

Фельдмаршал рад возможности побыть одному. Не легко все время скрывать старческую слабость — головокружения, приступы неведомо откуда наплывающей боли, забывчивость... Вот Александр Васильевич в эти годы через Альпы перешел. А он, Кутузов, сумел ли бы, если бы пришлось? Он прислушивается к себе и качает головой: нет, не смог бы! Сознание этого наполняет его горечью.

Мысли его переходят к покойному учителю. Тот любил его, после Измаила сказал: «Кутузов был на левом фланге моей правой рукой». Полно! Никто из генералов не был его правой рукой — потому что все были недорослями в сравнении с ним. Стоило появиться Суворову, и дело, перед которым в нерешительности останавливались лучшие генералы, совершалось сразу. Победа, казалось, сама давалась в руки.

А потом все начинали хором восклицать: «Как это просто! Всякий сумел бы так выиграть сражение!»

Кутузов добродушно улыбается. В военных вопросах издали все кажется просто. Вот намерен один пленный генерал из свиты Ожера рассказывать: у них в армии сиделись на коней по общему сигналу целые корпуса, по 12 тысяч всадников сразу, а потом обнаружилось, что лошади в последних эскадронах оставались под кавалеристами шесть часов, прежде чем дохо-

дила до них очередь тронуться. Легко сказать: «пятый полк сядет верхом через три часа после первого», — но, чтобы усвоить этот простенький расчет, понадобится не одно десятилетие.

Вот обо всем этом и забывают, крича, что Суворов, мол, побеждал «просто». Небось, если кто высказывает мнение о танцовщице или живописце, то извиняется, что берется судить о вопросах малоизученных; а в стратегии всякий — судья и советчик!

Впрочем, Александр Васильевич был их уму не доступен. В его душе был огонь небожителей.

Кутузов долго смотрит на черное небо с мигающими звездами. Вот и французский император такой — с искрой огня. Такой, да не совсем... И слава богу! Будь он равен Суворову, удалось ли бы справиться с ним?

Яркий свет фонарей врывается в окна кареты. Невидимый оркестр играет туш. Кучер Антроп, откинувшись всем телом, круто останавливает разгоряченных лошадей.

Кутузов, опираясь на руку адъютанта, входит в дом. Чины магистрата в благоговейном молчании следуют за ним. Музыка оглушительно играет польский. Остановившись в дверях залы, фельдмаршал, сощурившись оглядывает нарядное общество. Со смешанным чувством рассматривает он залитую светом залу.

— Прошу продолжать танцы, — говорит он, не обращая ни к кому в отдельности, и, раскланиваясь на обе стороны, проходит к большому креслу, приготовленному для него на видном месте.

В оркестре начинается нежная, странно знакомая мелодия. Ах, да — *valse étrusque*! Когда-то он так любил его! Пары одна за другой скользят по блестящему паркету, проносясь мимо кресла, в котором, опершись на подлокотники, застыл старый фельдмаршал. Все бросают на него украдкой взоры — смесь любопытства и почтительности.

Кутузов равнодушно выдерживает этот перекрестный огонь взглядов. Его не оставляет чувство, что он в последний раз на балу, и сладкая грусть все более овладевает им.

...Он видит себя совсем юным — вот как этот корнет. Как давно все это было — но как отчетливо сохранилось в памяти это знойное лето... Он стоял тогда с полком в Пирятине. У прилуцкого полковника Ивана Александровича была дочь Ульяна. Глаза, как звезды, коса чуть не до земли. Как любила его Ульяна!

Кутузов думает о том, что никогда больше не испытывал он такого чувства. А в то время ему казалось, что это — мимолетное, что подлинная любовь впереди. А вышло так, что никто уже не любил его столь бескорыстной, чистой любовью...

Окружающие замечают глубокую задумчивость фельдмаршала и держатся в отдалении, не решаясь тревожить его. Музыка премит попрежнему; вальс сменяется мазуркой, затем *perigordaine*, потом алемонд... Кутузов все время внимательно смотрит на танцующих, но мысли его далеко.

Внезапная тяжелая болезнь Ульяны... Обет ее матери, что если умирающая выздоровеет, то навеки останется девушкой. Кутузов вспоминает, как уговаривал медленно поправляющуюся Ульяну — и, наконец, добился того, что был назначен день свадьбы. И вдруг Ульяна заболела опять. Целый месяц она пролежала в жестокой горячке, а затем уже не встала: так и осталась навеки прикованной к постели. О, нет! Он не убежал от нее. Теперь ему не приходится краснеть за свою молодость: он хотел сдержать слово и жениться на парализованной, но Ульяна и слышать не хотела. «Не стану завязывать тебе свет», — сказала она, и более уже ничто не могло поколебать ее.

А потом полк ушел... Началась страшная боевая жизнь, сражения, раны, поездки за границу, Петербург, служба... Но и в самой сумятице мчащихся дней своих он не забывал Ульяны. И писал ей — сперва любящие письма, затем нежные, затем просто дружеские. Она и сейчас живет в Пирятине и, может быть, думает о нем.

— Ваша светлость!

Кутузов вздрогнул и повернул голову. Высокий поляк с гривой седых волос стоял перед ним, держа за руку потупившуюся тонкую девушку лет семнадцати.

— Молю светлейшего князя не гневаться. Я приехал в Калиш из моего имения, чтобы увидеть собственными глазами знаменитого фельдмаршала. Фамилия моя — Маячевский. Равно со мной мечтала быть представленной вам дочь моя, Ануся... В вашей персоне она чтит мудрость воителя...

Кутузов более не слушал его. Он не отрывал взгляда от девушки. Большие серые глаза, в глубине которых то и дело загораются золотые искорки. Тяжелая коса каштановых волос, обрамляющая точечное личико.

Должно быть, он чересчур пристально глядит на девушку, потому что она слетка краснеет и, приседая в низком реверансе, говорит:

— С моей стороны большая дерзость, князь, просить о знакомстве с человеком, осененным столь громкой славой. Надеюсь, вы не осудите меня.

Она говорит по-русски очень чисто, голос ее мелодичен и звонок. Фельдмаршал встает и учтиво кланяется.

— Чем больше я живу, — произносит он, — тем больше убеждаюсь, что слава есть дым.

Он делает знак, и один из адъютантов ставит стул рядом с его креслом. Любезно улыбнувшись Маячевскому, тотчас исчезнувшему в толпе, Кутузов усаживает девушку подле себя.

Ануса с волнением отвечает:

— Так говорить может только тот, для кого слава стала обыденной вещью.

— Слава всегда бледнеет перед красотой, — галантно возражает Кутузов.

Между ними завязывается оживленная беседа. Вся зала наблюдает за ними. Дамы сгорают от любопытства и от зависти. Старый фельдмаршал на глазах словно перерождается. Куда девалась тяжелая медлительность движений и жестов. Он рассказывает что-то — видимо, очень занятное, потому что его собеседница заразительно смеется. Завидев высокого гусарского ротмистра, проходящего по залу, Кутузов подзывает его.

— Вот, мадемуазель, ротмистр Иртеньев — один из храбрейших наших кавалеристов. Неприятельские пули трижды тронули его грудь, но, как видите, их следы плотно прикрыты орденами. И к тому же, — он чуть приметно вздыхает, — у него нет еще ни одной седой пряди в волосах... Повторите, пожалуйста, ротмистр, ваш рассказ о том, как наши офицеры прогнали прелестных варшавянок.

Иртеньев щелкает шпорами и, опершись на палаш, принимается рассказывать:

— Мой полк был в авангарде. Двадцатого января мы ворвались в Варшаву. Префект поднес нам хлеб-соль, а старый чиновник передал ключи от города. Позже я узнал, что этот же чиновник девятнадцать лет назад вручил ключи Варшавы Суворову.

Отвесив почтительный поклон в сторону фельдмаршала, он продолжает:

— Во исполнение приказаний вашей светлости об охране дворца польских королей, генерал Милорадович назначил туда мой эскадрон. Мы вступили в караул, опечатав при этом комнаты с драгоценными вещами, дабы не было нареканий на нас за пропажу того, что исчезло при французах.

— Ты короче, короче, — смеется Кутузов. — Про то, как польских красавиц обидели.

— Что же об этом, ваша светлость... Нам строжайше приказано было не чинить никаких насилий над жителями. Мы в точности соблюдали приказ. А польки, примитив это, не раз говорили нам: «Господа, вы ведете себя, как ангелы; кажется, вы желаете, чтоб мы вам удивлялись».

Ануса, закрывшись веером, заливается смехом.

Неожиданно Кутузов делается серьезным. Как ни приятна ему эта беседа, надобно кончать ее.

Сделав усилие, он быстрым движением подымается с кресла и благодарит девушку за доставленную ему радость.

— В последнее время я слышал только стоны раненых и гром пушек. Ваш серебристый голосок, мадемуазель, звучит для меня, как ангельское пение.

За старинной, немного тяжеловесной чопорностью комплимента Ануса чувствует нотку подлинной искренности. Как будто на минутку приоткрывается завеса, и она видит другого человека — не маститого полководца, прославленного во всей Европе, а гордого старца, всем существом привязанного к жизни, жадно любящего ее радости, и все же мужественно допивающего до дна свою чашу, в которой осталось уже только несколько капель. Невольным движением она протягивает Кутузову обе руки. Тот бережно берет их, наклоняется и на глазах всего зала целует ее в лоб.

Потом он поворачивается и делает несколько шагов по направлению к танцующим. Сейчас же его окружают члены магистрата и ратманы. Кольцо людей вокруг него становится с каждой минутой все плотнее. Каждый норовит обменяться с ним приветствием, услышать хоть несколько слов, адресованных лично ему. Кутузов с вежливой, чуть иронической улыбкой отвечает на все вопросы. С привычной легкостью он ловит на лету шутки, делает комплименты дамам, отзывается на серьезные высказывания.

— Видали ли вы Лаудона? — спрашивает Маячевский (он сияет от неожиданного успеха, выпавшего на долю его дочери).

— Да, когда я в молодости ездил за границу, я встречался и с Лаудоном, и с королем Фридрихом Вторым, и еще со многими генералами.

— Зачем? — спрашивает Маячевский. — Пусть простит меня светлейший князь, но если бы я был знаменитым воеводой, я искал бы на отдыхе только встреч с артистами. Когда имеешь досуг, не годится трактовать военные науки.

Кутузов с тонкой улыбкой смотрит на него.

— Для чего же трактовать? — говорит он. — Надо просто присмотреться к человеку. Потому что никогда не знаешь, с кем тебе придется воевать. И может быть сегодняшний собеседник окажется завтрашним противником.

Поляк явно ничего не понимает из этого объяснения, но считает неудобным задавать дальнейшие вопросы. Однако фельдмаршал сам разъясняет ему.

— Вот, к примеру, Бонапарт... В девяносто девятом году он познакомился в Париже с австрийским полководцем Макком. Бонапарт в таких словах о Макке выразился: «Это самый посредственный человек, коего я встречал. Преисполненный самомнения, он считает себя на все спо-

собным. Теперь он без всякого значения. Но желательно было бы, чтобы его послали против одного из наших хороших генералов, тогда удастся насмотреться на интересные вещи. Это неспособный человек, вдобавок он еще несчастлив». Вот, милостивый государь, что сказал Бонапарт про Макка, а как использовал свое знание его натуры, тому свидетельство Ульм¹.

За окном с шипением и треском взвиваются первые ракеты. Танцы прекращаются, почти все спешат к окнам, чтобы полюбоваться фейерверком. Магистрат не покинулся: это настоящее чудо пиротехники. Огненные колеса, вензеля, разноцветные букеты, рассыпающиеся мириадами искр, диковинные хвостатые звери, уносящиеся в ночную мглу...

Кутузов рад, что внимание гостей отвлечено. Он уже испытывает знакомую усталость. Хорошо бы сейчас уехать.

— Ваша светлость, — не унимается Маячевский, — очевидно плохого мнения о всей системе, которой придерживались австрийцы, воюя с Наполеоном?

— Эта система является искусством так подставлять большие армии, чтобы их были малые, и ничего не совершить, располагая огромными средствами, — любезно отвечает фельдмаршал.

Маячевский подымает брови.

— Может быть, пан фельдмаршал скажет нам, какую же систему он считает правильной?

Кутузов хмурится. Видно, ему не хочется продолжать этот разговор.

— Как не существует лекарства от всех болезней, так не может быть методы для всех кампаний. Еще не установлено даже, в чем сущность истинного преимущества. Иные отдают предпочтение обороне, а генерал Жомини советует наступать во что бы то ни стало. Бонапарт говорит, что атаки во фланг предпочтительнее атак с фронта, однако в девяносто шестом году он действовал как раз по внутренним, а не по внешним линиям. Эрцгерцог Карл полагает, что обладание возвышенностями дает господство над долинами, но, по мнению Жомини, владея долиной, вы господствуете над окружающими ее высотами... Господа, не ищите единого решения там, где всё многообразно. Помните, что даже бог един в трех лицах.

Он улыбается своей лукаво-добродушной, непроницаемой улыбкой, поправляет повязку на вытекшем глазу и направляется к выходу. Магистрат в отчаянии, князь должен почтить своим присутствием ужин. Но Кутузов непоколебим. Пожимая руки, он доходит до дверей. Здесь он останавливается, с минуту смотрит на сверкающий, рукоплещущий зал, точно хочет

запечатлеть в памяти все наполняющие его звуки и краски, и переступает порог.

Застоявшиеся лошади храпят и бьют копытами. Звезды над головой разгорелись еще ярче, и фельдмаршал, привалившись в угол кареты, неотрывно смотрит на них, что-то шепча и думая одному ему известную думу.

4

Наступила весна, а французы все еще не могли оправиться от постигшей их в России катастрофы и не были способны на серьезное сопротивление.

Наступление русской армии продолжалось безостановочно. Витгенштейн шел из Берлина к Эльбе. Кутузов руководил его действиями издали — мягко, почти незаметно подсказывая ему общую линию поведения.

Подполковник Хотинский был послан им с инструкциями к Витгенштейну.

— Передай на словах графу Петру Христиановичу, — напутствовал фельдмаршал уезжавшего, — что ежели неприятель в 60 тысячах, как мы полагаем, то силы графа, составляющие вместе с корпусом Блюхера 90 тысяч, достаточны, чтобы действовать в отдаленности. Но ежели бы противник вскоре усилился и хотя сравнялся в численности, тогда действия графа без подкрепления Главной армии уже сделаются сомнительными.

— Значит, по мнению вашей светлости, графу Витгенштейну не нужно ввязываться в крупное сражение? — спросил Хотинский.

Кутузов помедлил с ответом.

— Я думаю, голубчик, что таковая оканзия не случится, — промолвил он. наконец. — Везде, где вы встретите неприятеля слабее вас, он держаться не станет, и потому вы не в состоянии будете сделать ему большого вреда; французы будут отступать и усиливаться по мере своего отступления.

Он пожевал губами и добавил:

— Впрочем, близость графа Витгенштейна к неприятелю делает необходимым не связывать его детальным планом. План надобно изменять по обстоятельствам, которые могут встретиться.

Хотинский сделал невольное движение. Ему редко приходилось слышать подобное наставление.

— И еще скажи, — договорил Кутузов, — не нужно рваться поскорее до Эльбы. Не уйдет сие... Нельзя отрываться от резервов, тем более, что в тылу у нас останутся французские крепости на Одере.

Давая указания Хотинскому, он не договаривал, что в Главной армии было всего 18 тысяч человек; из России шло 45 тысяч подкрепления, но их задерживала глубокая грязь.

¹ В Ульме ген. Макк сдался со всей армией Наполеону.

Император Александр склонен был упрекать фельдмаршала в чрезмерной осторожности. Но теперь он не решался, как в 1812 году, открыто выражать свое недовольство; напротив, он всячески старался заглядить нанесенные им Кутузову обиды и подчеркнуть свое благоволение к нему. Когда главные силы русской армии перешли Одер, императору был поднесен лавровый венок.

— Отошлите его Михаилу Илларионовичу, — с обворожительной улыбкой произнес император, — лавры принадлежат ему.

Впрочем, император, упоенный своей ролью освободителя Европы, был щедр ко всем. Когда Барклай-де-Толли взял Торн, Александр наградил его алмазными знаками ордена Александра Невского и 50 тысячами рублей.

В Торне был захвачен годовой запас продовольствия. Ключи от этой крепости были препровождены Барклаем Кутузову, а он переслал их царю.

Это было его последнее подношение Александру.

Еще находясь в Калише, Кутузов протудился. Болезнь медленно, но неуклонно развивалась. Старый фельдмаршал не хотел поддаваться ей. Поблудневший, исхудавший, с заострившимися чертами лица, он продолжал вести прежний образ жизни: просиживал десять часов в день за столом, вникал во все мелочи, руководил, наставлял, предостерегал, исправлял ошибки.

Врачи настойчиво советовали ему остаться в Калише. Фельдмаршал только улыбался, весело щуря лихорадочно блестящий глаз.

— Главнокомандующий без армии — как кучер без упряжки. Когда я слышу солдатские песни, я набираюсь сил больше чем от лекарств.

Но вскоре недуг сломил его. Он уже с трудом передвигался. Прусский король прислал своего лейб-медика Гуфеланда. Тот осмотрел фельдмаршала и категорически потребовал, чтобы больной лег в постель.

На этот раз Кутузов подчинился. Главная армия ушла вперед, а он остался в маленьком, тихом городке Бунцлау.

Весь этот день он провел в комнате с наглухо закрытыми окнами, словно не желая бередить себя доносившимся с улицы говором и пением проходивших полков. К вечеру Кутузов появился перед офицерами — как всегда ровный и спокойный, только губы были сжаты плотнее обычного.

Двухэтажный дом с черепичной крышей, в котором поселился фельдмаршал, наполнился людьми. В широкую дверь то и дело входили курьеры: из Главной армии ежедневно прибывали донесения о ходе дел, император по всякому поводу

запрашивал мнение главнокомандующего, немецкие бургомистры слали кляузные жалобы.

Эти последние очень раздражали фельдмаршала. Многие в них при проверке оказывалось досужим вымыслом, но то, что подтверждалось, огорчало и бесило его. Если он узнавал, что какой-нибудь солдат дал повод обвинить его в мародерстве, он приходил в неистовство.

— Не бесславьте в чужой стране имени русского, — кричал он командирам полков.

Вывзав своего любимого адъютанта, юного Николая Ливенцева, фельдмаршал продиктовал ему приказ:

— «Заслужим благодарность иноземных народов и заставим Европу с чувством удивления восклицать...» — Он закашлялся глухим, надрывным кашлем и долго не мог отдышаться. Николай чуть не плача смотрел на него. Наконец, Кутузов справился с припадком и еле слышно закончил, — «Непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных».

Он закрыл глаза и тихо, словно про себя, повторил последние слова.

Адъютант собрал бумаги и поднялся.

— Николенька, — остановил его Кутузов. — А ведь через неделю пасха. Вербы-то здесь достанем? Солдатам к светлому воскресенью баньку надобно...

В дверь постучали: срочный пакет от графа Витгенштейна. Кутузов принял пакет, хмурясь прочитал его и отрывисто сказал:

— Пиши, Николай, еще приказ. Графу Петру Христиановичу. Он, видать, на удочку Бонапартов попался: хочет отступить от Дрездена, дабы прикрыть Берлин. А Бонапарту только того и надобно. Пиши скорее... «Когда неприятель двинется к Дрездену, он предпримет движение одновременно из Магдебурга к Берлину. В этом случае, не обращая никакого внимания на его движение, извольте только помышлять о соединении с Главной нашей армией. Оставя Берлин несколько на воздухе, сможем удержать нашу главную операционную линию. Если же вы отделитесь от Дрездена, враг сможет прорваться здесь через Эльбу и поставить себя в соединение с Варшавским герцогством».

Это был последний приказ Кутузова... На следующий день он уже не мог встать с постели, и Гуфеланд потребовал, чтобы он прервал работу.

— Вы не должны утомляться. Только лежать и принимать лекарства, которые я вам принес. Вы теперь только пациент. Поход будет продолжаться без вас. Примите, прошу вас, этот порошок.

Фельдмаршал послушно проглотил порошок. Но как только Гуфеланд вышел, он велел унести прочь все лекарства.

— Поход будет без меня, — проворчал он. — Ты слышал, Николенька? Что для него поход? Разве слышатся ему в этом слове барабаны и пушки? Александр Македонский провел восемь походов, Ганнибал — семнадцать, Тюренн — восемнадцать... Какую жизнь они прожили, и все величайшее в ней воплощено в походах.

Он вдруг встрепенулся.

— Пиши скорее государю. Пока господин Гуфеланд не воротится...

Он долго диктовал: «Я в отчаянии, что так долго хвораю, и чувствую, что ежедневно более ослабеваю, — закончил он едва слышным голосом. — Я никак не могу ехать, даже в карете. Между тем, надобно стараться, сколько можно поспешнее, сосредоточивать армию за Эльбой».

Он в изнеможении умолк.

Кутузову становилось все хуже. В первый день пасхи он почти не мог поднять головы. Его кормили с ложечки. На обращенные к нему вопросы отвечал неохотно. Моментами затемнялось сознание. Под вечер неожиданно приехал Раевский. Гуфеланд разрешил ему войти, чтобы выяснить, узнает ли его больной. К его изумлению, Кутузов не только узнал Раевского, но явственно произнес:

— Господин доктор! Оставьте же лечить меня, пользуйте лучше его. Он не очень здоров. А он — хороший генерал и отец семейства.

Раевский, смущаясь и краснея, сообщил, что ввиду затяжной болезни Кутузова император назначил ему преемника. На этот пост было пять кандидатов: Барклай-де-Толли, Милорадович, Тормасов, Блюхер и Витгенштейн. Выбор остановился на последнем, хотя он был моложе всех чинами.

Кутузов молча выслушал. В лице его ничто не дрогнуло.

— Ну что же, — проговорил он. — Дай бог... Дай бог...

— Дарования Петра Христиановича ни в каком сравнении с вашими поставлены быть не могут, — все больше смущаясь, сказал Раевский. — Но высокий дух наших войск и всегдашнее их доблестное мужество позволяют надеяться...

— Дух войск значит много, — нетерпеливо перебил его Кутузов, — однако его одного недостаточно. Он дает только толчок, победа же есть результат хорошо использованной материальной силы.

Он умолк и лежал, тяжело дыша. При каждом вздохе в груди у него клокотало.

— Помнишь старую легенду про Ахилла, Николай Николаич? — заговорил он опять. — Ахилл был сыном богини и смертного. Это — образ полководца. К божественной части относятся все то, что вытекает из духа войск, из характера противника, из настроений общества. К земной части относятся укрепления, оружие,

позиции, словом, все, что касается дел материальных.

Гуфеланд, стоя за изголовьем, отчаянно жестикулировал Раевскому, показывая, что больному нельзя вести разговор.

— Может быть и так, — сказал Раевский, наклоня голову в знак того, что понял. — Но я вспоминаю воодушевление, которое вызывало обычно ваше появление, и мне думается, что оно было залогом победы. Даже в прусских городах жители, толпясь перед домами, встречали вас кликами «Vivat der grosse Alte!»¹ А когда вы вернетесь в Россию...

— Ну, там-то еще неизвестно, что будет, — проговорил с тонкой улыбкой Кутузов. — Несть пророк честен в отечестве своем.

Раевский вспомнил, как еще недавно третиновали старого фельдмаршала при дворе, и не нашелся что возразить. Он поспешно сказал:

— В армии повсеместно служат молебствия о вашем здравии, Михаил Илларионович. Солдаты полковых священников пятаками забросали: от себя просят еще помолиться.

Лицо Кутузова просветлело.

— Эти не выдадут. Этим я нужен... Как они, Николай Николаич, сыты ли, веселы?

— Отменно! Успехи наши над неприятелем всех окрыляют.

— Славно! Хорошо! Армия — не монастырь! Веселость солдата ручается за его храбрость.

Гуфеланд нервно сказал:

— Господин генерал! Я не могу разрешить вам дольше находиться здесь. Беседа утомляет князя.

Раевский испуганно поднялся.

— Да, да... Я сейчас... Прощайте, ваша светлость. Полагаю, что получаемые вами из Главной квартиры вести будут и впредь свидетельствовать о нашем продвижении. Если же, паче чаяния, Наполеон предпримет контрнаступление, то вряд ли он в том успеет: наша армия в обороне несокрушима.

Кутузов вдруг приподнялся на локте.

— Не забудьте, генерал, — сказал он неожиданно громким голосом, — что чисто оборонительные сражения выигрываются редко. Наибольшего достигаешь, если в надлежащий момент и в надлежащем месте переходишь от обороны к нападению.

Тирада утомила его. На лбу у него выступили капли пота. Открыв широко рот, точно ловя воздух, он опрокинулся на подушки.

Гуфеланд, стуча скляночками, засуетился возле него.

...Ночь. Голубоватый свет лампадки едва озаряет комнату. Лейб-медик ушел отдохнуть. В углу что-то осторожно пере-

¹ Да здравствует великий старец!

ставляет адъютант. Но вот и он вышел, шагая на цыпочках, плотно прикрыв за собой дверь. Створки двери плохо сходились, и он потратил добрую минуту на то, чтобы бесшумно сомкнуть их.

В продолжение этого времени Кутузов лежал с закрытыми глазами, притворяясь, что спит, но тайне наблюдая за стараниями адъютанта. Ему нравился этот розовощекий юнец, лишь недавно прибывший в армию. Фельдмаршал и взял-то его к себе за пылкую восторженность, за трогательное стремление совершить подвиг. К тому же адъютанта звали Николаем. Уставившись здоровым глазом в потолок, Кутузов думает о том, сколько лет было бы сейчас его единственному сыну, Николаю, если бы неуклюжая кормилица не придавила его насмерть, когда ему было всего один год от роду. Пожалуй, теперь он был бы уже подполковником.

И не довелось ему больше иметь сыновей. Пять дочерей, а сына нет... Некому передать свое имя, свой титул, некого вывести перед полками.

Он долго еще лежит, кряхтя и постанывая, и наконец забывается тяжелым несвежающим сном.

... Шестнадцатого апреля, в девять с половиною часов утра фельдмаршал Кутузов перестал дышать.

5

Известие о смерти Кутузова пришло в Главную квартиру в разгар большого сражения с французами у города Люцена. Император Александр распорядился не оглашать эту весть до конца боя. Фельдмаршал был еще нужен русской армии и был страшен врагам.

На следующий день поступили подробные донесения. Тело князя подверглось вскрытию, и врачи сообщали, что сердце у него было удивительной величины; только у графа Румянцева обнаружили в свое время такое же большое сердце. Болезнь источила и разрушила сильный организм князя.

Генерал Раевский писал, что прусское правительство решило воздвигнуть в Бунцлау обелиск, на котором по-русски и по-немецки будут высечены слова: «До сих мест князь Кутузов-Смоленский довел победоносные Российские войска, но здесь смерть положила предел славным дням его. Он спас Отечество свое и отверз путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память героя».

Удивительное сердце Кутузова похоронили на тихом кладбище неподалеку от Бунцлау. Набальзамированное тело его повезли в Петербург.

Бывший адъютант фельдмаршала Николай Ливенцев был прикомандирован к траурному кортежу. Торжественность це-

ремоний помогала ему легче переносить тоску, с невыразимой силой охватившую его. Она началась с того часа, когда он увидел восковое, застывшее лицо князя.

Когда производили вскрытие, он ушел из дому. Потом тоска перешла в тихую грусть. Ему было легче от сознания, что не его одного поразила смерть фельдмаршала, что неисчислимо множество людей делит его скорбь. Он видел, как по дороге из Бунцлау в Петербург жители городов и деревень выпрягали коней и сами везли колесницу.

В Сергиевой пустыни пришлось задержаться в ожидании решения государя, где похоронить князя. Почти два месяца добирался кортеж до столицы. Двенадцатого июня, ровно через год после вступления французской армии на русскую землю, тело фельдмаршала Кутузова было доставлено в Петербург.

От заставы народ, толпами стоявший на улицах, повез колесницу на себе. Свежий ветер играл тяжелым шелком водруженных на ней французских знамен.

У Каменного моста через речку Таракановку процессию ждали генерал-губернатор Тормасов, митрополит Амвросий, военный министр князь Горчаков, сенаторы и генералы.

На следующий день состоялись похороны.

В Казанском соборе отслужили торжественную панихиду. Гроб помещался на огромном катафалке, имевшем форму арки. С боков, от подножия до самого верха, были устроены ступени и площадки. На них стояли во время литургии чины свиты Кутузова.

В углах этого катафалка, спроектированного художником Воронихиным, были расставлены захваченные французские знамена и штандарты, образовавшие пышный балдахин.

По сторонам громадные канделябры, в виде поставленных вертикально пушек со множеством свеч.

Гроб был поднят на катафалк посредством особого механизма. Таким же образом он был ниспущен, по окончании литургии, для прощального целования. Один за другим подходили прощающиеся.

Ливенцев нес почетный караул на одной из ступенек катафалка.

Бесконечной вереницей идут люди. У многих на глазах слезы. Все улицы перед собором залиты народом. Густые шеренги войск сдерживают напор. Вдоль Невского проспекта стоят полки.

В сознании Ливенцева всплывают строки из стихотворения Озерова:

«Великий человек народам дар небес:
Полезна жизнь его, и смерть, и гробный
камень,
Могущий возродить в сердцах геройский
пламень».

Разве забудется вдохновенная вера великого полководца в русское оружие, его набатный зов к неукротимой борьбе с врагами!

Когда горела Белокаменная, князь отдал в приказе: «Потушите кровью неприятельской пожар Московский». Кто, кроме него, умел так говорить, кому еще была дана эта чудесная власть над сердцами!

... Прощание закончилось. Гроб несут на руках к могиле, устроенной против царских врат придела Антония Печерского.

Троекратный салют сотрясает воздух: стоящие на Невском войска провожают в

последний путь своего победоносного вождя.

Гроб опускают в могилу. Слышатся чьи-то прерывистые рыдания.

Ливенцев выходит из собора на кипящий народом проспект. Кутузова нет, но Кутузов будет... Будет вновь, когда русский народ поднимется на врага.

Быстро идя по улице, Николай невольно повторяет про себя:

«Могущий возродить в сердцах героический пламень»...



СТИХОТВОРЕНИЯ

ВИКТОР УРАН



СВИДАНИЕ НАЗНАЧАЮ

Свидание назначаю в день приезда,
по телефону говорю:

— Привет.

Давай у театрального подъезда,
где, помнишь, разорвала ты билет.
Совсем забыл, в каком это году
мы ссорились, и ты мне говорила:
«Все кончено, я больше не приду,
забудем все, что не было и было»,
и всякое такое... Ну так вот,
сегодня в 20.30 ожидаю.

... И в Исторической библиотеке
ты торопливо собирала книги,
и каждая ступенька посекундно
отсчитывала приближение встречи.
Ты торопилась опоздать.
Ведь надо
подстроить так, чтобы минут пятнадцать
я ожидал тебя,
по крайней мере;
я снова видел, как торжествовал
врожденный и неписанный закон:
мол, опоздание — залог успеха.
Но я был раб назначенного срока,
полдня я героически трудился,
выстирывая подворотничок.

Я одолжил у друга зажигалку,
полсотни отвалил я за «Казбек»
и лишь тогда решил, что все в порядке,
когда меня усердный парикмахер
опрыскивал тройным одеколоном.

Мне вспомнились экзамены.
Однако
я в институте меньше волновался,
какой там ассистент или профессор, —
сегодня я держу перед тобой
зачет по исполнению желанья.
Конспекты чувств загадочно тасую,
ищу конец, в начало попадаю,
хочу в кошмаре этом разобраться
и не могу «то самое» найти.

А ты ко мне подходишь равнодушно,
а ты придумываешь на лице
улыбку, не похожую на правду.
Тревожно протянув тебе билеты,
я говорю:

— Пожалуйста не рви.

И мы идем. Молчим. И я не знаю,
как получилось так, что ты исчезла,
что стала ты, как выдуманный сад.
И я сказал, конспекты перепутав:
— Как жаль, что я поэт, а не садовник.
Ты у меня не приняла зачет.

Я уговаривал твою суровость:
— Прими нелепое долготерпенье,
я гонорары на тебя потрачу,
коммерческую бомбу в шоколаде
купаю тебе.
В моей походной сумке
лежит осколок настоящей бомбы,
как черновик задуманного счастья,
наглядное пособие для поэмы,
которую тебе я подарю...

Мы шли по говорливому бульвару,
над ветками распоряжался ветер,
и почему-то из кино-картины
припомнилась назойливая песня,
где ты декабрь называла маем,
а ветки дирижировали песне,
которая твоею становилась
и шла от сердца до рукопожатия.

Ты не придумывала на лице
улыбку, потому что улыбалась.
У дома твоего остановились.
О, для чего я составлял конспекты
сумбурных чувств, придумывал заглавье
к неполному собранью отношений,
когда сейчас стою в твоём парадном,
когда ищу губами твои губы,
а мама твоя двери приоткрыла
и увидела молодость свою.

Она сказала:

— Заходите, дети.

И в этот миг, присев к своим орудьям,
мои друзья, ребята в гимнастерках,
засеивали щедрыми огнями
кочующие грядки облаков.

А мы стоим у окна.

И вдруг

в стекле, как в негативе, отразился
портрет послевоенного портрета.

Так я пришел, живой и невредимый,
прошедший через бешеные дни.

чтобы с тобой —

понятной и любимой —

мы полчаса остались одни...

Прощай.

Когда тебе расскажет грусть,

что я убит, что я пропал без вести,

ты знай, что в день победы я вернусь

и буду ждать тебя на прежнем месте.

★

АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

...Бегут по трамвайным рельсам
бормочащие ручьи,
и первым футбольным рейсом
в сетку летят мячи.

В тужурке новенькой вышел
ремесленник молодой,
он видит на талой крыше
весну дополам с зимой.
— Простуженный ветер дышит
веселый и озорной.

И там, где словно обновка
открыт тротуар сухой,
девочки скачут ловко,
бегут одна за другой,
и радугой веревка
взлетает над головой.

На солнечной позолоте
автомобильная тень,
дерево на повороте,
как молодой олень.
— Здравствуйте, как живете,
товарищ весенний день?

Совсем налегке, без шапок,
ребята в кино идут,
и небо в пестрых накрапах,
и триста двадцатый салют.
И чисто апрельский запах
цветочницы продают.

Кулесица, непоседа,
счастьем пьяным-пьяна,
клокочет весна Победы,
торжественная весна.

В. И. ЛЕНИН И БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК

(По личным воспоминаниям).

В. БОНЧ-БРУЕВИЧ



В 1905 году, вернувшись из-за границы в Россию, я стал знакомиться с книгохранилищами Петербурга, особенно обращая внимание, имеются ли в них отделы нелегальных книг. В рукописном отделении библиотеки Академии наук я встретил не только внимательное отношение, но прямое сочувствие к делу организации отдела нелегальной литературы со стороны академика А. А. Шахматова, директора рукописного отделения Академии наук. Точно так же отнесся к этому делу и ученый хранитель рукописей и других ценностей рукописного отделения Академии наук В. И. Срезневский.

Конечно, этим отделом пользовались крайне осторожно, так как вездесущая тайная полиция зорко следила за тем, чтобы русские обыватели не могли бередить свои сердца чтением запретного зарубежного свободного слова. Книги отсюда выдавались с величайшей осмотрительностью весьма ограниченному кругу лиц. Для работ приходящим случайным посетителям они не выдавались совершенно, а каталог их не был никому доступен.

Революция 1905 года благоприятствовала расширению отдела. За границей ликвидировались одна за другой революционные и общественные организации. Эмигранты возвращались, и нередко были случаи, что владельцы давно накопленных нелегальных библиотек и архивов передавали их или на хранение, или в полную собственность рукописному отделению библиотеки Академии наук. У меня и моей, теперь уже покойной, жены, Веры Михайловны Величкиной, за девятилетний период нашей эмигрантской жизни накопилась порядочная библиотека нелегальных изданий, которой в Женеве пользовались многие наши товарищи, а также и Владимир Ильич Ленин. Уезжая из Швейцарии, я сложил ее в очень большую корзину и поместил на хранение у П. И. Бирюкова в его «Villa russe», возле Женевы. Кроме того, у меня оставил, уезжая нелегальным в Россию, свой чемодан с книгами один наш старый товарищ, ныне умерший. Этот чемодан я также передал на хранение П. И. Бирюкову.

Осмотревшись в Петербурге, я еще в конце 1905 года совершенно определенно решил не

перевозить этих своих книг к себе на квартиру. Я предложил А. А. Шахматову выслать мою библиотеку из-за границы на имя Академии наук на временное хранение. Шахматов охотно согласился, а Срезневский очень радовался такому ценному, хотя бы временному, пополнению этого отдела. Я написал П. И. Бирюкову и просил отправить всё через транспортную контору, прямо на Академию наук. Через некоторое время пришло уведомление о прибытии груза, и Срезневский отправил своего служащего получить этот груз, дав ему особую уверенность, на основании которой груз, идущий в адрес Академии наук, не подлежал таможенному досмотру.

Через несколько часов приезжает взволнованный посланный и говорит, что книг не выдают, так как агенты охранного отделения настояли на осмотре прибывшего груза, предъявив предписание властей осматривать решительно все без изъятия на предмет обнаружения в изобилии транспортирующегося из-за границы оружия.

— «Ну, какое же, говорю я, — рассказывал он нам, — может быть здесь оружие? У нас все книги да книги... Не тут-то было! Охранник бросился к корзине и стал рыться в книгах, вынимая их и бегло просматривая. Я говорю: «Ведь это не оружие. Чего вы смотрите?» — «А вам какое дело? — отвечает он мне. — Книжечки-то больно того-с...» — «У нас всякие есть. Нам все дозволено держать, потому мы — как есть Академия». — «Знаем, знаем мы... Академия...» — А сам все роется глубже да глубже, до дна добирается. Ничего не нашел. Я стал укладывать все обратно... «Ну, что нашли?», — спрашиваю его, смеясь. Я укладываю корзину, завязываю, думаю, вот сейчас на извозчика, и уеду. Артельщик развязал чемодан. Агент бросился к нему. — «Это что такое? Пожалуйста-с! — победоносно закричал он. — Вот вам и Академия!» — и показывает всем револьвер. Я так и обмер. — «Арестоваты! — кричит. — Не выпускать! Провоз оружия! Протокол! Пожалуйста-с!» — обращается ко мне. «А мне какое дело? Я-то здесь при чем? — говорю я ему. — Я должен доложить по начальству». Ну, вот и приехал...

Что тут делать? Оказалось, что мой товарищ запаковал в свой чемодан вместе с книгами и револьвер. Я же предполагал, что П. И. Бирюков вышлет только корзину без чемодана, а он в свою очередь забыл, что чемодан-то не мой, а оставлен у него на хранение другим лицом, и послал всё. Одним словом, заварилась каша, расхлебывать которую пришлось рукописному отделению Академии наук.

Тотчас же было написано А. А. Шахматовым в таможенное письмо с предложением «револьвер современного образца, как не имеющий никакой научной ценности, оставить в распоряжении таможен, а книги и вообще все печатное и писанное немедленно выдать предвзвешенно сего».

Часа через два, наконец, явился всё тот же служитель и торжественно заявил: «Выдали, а револьвер конфисковали...»

В ближайшее время этот казус не имел последствий, но о нем вспомнил известный охранник Статковский при других обстоятельствах, о которых я расскажу немного дальше.

Отдел нелегальной литературы, таким образом, сразу значительно пополнился. Я отдал туда свою библиотеку на временное хранение. Переговорив с В. И. Срезневским, я снесся со многими революционными организациями, существовавшими в то время в Петербурге и в Москве, и просил их высылать почтой не только все свои издания, но и всё чужое, поступавшее к ним, — прямо в адрес рукописного отделения библиотеки Академии наук. Очень скоро такие посылки и закрытые конверты стали присылать с разных сторон, и наш отдел стал заметно пополняться.

В 1907 году Владимир Ильич, живя уже в Куожале, узнал от меня, что удалось Академии наук организовать отдел нелегальной литературы, издававшейся в то время в России. Он к этому предпринятию отнесся в высшей степени сочувственно; сейчас же позвал Надежду Константиновну и просил ее, при всех сношениях с организациями, обязательно указывать, чтобы все нелегальные издания, выходявшие повсюду, направлялись бы в двух экземплярах, в заказных пакетах, в адрес рукописного отделения библиотеки Академии наук. Он сам отобрал все, что у него было под руками, и передал мне как свой вклад в этот отдел.

— Итак, — сказал он, — вы здесь, в Петербурге, продолжаете то же дело библиотеки и архива, которое у нас было поставлено в Женеве. Это прекрасно! Наступит время, — прибавил он, — когда необходимо будет развернуть это дело самым широчайшим образом. Нужно будет организовать большой архив библиотеки и музея, где будет собрана вся нелегальная пресса как подпольная, так и заграничная, а также и все другое, что касается нашей художественной литературы, критики, публицистики, истории, истории революционных движений и истории нашей партии в частности и в особенности. Все это нам совершенно необходимо.

И дело закипало. Через некоторое время Владимиру Ильичу пришлось уехать за границу, во вторую эмиграцию. И удивительней всего то,

что и там он не забыл про свое обещание помогать нелегальному отделу рукописного отделения библиотеки Академии наук. Уже из Финляндии, а потом и из Швейцарии, а через некоторое время и из других мест Европы в Академию наук стали приходить пакеты и заказные письма с вложением всевозможных русских изданий. Их высылал нам для нашего отдела или сам Владимир Ильич, или те многочисленные товарищи, которым он дал знать по всем западноевропейским городам и организациям нашей партии. Однажды с Капри пришли очень большие посылки, в которых А. М. Горький прислал нам нелегальную литературу, у него накопившуюся, а из Берлина Ив. Павла. Ладыжников стал присылать все свои издания, и таким образом отдел нелегальной литературы при рукописном отделении библиотеки Академии наук все рос и расширялся и уже представлял из себя большую литературно-историческую ценность.

Надо знать, что и за предыдущие эпохи, начиная с 40-х годов, там тоже постепенно собиралась литература этого сорта, при чем предыдущие библиотекари, скрывая от зорких взглядов политической полиции эти издания, переплетали их в очень толстые книги, надписывая на корешках слово «Разнь», что означало: «разное», а под этим «разным» можно было видеть всевозможные издания Герцена, Долгорукова, Головина, Нечаева, землевольцев, Ткачева, Лаврова, впередовцев, народольцев, Эльпидина, Каспровича, лондонского литературного фонда и многих других.

Рукописное отделение Академии наук мне выдало особую коробку, на которой была вытеснена надпись: «Первое отделение И. А. Наук», а внутри была вложена особая бумага, в которой говорилось, что все содержимое этой коробки составляет собственность Академии наук. Так как, начиная с 1906 года, я вновь подвергался бесконечному количеству обысков и многократным арестам, то эта коробка сослужила мне огромную службу: все находившееся у меня нелегальное я хранил в ней, и, когда агенты охранного отделения с жадностью набрасывались на нее, я тотчас же предъявлял охранную грамоту Академии наук и требовал составления тщательного перечня всего в ней находящегося. Завязывали коробку, запечатывали ее сургучными печатями и увозили, а мои домашние тотчас же уведомляли на другой день А. А. Шахматова и Срезневского о случившемся. Сейчас же в охранное отделение писалась соответствующая бумага, и сокровенная коробка препровождалась в рукописное отделение Академии наук. Весь отобранный у меня и хранившийся в ней нелегальный материал, всегда являвшийся наибольшим доказательством виновности арестовываемого, таким образом выпадал из следствия.

Целый ряд лиц стал помогать делу организации нелегального отдела, принося в него все, что только было возможно найти и получить в Петербурге. Некоторые вклады были особенно ценны, а участие Шахматова и Срезневского в деле спасения от цепких лап охранного отделе-

ния ценнейших революционных архивов не должно быть забыто.

Спасение этих документов было сопряжено иногда с большим риском и прямой помощью нашему движению. Я расскажу здесь о двух особо разительных случаях.

Латышская с.-д. организация сообщила, что разгул реакции в Латвии достиг такого размаха, что становится крайне трудным сохранять замечательный архив партии, где собрано было решительно все, касающееся с.-д. организации и рабочего движения в Латвии, начиная с самых первых прокламаций.

Было предложено упаковать его в два ящика и сдать по железной дороге на Петербург на предьявителя. Латышские товарищи вывезли незаметно архив из места его хранения на вокзал. Время было тогда трудное. Правительственный террор господствовал, всюду шныряли шпионы. Когда пришел дубликат накладной, было поставлено наблюдение за прибывавшими грузами на товарной станции, дабы незамедлительно взять эти ящики и тем самым не дать возможность приглядеться к ним шпионам и охранникам. В это же время я отправился к В. И. Срезневскому и рассказал ему, что есть возможность получить весь архив латышей. В. И. Срезневский сейчас же согласился взять его в Академию под полным секретом, и я передал ему дубликат накладной на хранение. Наконец наступило время прибытия груза. Я тотчас же дал знать В. И. Срезневскому, что надо немедленно посылать за грузом. На дубликате накладной были сделаны надписи и поставлены печати Академии, и служитель отправился получать.

Ящики благополучно были получены. Оказалось, что латыши, чтобы не возбуждать подозрения тяжестью посылки при малом объеме, — печатная бумага всегда тяжела, — упаковали архив в спичечные ящики, искусно расположив бумаги и книжки по их стенкам и укрепив их вторыми доньями. Внутри ящики были пусты, почему по весу своему вполне соответствовали ящикам со спичками. Отправили их именно как спички.

В жизни всегда бывают курьезы: что было в высшей степени полезно при сдаче груза, то оказалось вредным при получении, потому что при малейшем наблюдении за грузом, несомненно, было бы очень подозрительным получение рукописным отделением Академии наук... трех ящиков со спичками. Но, конечно, все хорошо, что хорошо кончается, и как бы там ни было, а архив латышской с.-д. партии находился в наших руках, он был спасен. Архив пробыл в Академии более пятнадцати лет и через два года после Октябрьской революции был передан латышской коммунистической партии.

Когда военная организация нашей партии была очень сильно разрушена жандармами и был создан большой процесс в военном-окружном суде (дело Чужака и др.), прежде всего пришлось позаботиться об остатках литературы этой организации. После того, когда мы думали, что все закончено, вдруг нам стало известно, что еще идет два места с литературой, где, между прочим,

было подобрано много одиночных экземпляров военной литературы, которая предназначалась к передаче для отдела нелегальных книг библиотеки Академии наук. Мы получили багажную квитанцию. Удалось установить, что обыкновенные чемоданы, пришедшие по Царскосельской дороге, не обратили на себя никакого внимания станционной жандармерии. Их благополучно переправили с посыльным на финляндский вокзал и сдали там на хранение.

Я решил сообщить об этом В. И. Срезневскому и тотчас же по получении от него ответа, что все это крайне желательно получить для Академии, передал ему квитанцию на хранение багажа и просил взять его немедленно. Сейчас же был отправлен служитель — знаменитый Илья — на Финляндский вокзал. Я ушел из Академии и бросился на вокзал, чтобы следить за получением этого груза, так как провал здесь мог очень серьезно отразиться на деятелях рукописного отделения библиотеки Академии наук.

Я взял билет до ст. Шувалово и все время вертелся около окна выдачи багажа, оставленного на сохранение пассажирами. Минуты казались часами. Наконец, показался служитель из Академии в своей характерной форме, с зеленым околышем на фуражке и таким же воротником. Он деловито подошел к окошечку, подал квитанцию, ему быстро вынесли два чемодана. Он тщательно и не спеша осматрел их, пощупал замки, заплатил за хранение, осанисто крикнул, поднял оба чемодана и не спеша пошел к выходу. На площадке выхода он поставил их и окрикнул подымавшего извозчика: «На Васильевский — в Академию, к Дворцовому мосту...» Извозчик заломил большую цену. «Что ты, что ты! — заговорил служитель и замахал руками на извозчика. — Аль очумел! Любую половину...» Извозчик стал сбавлять. Служитель двинулся к другому; видя конкурента, извозчик не выдержал и закричал: «Пожалуйте!».

Не спеша, идя в развалочку, служитель Академии, поворочав на извозчика, подхватил чемоданы, один поместил в ноги извозчика, другой взял к себе и, еще сердясь, отрывисто сказал: «Да поезжай скорее!»

Через несколько времени чемоданы были доставлены в Академию наук. Я тоже уехал в Академию. Мы тотчас же распаковали чемоданы, в которых оказалось, помимо коллекции изданий этой организации, большое количество нелегальной газеты «Казарма». Мы разместили этот транспорт литературы по самым отдаленным шкафам, заложив их всякими древними рукописями. Долгое время я на себе выносил эту литературу, регулярно бывая в рукописном отделении Академии наук, и распространял — под самым носом жандармов — через нашу организацию, эту крамольную газету, как раз в то время, когда охранное отделение бесновалось, вылавливая всех, кто только мало-мальски был причастен к этой нашей военной организации.

За В. И. Срезневским стали посслеживать, и, наконец, настал тяжелый день, когда вдруг на квартиру В. И. Срезневского нагрянули агенты охранки, во главе с самим знаменитым Стат-

ковским, который являлся только на обыски по особо важным делам, и произвели самый тщательный обыск.

Перевернув решительно все на квартире, — а здесь была громадная научная лаборатория, — этот негодяй отправился в Академию наук и произвел обыск рабочих столов, где постоянно и давно работал Всеволод Измайлович.

— Собираете нелегальную литературу всех эпох, — зло говорил этот заматерелый черносотенец, — почтенное занятие! Но позволяете любопытствовать, почему вы это делаете не прямым путем: обратились бы к нам, мы этой престели воруха вам доставили бы, а вы вот коробочки стали раздавать академические. Экстерриториальность в частных квартирах создаете, к вам бегут представители партий... Для чего все это? — И он проворно и ловко, обнаруживающий большой опыт, шарил и шарил по всем закоулкам огромного стола.

Статковский рвал и метал, что вот он, разорявший и уничтожавший целые революционные организации, стоит вот тут, рядом с тем, кто осуществлял всю свою жизнь одно из культурнейших дел, что вот он дошел уже до него, как бандит ворвался к нему в дом, шарит у него в столе на месте службы, а взять за горло не может — оказались руки коротки. И он, шипя, остря и легонько издеваясь, должен был ретироваться, должен был уйти из академического помещения, уйти ни с чем, с затаенной злобой на этот храм науки и его служителей.

Пришел Шахматов. Узнал об обыске, немного переполошился, но быстро успокоился, стал советовать, не нужно ли принять меры, чтобы отвести слежку охранного отделения. Поговорили. Решили не трогать. И дело быстро заглохло без всяких последствий для Академии наук и для В. И. Срезневского. Я понял, что до охраны докатились какие-то сведения, что где-то что-то просачивается, что надо быть осторожнее. Но дело было уже заведено, и нелегальный отдел рукописного отделения все более и более пополнялся. В. И. Срезневский был озачлен его систематизацией, описанием, пополнением, и благодаря его неусыпным трудам и этот отдел рукописного отделения Академии наук стал на должную высоту, и им всегда широко пользовались исследователи и историки.

Когда Владимир Ильич вернулся из своей эмиграции после Февральской революции, то, расспрашивая меня о всевозможных сторонах литературной деятельности в Петербурге, он вспомнил о нелегальном отделе рукописного отделения библиотеки Академии наук. Подробно стал меня расспрашивать о нем, а также весьма интересовался, доходили ли пакеты из-за границы в Академию и в каком виде: были ли они вскрыты или запечатаны, как все письма. Я все подробно ему рассказал, и он настолько был всем заинтересован, что в один из дней поехал в рукописное отделение библиотеки Академии наук, где познакомился с Всеволодом Измайловичем Срезневским — хранителем этого отделения. Пробыв там более двух часов, Владимир Ильич очень интересовался самим этим отделом, который ему был широко показан,

а также вообще обратил пристальное внимание на самое рукописное отделение. Он особенно заинтересовался иллюстрациями в уникальных книгах, при чем уделил особое внимание великолепному исполнению миниатюр, заставок первых букв и иллюстраций, нарисованных тончайшей акварелью. Тут же он осматрел газетный и журнальный отделы, которые просто пленили его внимание. Он быстро осматривал бесконечные ряды полок и все время повторял: «Какое огромное богатство, и как это все нужно!» Поблагодарив Всеволода Измайловича за то, что он все ему показал, Владимир Ильич извинился за отнятое время и тут же спросил, возможно ли будет ему приезжать работать в этом отделении.

Особое внимание Владимира Ильича привлекла отдельная комната, в которую мы стали свозить всевозможные документы во время Февральской революции из участков, жандармского Управления, Охранного отделения, Департамента полиции. Дело в том, что чиновники всех этих учреждений, поняв, что революция идет все более и более нарастающими темпами, стали уничтожать свои архивы, при чем сами возбуждали толпу к разгрому всех этих учреждений. Толпа стала выносить всевозможные документы, материалы, книги с записями на улицы, складывала в кучи и поджигала. Я в это время работал в «Известиях Совета Рабочих Депутатов» и находился на Литовке в помещении газеты «Копейка», где была редакция «Известий». Покойный П. Е. Щеголев позвонил мне по телефону и сообщил, что толпа громит полицейские архивы и уничтожает их. Он спрашивал меня, что делать, чтобы спасти их.

Я сказал ему, что тотчас же вышло ему орудие преображенцев и что прошу его тотчас же организовать группу лиц, которые бы разъясняли толпе значение этих архивов для революции, тушили бы костры, спасали бы документы. Все это — рекомендовал я — надо грузить на извозчиков или в проезжие автомобили и немедленно увозить в рукописное отделение библиотеки Академии наук. В то же время я снесся по телефону с В. И. Срезневским, прося его отделить в рукописном отделении хорошо закрываемое помещение, и сказал, что я направил к нему много документов, которые ему сейчас начнут привозить. Всеволод Измайлович в высшей степени хорошо к этому отнесся, сейчас же организовал группу из своих служащих, которые были приготовлены для встречи всего привозимого. И действительно, через некоторое время Щеголев мне сообщил по телефону, что преображенцы, вместе с рабочими комиссарами, которых я выслаал, очень быстро явились к Департаменту полиции, немедленно оцепили материалы, которые уже были вытасканы на улицу, и тут же, остановив несколько автомобилей, нагрузили их материалами, и под военной охраной все это было направлено в Академию наук. Щеголев и те, кто были с ним, а также рабочие комиссары, которых я выслаал вместе с преображенцами, подробно объясняли толпе значение этих материалов, говорили, что их надо тщательно сохранить для истории и что через них

мы узнаем о проделках политической полиции и обнаружим ее агентов и шпионов. Толпа тотчас все это поняла и стала помогать грузить автомобили. То же самое было проделано и перед другими учреждениями политической и обыкновенной полиции.

В рукописное отделение Академии наук, таким образом, было свезено огромное количество всевозможных документов и материалов, при чем некоторые из них имели обуглившиеся края, некоторые были подмочены, некоторые пропахли бензином. В. И. Срезневский составлял всем этим материалам беглую привычную опись и со своими служащими тщательно

переносил их в особое помещение, где они долгое время и сохранялись, представляя величайшую историческую ценность.

Очень важно вспомнить обо всем этом именно теперь, в год всенародного торжества по случаю двухсотдвадцатилетия Всесоюзной Академии наук, так как я думаю, что и современные деятели, и будущие работники нашей исторической науки с благодарностью отметят эту полезную и рискованную в высшей степени работу рукописного отделения библиотеки Академии наук и ее славных передовых деятелей — академика А. А. Шахматова и В. И. Срезневского.

РОМАНТИКА МУЖЕСТВА

(В. Каверин «Два капитана»)

Б. СОЛОВЬЕВ



Действие романа В. Каверина «Два капитана» начинается до Февральской революции 1917 года, а заканчивается в годы Отечественной войны — таков масштаб этого обширного произведения. В ходе развития большие пласты самого разнообразного материала (бытового, психологического, научно-познавательного и т. п.) смело подчинены очень своеобразному и напряженному сюжету.

Роман Каверина не только удовлетворяет интересы широкого читателя. Сейчас, когда с особой остротой возникла потребность в литературе героики и романтики, приключений и путешествий, в литературе научно-фантастической, в литературе, которая сочетала бы художественную высоту с элементами познавательного и воспитательного характера, — роман В. Каверина занимает особое место. Несомненно, что в разрешении задач, стоящих перед литературой такого жанра, положительный опыт этого повествования должен быть использован нашими литераторами. Также необходимо учесть пороки и ошибки этого произведения. — одного из первых в нашей советской литературе, в котором определяющие сюжетное движение мотивы приключенческого и детективного характера разработаны на высоком художественном уровне.

... В провинциальном городе Энске в бедной семье грузчика растет мальчик Саня Григорьев, любящий помечтать о необычайных вещах. На его глазах происходит преступление — какой-то бродяга убивает сторожа. Улики говорят против отца Сани, потому что возле труп сторожа найден нож, оброненный мальчиком. А сам Саня ничего не может рассказать о том, что видел на мосту, где убили сторожа: он еще не умеет говорить. Мальчик становится невольным виновником несчастий, обрушивающихся на его семью; и без того трудная жизнь становится нестерпимо бедной и унижительной. Саня вместе со своим приятелем, Петькой Сквородниковым, решает бежать из Энска в Ташкент, где, как им кажется, сосредоточены все чудеса жизни. Мальчики покидают родной город, попадают в Москву, и здесь начинается цепь приключений, приводящих к тому, что много лет спустя летчик-североморец, капитан Григорьев, уже в

дни Отечественной войны отыскивает следы давно исчезнувшей экспедиции капитана Татаринова. Этот капитан около 30 лет назад предпринял отважное путешествие в Арктику и сделал замечательные открытия, существенные в деле освоения безжизненных и бескрайних просторов Заполярья.

Экспедиция была заранее обречена на провал в силу равнодушия царского правительства, а также преступной деятельности людей, снаряжавших ее и видевших в ней только средство для личной наживы. Всё это, казалось бы, «старая история», но «старые истории долго живут», как говорит потом Саня Григорьев. Именно эта «старая история» рассказывается на страницах книги и придает ей увлекательность.

На фоне жизнеописания человека нашего времени, сначала ученика, а потом летчика советской авиации, капитана Григорьева, эта «старая история» занимает как бы второй план, а затем всё более властно захватывает внимание и воображение читателя. Перед ним проходит жизнь и гибель капитана Татаринова, одного из тех отважных людей, открытия и исследования которых являются славой русской науки. Эта история, подобно чистому подземному роднику, то сверкнет порой перед нашими глазами, то надолго скроется в потайные глубины. Но живое присутствие этого родника, его биение мы чувствуем постоянно и неизменно; на страницы книги ложится тень подлинного героя, являющегося воплощением беспредельного мужества, бескорыстной преданности науке, отваги, готовности пожертвовать всем ради блага и процветания России. Так легендарный образ капитана Татаринова становится нашим спутником, и его незримое присутствие придает особое значение всему, что происходит на страницах повествования. Он становится мерой благородства, мужества и поведения персонажей романа. Он является воплощением той клятвы, которую дали друг другу отважные мальчики Саня и Петя: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Вдохновляющий образ капитана Татаринова вызывает у Сани Григорьева стремление тоже совершить нечто героическое, нечто такое, что

потребуется всего его мужества, всей выдержки, всей воли, — и этим подвигом для Сани впоследствии становятся поиски экспедиции капитана Татаринова, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах, среди вечных льдов за Северным полярным кругом.

Много лет пройдет прежде, чем юноша осуществит клятву, много он потерпит испытаний. Уже зрелым летчиком, в разгаре ожесточенных боев с немецкими захватчиками, удастся ему найти останки давно пропавшей экспедиции, научное значение которой сохранилось и поныне: «Так, на основании изучения дрейфа, известный полярник профессор М. предположил существование неизвестного острова между 78-й и 80-й параллелями, и этот остров был открыт в 1935 году — именно там, где М. определил это место. Постоянный дрейф, установленный Нансеном, был подтвержден путешествием капитана Татаринова, а формулы сравнительного движения льда и ветра представляют собой огромный вклад в русскую науку».

Капитан Григорьев делает доклад о найденной им экспедиции в Географическом обществе, знакомит собравшихся с документами экспедиции. Он проявил фотопленки, пролежавшие в земле около 30 лет. И вот в зале гаснет свет, на экране появляется высокий человек в меховой шапке, в меховых сапогах, перетянутых под коленями ремешками.

«Он стоял, упрямо склонив голову, опершись на ружье, и мертвый медведь, сложив лапы, как котенок, лежал у его ног. Он как будто вошел в этот зал — сильная, бесстрашная душа, которой было нужно так мало!»

Присутствующие встают, когда изображение капитана Татаринова появляется на экране. В торжественной тишине капитан Григорьев, столько упорства вложивший в поиски экспедиции, читает прощальное письмо капитана Татаринова:

«...Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то, что помогали, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение — что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли...»

Эта глава — кульминационный пункт романа. В ней происходит разоблачение человека, в лице которого воплотилась мрачная сила, предопределившая трагический исход экспедиции; происходит окончательное разоблачение человека, в котором воплотились мерзость, подлость, трусость и преступность, лицемерие и ложь хищного стяжателя. Это ему в давние времена было поручено снаряжение экспедиции, и это он предопределил гибель экспедиции, снабдив ее никуда не годным снаряжением. Это о нем говорит капитан Татаринов в своем предсмертном письме: «Можно смело сказать, что всеми неудачами мы обязаны только ему... Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ожидали такого удара...»

Капитан Татаринов погиб, а тот, кто довел его до гибели, его брат, Николай Антонович Татаринов, жив и не только жив, но лицемерно утверждает в своих статьях, что всегда был благодетелем капитана Татаринова, что даже сама

мысль «пройти по стопам Норденшельда» принадлежит ему. Пропавшего капитана Татаринова он называет «любимым братом», которому «пожертвовал всем» — «не только всем своим достоянием, но, можно сказать, и самой жизнью».

Во многом сюжет романа «Два капитана» определяется борьбой Сани Григорьева с этим человеком, длящейся на протяжении ряда лет. Его противник ловок, хитер, лжив, лицемерен и так хорошо носит маску благородного человека, что близкие люди верят ему больше, чем Сане Григорьеву, которого считают взбалмошным мальчишкой. Действительно, Саня мальчишкой начал эту борьбу, но в этой борьбе возмужал, стал сильным, зрелым и непобедимым.

А неудач и несчастий у него было много — человек, для которого раскрытие истины было равносильно моральному уничтожению, этот человек шел на любое преступление, наносил коварные удары в спину — только бы смести со своей дороги такого бесстрашного и беспощадного противника, каким оказался Саня.

Эта борьба, являющаяся сюжетным стержнем романа, идет с переменным успехом: то, кажется, Григорьеву окончательно удалось разъяснить все обстоятельства гибели капитана Татаринова, то всё снова остается попрежнему, и Григорьев на годы оказывается отброшенным от разрешения своей задачи, а его вероломный противник временно торжествует победу.

Борьба осложнена мотивами личного характера: Николай Антонович Татаринов, спекулирующий памятью своего брата и делающий благодаря этому карьеру, хочет жениться на вдове погибшего капитана, а его верный пособник — Ромашев, выполняющий его гнусные замыслы и сам ненавидящий Григорьева, своего соученика и соперника, влюблен в невесту, а потом и в жену Сани — Катю Татаринову, дочь погибшего капитана. Заявляется трудно распутываемый узел судеб.

Роман живет сложной жизнью, ибо за героями, действующими у нас на глазах, возникает другой, «дальный план», определяющий характер их взаимоотношений, повороты их биографии. Благодаря обширной и влекущей перспективе этого «дального плана», связанного с легендарной фигурой капитана Татаринова, все то, что происходит на «первом плане», наполняется особым смыслом, озаряется особым ответом.

Это взаимопроникновение двух планов, их неразрывная связь, смещение времен, показанных как бы на изломе, в разрезе, при чем одно резко выделяется на фоне другого, придает особую остроту многим мотивам романа. Разве не показательна судьба капитана Татаринова, в образе которого мы угадываем и Седова, и других славных русских исследователей-полярников, чьи замечательные открытия встретили равнодушное отношение царского правительства, ничего не сделавшего для спасения экспедиции?

А ныне вся страна следит за судьбой людей, предпринявших отважные путешествия и делающих замечательные исследования. Родина приходит им на помощь, если это оказывается нужным; весь народ, затаив дыхание, ловит известия о них; честь, слава и всенародное признание

достаются им, а также и людям, которые обещивают их благополучное возвращение из дальних экспедиций. У всех на памяти судьба и подвиги челюскинцев, папанинцев, участников дрейфа «Седова». Дела этих людей вдохновляют на подвиги нашу молодежь, вызывают жажду идти вслед за отважными пионерами-исследователями земли и морей.

Это смещение времен, — переход от ближнего плана к дальнему, уходящему в глубь десятилетий, и обратный переход, — воспринимается не как надуманный и не обязательный для романа прием, а как органическое свойство сюжета. Конечное внутреннее единство романа, слагающегося из разнородного, разделенного большими отрезками времени материала, определяется тем, что для Сани Григорьева история экспедиции капитана Татаринова — не мертвый капитал, а живое наследие. В результате подвига его жизни — удачных поисков экспедиции капитана Татаринова — оно становится достоянием всего нашего народа.

Ведя основной сюжет пересекающимися планами, автор добивается того, что внимание читателя держится в напряжении; все время мы испытываем предожидание, что когда-то должны совпасть все линии, все планы романа. — в какой-то кульминационной точке. Стремящиеся к развязке течение романа в то же время и отодвигает ее — на пути к окончательному раскрытию тайны возникают все новые и новые препятствия, для преодоления которых требуются новые и новые усилия. Окончательное разрешение судеб персонажей романа отходит на годы, но вот, наконец, пространственный роман завершается апофеозом — докладом Сани Григорьева в Географическом обществе.

В. Каверин в «Двух капитанах» обнаружил себя подлинным мастером сюжета. Очень трудно создать из такого разнородного материала единое, цельное повествование со своеобразной, напряженной фабулой. Казалось бы, весьма громоздкий бытовой и психологический материал, введенный в роман, свободно подчиняется сюжету. Но за мелкими бытовыми деталями нет-нет да и сверкнут совсем иные перспективы. Значение странных событий и непонятных совпадений только позже озаряется ясным светом. Но с первых же страниц романа накрепко связывается судьба мальчика Сани Григорьева с судьбой капитана Татаринова. Повествование начинается с того, что полая вода приносит в один из дворов города Энска сумку, туго набитую письмами, и среди этих писем находится и письмо штурмана дальнего плавания Климова, участника экспедиции капитана Татаринова, отправившегося на шхуне «Св. Мария».

Так Саня Григорьев впервые приобщается к тайне, которую, по стечению удивительных и необычайных обстоятельств, а также неизменного упорства, ему впоследствии удастся полностью раскрыть. Так завязывается узел отношений, которых хватило на долгие десятилетия. Не даром этот мальчик навсегда запомнил письмо, написанное твердым, прямым почерком и вложенное в толстый пожелтевший конверт; не даром с детских лет Саня затвердил слова —

пусть наивные, отзывающиеся старыми приключенческими книгами, но в то же время живые, напоенные его верой в них: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

В романе обстоятельно показывается, как формируется характер Сани Григорьева; мы видим мальчика, которого трудная жизнь заставляла много размышлять; мы видим, как он попадает в Москву, становится беспризорником, потом оказывается в детском доме, учится в советской школе — и при всех обстоятельствах хранит верность своей клятве. Он ссорится с людьми типа Ромашева, ябедника и себялюбца. Он входит в круг семьи погибшего капитана Татаринова — Николай Антонович является директором школы, куда Саню направили. Саня влюбляется в дочку капитана Татаринова, Катю, отважную девушку со вздернутым носом — фамильная черта этой семьи; он раскрывает подлинное лицо Николая Антоновича, который подчинил своему влиянию вдову Татаринова и всячески использует имя покойного брата. В романе много эпизодов, показывающих, при каких сложных обстоятельствах формируется характер Сани Григорьева, как трудно ему порою выполнять свою клятву. — и все же он продолжает бороться и искать.

Цель его жизни — стать летчиком. Саня делает доклады в школе, он охвачен жаждой деятельности; великая эпоха открывает перед ним, недавним беспризорником, огромные перспективы; все захватывает его — эпопея челюскинцев, полеты в стратосферу, подвиги Чкалова. Он знает все международные рекорды на высоту, на продолжительность, на дальность полета. Много раз перечитывает он книгу Амундсена «Южный полюс». Он читает с восторгом, вдохновением, юношеские мечты поднимают бурю в его душе.

Так воспитывается его характер — для подвига, для больших дел. Он вырезает из газет заметки о первых полетах на север, мечтает добраться на самолете до Северного полюса. Мечты не остаются бесплодными, — не даром в одном из правил, которые он считает обязательными для себя, значится: «Что решено — исполни», а самое неизменное его решение — стать летчиком. И вот он изучает «Теорию самолетостроения», хотя «ох, что это была за мука!»

Каждый день он разбирает свой воображаемый самолет, изучает его мотор, винт, оборудует его новейшими приборами и не знает только одного — как на нем летать. И только одно мучает Саню Григорьева. — а вдруг его не примут в летную школу?!

Мы видим, что мечта, захватившая Саню, вызывает его внутренних рост, возмужание, она словно возвышает его над самим собой, мечта, претворяемая в дело. В этом — основное значение первых частей романа.

Стремление стать летчиком неразрывно связывается с другим стремлением, вызванным письмом штурмана со шхуны «Св. Мария», случайно занесенным половодом в один из дворов города Энска, стремлением к северу, все больше и больше персонифицирующимся для Сани в образе капитана Татаринова.

Саня, еще не знающий, что ключи от тайны гибели капитана Татаринова находятся в его руках, что ему придется сыграть решающую роль в раскрытии истории гибели экспедиции Татаринова, на первых порах просто увлечен благородным обликом отца Катя. Саня находит письма и заметки, в которых запечатлены великие замыслы капитана; он находит в письмах сведения о замечательных открытиях капитана. И в этих же письмах находит обвинительный материал против того человека, который был непосредственным виновником гибели экспедиции.

Саня делает открытия, необычайно важные не только для истории исследований Арктики, но и для судьбы окружающих его людей, с которыми он связан сложными и разнообразными отношениями. Смело и открыто Саня Григорьев называет имя виновника гибели экспедиции, Николая Антоновича Татаринова, сумевшего убедить вдову капитана в том, что только он любил и понимал ее покойного мужа. После разоблачений, сделанных Саней, вдова погибшего капитана кончает жизнь самоубийством...

Все складывается против Сани Григорьева. Любимая девушка отворачивается от Сани, считая его виновником смерти своей матери, ибо, как уверил ее дядя, тот Николай, который упомянут в письме капитана Татаринова, совсем другой Николай, а не он, не Николай Антонович. Обвинение вызвано чудовищным и глупым недоразумением. Так уверяет Николай Антонович.

Над Саней тяготеет обвинение в том, что он клеветник, инсинуации которого довели до самоубийства мать его любимой девушки. Враги хитры и беспощадны, они стремятся уничтожить человека, который мужественно и неуклонно добивается до истины.

От Сани отшатнулись люди, самые любимые и дорогие. Но и это не согнуло его. Действенная вера в свою правоту заставляет его искать и находить неопровержимые доказательства этой правоты. Он не сдается.

В минуты величайшего унижения, когда Саня подвергается тяжким оскорблениям, он находит в себе силы сказать в лицо Николаю Антоновичу:

— Я найду экспедицию, я не верю, что она исчезла бесследно, и тогда посмотрим, кто из нас прав.

Это не пустые слова. Покинутый людьми, которых любил, с ожесточением набрасывается он на книги, с энергией занимается гимнастикой — только бы попасть в летную школу, ибо мечта о том, чтобы найти экспедицию Татаринова, сочетается со старыми мечтами — стать летчиком.

Он поступает в летную школу. Идут годы, кончается юность.

Несмотря на страшные рассказы о севере, об арктических метелях, о бесконечных полугодовых ночах за полярным кругом, о полетах в пургу, когда не видишь даже крыльев своей машины, о нестерпимых морозах, — Саня решает избрать профессию полярного летчика. Да, на севере будет много испытаний, но, — думает Са-

ня Григорьев, — «разве испугались этих трудов и опасностей сибиряковцы, которые под парусами вывели потерявший винт ледокол к Берингову морю?» А Саня хочет идти по пути отважных, он хочет внести свой вклад в изучение родной страны и в то дело, которое считает для себя священной обязанностью.

Он добивается перевода на север и там находит часть останков погибшей экспедиции.

Еще неизвестно, что произошло с самим капитаном Татариновым, но Саня уже определенно выяснил: капитан оставил дрейфующий корабль, достиг Северной земли; уже с точностью до полградуса можно определить район поисков экспедиции, а научное значение этой задачи не вызывает сомнений.

Но и враги не дремлют; пока Саня был на севере, Ромашев (по своей функции в романе напоминающий Урию Гипа из «Давида Коперфильда» Диккенса) уже успел оплести своими сетями Николая Антоновича, которого шантажирует (Ромашеву стали известны некоторые обстоятельства гибели экспедиции Татаринова). Николай Антонович приобрел репутацию крупного ученого — знатока Заполярья. В результате его интриг предполагаемый доклад Сани в Географическом обществе сначала не состоялся. В газете появилась статья, превозносящая «заслуги» Николая Антоновича и порочащая летчика Григорьева. Враги рассчитывают, что Саня испугается, отступит.

Но он идет решительно, прямо. Сила его нравственной правоты так ясна, что ему удается вырвать Катю Татаринову из-под влияния подлого, лицемерного и жалкого человека. Она навсегда покидает дом, под кровом которого провела много лет вместе с Николаем Антоновичем и становится женой Сани Григорьева...

В романе впрямую ничего не сказано о нравственности, о морали, но он нравственен в том смысле, какой придает этому вопросу Белинский в своей рецензии на роман Поля де Кока «Сын моей жены»:

«В чем должна состоять нравственность? — спрашивает Белинский и отвечает: — В твердом, глубоком убеждении, в пламенной непоколебимой вере в достоинство человека, в его высокое назначение... Эта вера есть источник всех человеческих добродетелей, всех действий».

Да, таковы герои романа В. Каверина — капитан Татаринов и капитан Григорьев, взаимная связь которых, по замыслу автора, является как бы живым воплощением преемственности двух культур: всего лучшего, что мы получили от прошлого, и того, что связано с эпохой строительства социализма, с эпохой замечательных дел, открывающих новую страницу в истории мира. Эти герои наделены пламенной, непоколебимой верой в достоинство человека, в его высокое назначение; ничто не в силах сломить эту веру, являющуюся источником всех их действий, — и именно поэтому роман В. Каверина нужно отнести к литературе нравственной, к литературе, тесно связанной с утверждением начал морали. Своего читателя, особенно молодого, он будет воспитывать в духе надлежащего понимания нравственности.

Таковы основные положительные качества романа, заставляющие признать его ценным вкладом в нашу литературу. Но эта положительная оценка отнюдь не может исчерпать критики романа; его пороки и значительные недостатки нуждаются в существенном разборе.

Мы выделили основную сюжетную линию романа, и эта линия удачна, что и предопределяет интерес и значение романа. Но автор не довел до конца многие другие линии; начав роман с интересных психологических характеристик, с показа персонажей изнутри, в процессе становления, духовного обогащения, он потом отказывается от этого плодотворного метода. Большие ожидания, связанные с его персонажами, в большей степени оказываются неоправданными. Многие лица, по мере их созревания, наглухо замыкаются в себе. Их внутренний мир становится бедным и тусклым, и особенно эти пороки сказываются во втором, заключительном томе романа, когда герои являются перед нами уже вполне зрелыми людьми. По мере развития романа герои странным образом обесцвечиваются.

Даже такой важный мотив, как поиски шхуны «Св. Мария» и ее экипажа, начинает выполнять противоположную функцию в развитии внутреннего мира героев: если в процессе их «становления» этот мотив был одним из предопределяющих и стимулирующих внутреннее развитие героев, то впоследствии автор не нашел верного взаимоотношения между этим мотивом и другими мотивами, не менее существенными в жизни любого взрослого человека — мотивами его профессии, его труда, осуществляемого во благо родины, его живого и повседневного взаимоотношения с людьми, с коллективом, его культурного обогащения.

Если по мере созревания внутренний мир героев, обогащаясь, захватывал все новые и новые области чувств, то потом, когда герои созрели, их внутренний мир стал развиваться в обратном направлении, словно бы подчиняясь каким-то центробежным силам, замыкающим от нас внутренний мир героев.

Действительность ограничивается для них шхуной «Св. Мария», а тень погибшего капитана оказывается более реальной, чем окружающая среда, живая связь с которой могла бы наполнить их существование новым смыслом, новыми стремлениями. Так получается, что один и тот же мотив, сначала способствующий развитию внутреннего мира героев, позже выполняет противоположную функцию, играя роль тормоза этого развития. В результате герои второго тома выглядят слишком инфантильными, недостаточно развитыми, застрявшими где-то на грани детства.

Прав ли автор, когда утверждает устами своего героя: «Самые интересные мысли приходят в голову, когда тебе восемнадцать лет», — и не только утверждает, но и всем своим романом пытается доказать правоту этой мысли? Весь второй том он посвятил прежним героям, но им уже далеко за 18 лет, и они на каждой странице демонстрируют незыблемость этого «правила».

Действительно, герои потускнели, у них уже нет интересных мыслей. Всё осталось в юности: обаяние, горение, блеск. Но мы не виним их — это вина автора, который, вырастив своих героев, словно утратил интерес к ним, и уж слишком буквально провел в жизнь теорию, по которой после восемнадцати лет у человека интересных мыслей не рождается.

Герои романа «Два капитана», созрев, живут по инерции той зарядкой, которую получили в юности. Но внутренний рост людей — это не инерция юности, а приобретение и накопление новых качеств, совокупностью которых и определяется подлинная зрелость. Вот этой-то подлинной зрелости герои романа В. Каверина не достигают.

В юности мы их знали живыми, переменчивыми, негодующими, охваченными большими мечтами и большими тревогами; с годами они почти всё утратили и ничего не приобрели взамен. Вот почему не стали они выразителями новой культуры. — высокоинтеллектуальной, новаторской по своему существу, культуры передовых людей нашего общества. Внутренние автором надежды на то, что в его романе мы увидим людей, способных не только воспринять лучшие достижения культуры прошлого, но и явиться выразителями сложной и богатой культуры нашего времени, — эти надежды повисли в воздухе.

Вот Саня, ставший капитаном Григорьевым. Это уже не тот юноша, который бросал вызов всему миру. «Он молчит и работает без устали днем и ночью». Он молчит, и автор за него молчит — появляется еще один представитель племена молчаливых, которых слишком много развелось в нашей литературе. Что же касается работы. — как тускло осуществилась мечта Сани стать летчиком!

Это только профессия, не больше, такая же обычная и рядовая, как и всякая другая. Она не стала ни призванием, ни страстью, ни стимулом внутреннего роста.

... Экспедиция Григорьева на север не осуществилась из-за происков его врагов, и Саня превратился в «воздушного извозчика». Он опыляет водоемы, возит почту. Его однообразные рейсы похожи друг на друга, «как тысяча братьев». Это утомительно для героя и удручает читателя. Как съезжился внутренний мир Сани! Ему просто нечего рассказать о себе!

В первой части романа Саня говорит: «Через много лет я прочел у Бальзака: «Наблюдательность обостряется от страданий». По этому афоризму, по ссылкам на Стендаля, Диккенса, Пушкина, мы, естественно, в праве ждать, что герой романа не только проявит волю, упорство, мужество, но и сумеет сочетать эти качества с высокой интеллектуальностью. Но вырос Саня — и Бальзак уже ни к чему, исчезла тяга к тонким афоризмам. Действительно, уже неважно, читал ли он когда-нибудь Бальзака или Стендаля, участвовал ли когда-нибудь в «суде над Евгением Онегиным».

«Он выделяется своей начитанностью, культурностью, — вот что о нем говорят», — записывает в своем дневнике Катя, — но это худо-

жественно не мотивировано. Его начитанность — просто анкетная справка.

Когда Флоберу потребовалось описать неудачную операцию в романе «Мадам Бовари», он завалил свой рабочий стол трудами по хирургии; когда в романе «Бувар и Пекюше» он захотел показать сельскохозяйственные эксперименты своих героев, он много времени посвятил изучению ботаники и агрономии. А незаметно, чтобы автор «Двух капитанов», присвоивший своему основному герою профессию летчика, заглянул хотя бы в одну серьезную книгу об авиации. Обо всем, что связано с этой профессией, рассказано на уровне посредственного очерка, по материалам, взятым словно бы из третьих рук. Обстоятельства, существенные для жизни и судьбы любого летчика, либо обходятся молчанием, либо пересказываются бегло, впопыхах, недостоверно и невнимательно.

Даже о своей борьбе с немецкими захватчиками капитан Григорьев не может рассказать ничего существенного и значительного. Вопреки афоризму Бальзака, пережитые страдания не обострили его наблюдательность.

Он топит немецкий транспорт, топит рейдер — операции большого значения — но об этом рассказано совершенно вслепую, мельком, безо всякого темперамента и азарта.

Уже после того, как Саня покинул Северный флот, мы узнаем из его разговора со Сковородниковым, что он был на севере «командиром эскадрильи». Узнаем из случайного разговора!

Что же это за командир эскадрильи, который живет в каком-то безвоздушном пространстве и у которого нет никаких привязанностей, кроме семейных, нет ощущения боевого братства, скрепленного кровью, нет друзей, ставших неотъемлемой частью его внутренней жизни, нет забот и тревог, неизбежно связанных с работой командира эскадрильи?!

Вот почему не верим мы в существование такого командира эскадрильи, как капитан Григорьев. Ни в каком плане — ни в художественном, ни в реалистическом, ни в романтическом, ни в психологическом — не оправдано превращение Сани в такого странного и необидительного командира.

Поэтому не удалось автору показать по-настоящему войну на крайнем севере, в Заполярье: герой, от лица которого ведется повествование, настолько вяло и безжизненно рассказывает о событиях, свидетелем и участником которых он был, что его рассказ не в силах достойно передать героизм и величие этой борьбы.

Облик Сани утрачивает достоверность, превращаясь в общее место, в нечто средне-арифметическое, лишённое индивидуальных черт характера, интеллекта. Вот почему с чувством разочарования расстаемся мы с главным персонажем романа — Саней Григорьевым. Он не оправдал надежд, которые вызывал у нас автор.

Почти те же превращения происходят и с Катей Татариновой. Сколько было обаяния у этой девушки, какая она была гордая и отважная! Как своеобразно в ее характере смешивались детская шаловливость с мужественностью, решительностью и правдивостью!

То она увлекалась взрывами, и «пальцы у нее всегда были черные, обожженные, и от нее пахло пистонами и пороховым дымом»; то изучала биографии замечательных мореплавателей и завоевателей XV и XVI веков и воображала себя Еленой Робинзон. Даже кошку, которую звала до сих пор просто Васеней, переименовала в Иптакчухуатль — в Мексике есть, оказывается, такая горная вершина. Девочка жалела о том, что не она завоевала Мексику, не она открыла и покорила Перу. Катя мечтала быть капитаном и совершить многие славные дела.

А в каких трудных обстоятельствах закаляется этот характер! Трагическая тень лежит на судьбе Кати — ее отец погиб, и тайна его смерти пока не раскрыта; Катя живет под одним кровом с человеком, который обрек на гибель ее отца и из года в год опутывает ее своей ложью; ее мать кончат с собой. И все же у Кати Татариновой хватает нравственного здоровья на то, чтобы сохранить душевную силу и чистоту, хватает решимости сразу порвать с человеком, который воспитал ее, лишь только с помощью Сани Григорьева она сумела разгадать его подлинную сущность.

Вот характер — живой, сильный, правдивый, непосредственный, деятельный; характер, от которого мы вправе были ждать многого. Но эти ожидания не оправдались.

Катя выросла. И нет уже у нее ни интересных замыслов, ни увлекательного дела. Она живет «взаимы», отраженным светом своей юности. Правда, есть профессия — она геолог. Но такой же недостоверный и необидительный геолог, как Саня — летчик.

Когда обсуждался состав участников экспедиции, которую предложено отправить на розыски капитана Татаринова, Саня выдвинул Катю как дочь капитана Татаринова. Было «неудобно как жену». Катя негодует:

«— Дочка, жена! Я еще и племянница, и внучка. Я старый геолог, Саня, и просила начальника Главсевморпути включить меня в состав экспедиции в качестве геолога, а не твоей жены!»

Ей даже жалко Саню — так он смутился после этой отповеди. В сущности едва ли ему следует смущаться. Да, он забыл о том, что у Кати есть профессия. Но ведь и сам автор, утверждающий, что Катя геолог, забыл подтвердить это хотя бы одним художественным штрихом.

Автор не интересуется профессией своей героини. В результате энергичная, деятельная девушка, за ростом которой мы внимательно следили, остается без того настоящего дела, которое входило бы существенным элементом в ее переживания и определяло бы их. Именно в деле и через дело человек осуществляет свою кровную связь с окружающей средой, с народом, и именно в деле мужает его душа, закаляется характер.

А для Кати позиция геолога в такой же степени нейтральна по отношению к ее внутреннему миру, как и любая другая, — в таком же успехом Катя могла бы быть лингвистом, агрономом, архиварисом, — любую профессию мог

бы приписать ей автор, и ничто в романе не изменилось бы. Немудрено, что даже самый близкий человек забывает о том, какая у нее профессия.

В связи с неумением раскрыть внутренний мир героини нельзя признать художественно значительной часть романа, написанную от имени Кати.

Катя рассказывает о ленинградской блокадной зиме, но как же, как рассказ Сани не дает надеждащего представления о войне в суровых условиях Заполярья, так и рассказ Кати не дает художественно-весомого представления о героическом Ленинграде той зимы.

Величие Ленинграда, когда враг стоял у самых его ворот, слабо выражено в книге. Даже те трагические события, свидетелем и участником которых является Катя, не помогают нам увидеть ее в более ясном свете.

Так тускнеет Катя, превращаясь из решительной, отважной, обаятельной девушки в малоинтересную, замкнутую в себе самой «тетю».

Тот же самый процесс обезличивания, особенно сильно сказывающийся во втором томе, происходит и с другими персонажами романа.

Вот Петька Сквородников. Этот бывший беспризорник, сделавшись художником, утратил детское очарование непосредственности и превратился в рядового неврастеника, все делающего неожиданно и некстати. Уже не имеет значения, был ли он беспризорником или же рос благонаправленным мальчиком в интеллигентной семье. По словам автора, Петька талантливый художник, но ни о нем, ни о его работе не рассказано ничего, что заставило бы нас поверить в таланты Петьки или заинтересоваться его судьбой.

То же относится и к доктору — старому революционеру, когда-то скрывавшемуся от преследования царской полиции; этот доктор в первых частях романа был своеобразным, жизнерадостным, изобретательным человеком. А прошли десятилетия — и перед нами рядовой врач.

Эти перемены в последних частях свидетельствуют о том, что у автора, к сожалению, не хватило творческой энергии на весь роман, — слишком многое здесь «не дотянуто», дано наспех, художественно неполноценно, без глубокого проникновения в душу героев.

Вот почему мы вправе говорить о художественной незавершенности романа, приводящей к тому, что повествование, так интересно задуманное и во многом удачно осуществленное, приходит в противоречие само с собой, — замысел и его реализация зачастую не совпадают и не соответствуют друг другу.

Недостатков у романа В. Каверина немало, и они подлежат разнервному критическому разбору. Но это произведение, примечательное в нашей литературе, читаться будет долго. Дух отваги, бесстрашия, влечения к большим делам, то понимание нравственности, которое заключается в пламенной и непоколебимой вере в человека и его высокое назначение, безграничные

возможности, открывающиеся перед людьми советской эпохи, неразрывная связь с замечательным прошлым нашей родины, — все это в той или иной мере находит свое выражение в романе В. Каверина и обеспечивает его успех у нашего читателя, нуждающегося в литературе такого характера.

«Два капитана» являются приключенческим романом, порою переходящим в детективный. Хитроумные интриги, необычайные совпадения, загадки и тайны, — весь сюжет романа подчиняется задаче очень сложного раскрытия преступления, совершенного много лет назад. Но в этом детективе разоблачение преступника осуществляется не с помощью знаменитого «дедуктивного метода», прославившего Шерлока Холмса, не с помощью анализа сортов табака, употребляемого преступником, ч изучения характера следов, оставленных на месте злодеяния. Нет, для разоблачения преступника герою приходится предпринимать научно-исследовательскую работу, отправляться в далекие экспедиции, годами проявлять упорство. Только таким путем осуществляется он свою задачу. Как мы видим, эта новая и плодотворная форма романа открывает детективному жанру большие, еще мало изученные возможности.

Каверин сумел доказать, что приключенческий роман отнюдь не исключает ни углубленной психологической характеристики, ни показа реального быта, в котором живут герои, ни проблем научного характера, имеющих большое познавательное и общественно-воспитательное значение. Наоборот. Мы убеждаемся, что такой приключенческий роман читается с тем большим интересом и увлечением, чем глубже вскрыты характеры героев, чем сложнее их интеллектуальная жизнь, чем подробнее показана их среда, чем больше научно-познавательное значение романа. Другими словами: В. Каверин совершенно иначе разрешает проблему приключенческого жанра, чем многие наши литераторы, подражающие третьеразрядным образцам переводной детективной литературы.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» — такой девиз избрали герои романа В. Каверина. Литература, осуществляющая этот девиз, нужна нашему читателю, особенно молодому, ищущему «делать жизнь с кого».

Правда, как мы уже говорили, удачу автора нельзя признать полной. Не сумев показать радости превращения мечтаний в труд, в живое дело, не сумев показать героев в процессе реализации всех их внутренних возможностей, Каверин прибрел их, и поэтому меркнет романтическое свечение, делавшее их такими обаятельными в юности. Непростительная вялость сковывает их шаги после того, как автор вручает им аттестат зрелости, а это находится в прямом противоречии с основным замыслом, с духом романа, с его романтическим девизом — «бороться и искать». Но недостатки не должны умалить несомненных и значительных достоинств романа. В нашей литературе «Два капитана» займут свое достойное место.

РАССКАЗЫ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

О. ГРУДЦОВА



Андрей Платонов — интересный и талантливый писатель. В сборнике рассказов Платонова «Река Потудань», изданном в 1937 году, есть прекрасные рассказы. Рассказы эти очень разные, и герои их — люди разных поколений, разных профессий, разной психологии, но все это люди своеобразные и интересные со своей глубокой внутренней жизнью. Платонов ни в коей мере не пессимист, но почти в каждом своем произведении он пишет о печали в жизни и в душе своих героев. Есть еще одно качество у этого писателя — в его творчестве много поэзии, без которой в произведении «не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов» (Белинский).

В сборнике военных «Рассказов о родине» Платонов в какой-то мере изменил себе. Многие образы здесь почему-то заменены символикой, а подчас и мистикой.

В новом сборнике «В сторону заката солнца» рассказы значительно реалистичнее и правдивее прежних, но и здесь писатель изменяет лучшим сторонам своего таланта.

Все рассказы этого сборника написаны в одинаковой манере. Это — повествовательная манера, где события плавно чередуются, изредка прерываясь несколько меланхолическими размышлениями, где нет неожиданных поворотов, где нет ни страстей, ни порывов. Все рассказы написаны одним тоном — пастелью. Эта манера не случайна и не является лишь внешней формой произведений; она глубоко и органично связана с тем, что содержится внутри рассказов.

В рассказе «Офицер и солдат» приводится письмо старого солдата, участвующего в первой мировой войне. Солдат этот пишет:

«Порядок в войске необходимое нужное дело. Солдат сам знает про то, и ему легче жить в порядке и в порядке потери от смерти будет меньше. А того он, хорунжий, не знает, что и в устав, в дисциплину войска нужна добавка солдатской души, а то нечем будет жить войску, и без своей мысли солдат неприятеля не одолеет».

Хорунжий царской армии не знал о солдатской душе, но советский полковник, спрашивая капитана о бойцах, знает, что самое главное «... Как у них сердце лежит?» Знает об этом и советский писатель. Об этой «добавке» — о

солдатской душе и написана книга А. Платонова.

Каждый рассказ интересен, и на первый взгляд кажется, что правдиво раскрывает эту душу, но когда прочитаны все рассказы, то вдруг обнаруживается, что душа эта у всех красноармейцев одинаковая. Основное и почти единственное свойство ее — это невозмутимое спокойствие. Она — безмятежна, равна и плавна, как манера повествования писателя.

«Без красноармейца никак нельзя: зла на свете много», решил красноармеец Щербинин в рассказе «Домашний очаг». Так, в сущности, решили герои всех рассказов и, раз решив, они спокойно и деловито пошли убивать немцев, искоренять это зло, так же спокойно и деловито совершая подлинно героические подвиги.

Когда командир подразделения спросил сапера Ивана Толокно, как он себя чувствует, то сапер ответил:

«— Я всегда чувствую себя хорошо, товарищ капитан.

— А почему всегда? — заинтересовался капитан.

— А по необходимости,—объяснил Толокно».

А когда командир роты хотел послать героя рассказа «Добрая корова» переплыть Днепр и спросил его, как он плавает, Кузьма ответил:

«— Переплыву, товарищ старший лейтенант. Плаваю я плохо, а плыть надо — надобность большая».

И в то время, как саперы плыли в ледяной воде Днепра и течение несло их вниз, а на реку спускался туман, то «ничего с нами особого не стало: сначала только охолодали, нагрелись до того на воздухе. А потом мы притерпелись к прохладе».

Также «по необходимости», «по надобности», не совершая «ничего особого», расправилась рота красноармейцев с немецкими танками в рассказе «Николим Максимов». При этом автор подчеркивает деловую безмятежность не только в образе героев, но и в действии. Если немцы «стреляли на бегу, ожесточая себя», то «красноармейцы дали им навстречу спокойную очередь» из автоматов. А когда оказалось, что рота в окружении, то командир сказал: «...окружение это ничего». «...окружение это не стена».

И Максимов немедленно согласился с командиром.

Так же спокойно в рассказе «Добрая корова» лежали красноармейцы в горящем торфянике, задыхаясь в дыму и огне, обманув таким образом немцев, ибо немцы «думали правильно, кто в пожаре, в огне и в дыму будет жить!» С этим же припевом «ничего» сидели в траншее под немецким танком офицер и солдат в другом рассказе. А герои «Трех солдат» пошли в разведку и оказались под немецким огнем «одни как сироты», тогда они взорвали немецкий танк, тихонько залезли в этот разрушенный танк и оттуда начали стрелять в пробегающих мимо немцев, которые не подозревали, что в их мертвом танке сидят русские бойцы. При этом Прохоров и Алеев, сосредоточившись в работе, чувствовали себя спокойно. А немного передохнув, Сухин сказал: «ничего». «Ничего», — согласился с ним Прохоров и Алеев.

«Ничего особого» не произошло и в рассказе «Бой в грозу», хотя герой его сражался с двадцатью немецкими танками.

Исполняя «исправно свой долг в холодной воде Днепра, во тьме и стуже, Кузьма «сразу порешил очередью немцев». Впрочем Кузьма не только так сражался, безмятежно размышляя, но с той же сосредоточенной деловитостью выбрал он себе жену-вдовицу, хозяйку коровы. Красноармейцы ночевали в деревне Замощье в сарае у вдовицы. Кузьма долго не мог заснуть. Он слушал, как в закутке сопит корова. А когда пришла к корове хозяйка, он встал, вышел и осмотрел корову — «большую и добрую». Потом он «осмотрел хозяйку. Женщина она была не старая, против жизни еще могла стоять, темноглазая, задумчивая такая». И размышляя о том, что остался он один, ибо сына его угнали немцы, а жена зачала с тоски, и «вся его жизнь прошла окончилась», задумал он соединить свою жизнь со вдовицей. Поэтому, когда уходили из деревни, то «жалко мне было оставлять опять на сиротство без хозяина двор вдовицы, да с неприятелем надо было управляться». Расправившись с неприятелем и возвращаясь из госпиталя, где «пришлось ему болеть, а потом выздоравливать», зашел Кузьма в Замощье к вдове и «поговорил с ней по душам». И несмотря на то, что хозяйка «постеснялась сразу ответ сказать», Кузьма остался спокоен. «Это ничего», — решил он. — «Мы обоим. От терпенья серьезности больше и дело закрепнет надежней, а дети ее при мне сиротами не будут».

Так живут и сражаются с врагами русские люди в рассказах Платонова. «Обтерпелись», «ничего», «по необходимости», «пришлось», «обоим» — на этих чрезвычайно характерных словечках построены образы всех героев Платонова.

Платонов много и хорошо пишет о горе и зле, которые принесли немцы. Но как относятся его герои к этому горю?

В рассказе «Домашний очаг» мать-крестьянка, возвращаясь в сожженную немцами деревню, встретила красноармейца:

«— Ничего, — произнесла она добрым голосом. — Наше горе теперь уже отлегло от сердца».

В рассказе «Мать» встретились две женщины, у которых мужья и все дети убиты немцами.

«— Твой-то все померли? — спросила Марья Васильевна.

— Все, — ответила Дуня. — И твои все?

— Все, никого нету, — сказала Марья Васильевна.

— А что ж тебе делать-то! Я тоже так живу, — сказала Дуня. — Мои лежат и твои лежат».

А когда свечерело, мать пошла на мотилу, где закопали немцы ее детей, и умерла на этой могиле. Этот рассказ хороший. Но все же непонятно такое страшное отсутствие страсти и злобы к тем, кто отнял у них всех.

В «Домашнем очаге» боец, узнав, что старик-крестьянин не имеет от сына с фронта известий в течение двух лет, желая успокоить его, сказал:

«— Объявится еще.

— Может и объявится, — охотно согласился старик». А когда прибежал его внучек и сообщил, что дядя Прощка хлеб пошел косить, а скосил мину, и его огнем убило — «он там один в хлебах лежит — я видел», то старик спокойно велел ему:

«— Ступай, глину бабе таскай».

С необычайной покорностью вспоминает и Кузьма в «Доброй корове» о сыне, угнанном немцами, который «не от пули, так от истощения померет у них», и о жене, у которой «взялась чахотка, истомилась она и более не встала». Вспоминает он и слушает, как вздыхает корова, которой положено терпеть, «потому что в чреве у нее готовится другая жизнь. И чувствую я, что уйду отсюда и скучать буду по этой корове». Так переключаются в этом рассказе образы коровы, которая мучается перед отелом, хозяйки-вдовы, у которой все спасение в корове, и героя, оставшегося одиноким в этом мире. Одинаково терпеливо воспринимают свое горе эти три живые существа.

Если бы этими чертами безмерного терпения и покорного принятия всего существующего были наделены отдельные герои сборника, они не вызвали бы чувства протеста, но когда этими свойствами обладают все герои всех рассказов, то создается ощущение, что автор, имеющий очень хорошее желание раскрыть прежде всего душу русского человека, несправедливо обедняет эту душу. Очень уж не сложные эти люди. Нет в них ни противоречий, ни сильных чувств, ни тонкой психологии. Все это лишает рассказы правдивости и, кроме того, приводит к однообразию и некоторой сухости их, а иногда и просто делает их скучными. В особенности остро ощущается эта сухость в описании боевых эпизодов. В рассказе «Бой в грозу» Платонов пишет, что боевое мастерство Трофимова, столь простое для понимания и столь трудное для практического осуществления, заключается в сохранении расчетливого, спокойно действующего здравого смысла, в сохранении главенства здравого смысла над всеми прочими чувствами и

инстинктами, что исполнение боевого задания тем проще и опасность тем меньше, чем больше действуют умелые руки и расчетливый разум солдата.

Все это безусловно правильно, но насколько повысилась бы художественная ценность рассказов, если бы писатель захотел показать боевую страсть и чувства человека, показать процесс рождения в человеке этих необходимых для бойца качеств.

Самое обидное, что все эти недостатки не характерны для творчества Платонова, который умеет глубоко раскрывать внутреннюю жизнь человека. Часто кажется, что писатель себя сдерживает, боясь коснуться каких-то трепетных струн души своих героев. Так иногда вдруг ворвется в образ какой-то лирический кусок, промелькнут какие-то сложные черты, и тотчас же все исчезает. И снова все просто, спокойно и ясно...

Отдельно хочется говорить о двух рассказах сборника: «Сампо» и «Девушка Роза». Рассказы эти необычайно поэтичны.

В Карелии немцы и финны сожгли деревню «Добрая Пожва». В пустой, сгоревшей то гда деревне осталось одно водяное колесо, потому что оно было «мокрое и не сгорело в пожаре». В эту деревню вернулся домой кузнец Нигарэ — карел, контуженный в бою. Автор нашел какие-то особенные, шемящие сердце и поэтические слова, чтобы передать всю печаль человека, который не нашел в своей деревне ничего и ничего, кроме водяного колеса. Колесо это вращается как прежде, но вращение его бесцельно, потому что вся снасть сгорела. А кузнец Нигарэ — чудесный мастер, изобретатель, полнокровный, любящий труд, теперь, после того, как его оглушила бомба, «при звуке музыки или поющего человеческого голоса или от вида цветущих растений начинал плакать в сердечной тревоге». Нигарэ вспомнил все, что погубил враг: и семью свою, и дом свой, и электрическую машинку, которую он изобрел, чтобы она сама качала колыбель его ребенка. Он долго думал, что должен делать он теперь, когда прежняя прекрасная, разумная жизнь «погорела и погибла, как не бывшая никогда — и остались только ветер и пустая земля»? А потом он понял и «стал делать то, что было прежде: пусть будет сознанное все, что умерло и погорело в Пожве». Он нашел топор и прежде всего начал строить себе жилище, чтобы сделать в нем кузницу для партизанского оружия. Он задумал построить много жилищ, и восстановить электричество, и завернуть водяное колесо, которое «будет работать как добрая сила, кормящая живых и размалывающая в прах темное зло, которым заразили было немцы нашу землю».

Тема этого рассказа — труд, радостный и плодотворный.

«— Народу без заботы жить нельзя, — говорил кузнец когда-то жене, — у него сердце салом покроется и ум станет глупым... Нужно, чтобы человек имел развитие, а не жил только для того, чтобы есть и спать». Поэтому электричество лучше, чем самомольная мельница из книги «Калевала». Поэтому возродилось сердце

карела, когда сделал он топориче. Великая сила жизни содержится в этом грустном рассказе и подлинная вера в возрождение, которое не смогло победить самое чудовищное зло, принесенное немцами.

Много жизни и в рассказе «Девушка Роза». Даже удивительно, как сумел автор, описывая иногда почти грубо натуралистически зверства немцев и издевательства над девушкой, сохранить чистоту и поэтичность ее образа и вселить в читателя глубокую веру в торжество празды и справедливости.

В рославльской тюрьме, где сидели замученные немцами советские люди, сохранилась на стене надпись: «Мне хочется остаться жить. Жизнь — это рай, а жить нельзя, я умру! Я — Роза!»

Писатель сразу же окружил романтикой и поэзией не только то, что кроется за этими наивными словами, но и самую эту надпись на грязной, заплесневелой тюремной стенке.

«Она — Роза. Имя ее было написано острием булавы или ногтем на темносиней краске стены: от сырости и старости в окраске появились очертания таинственных стран и морей — туманных стран свободы, в которые проникали отсюда своим воображением узники, всматриваясь в сумрак тюремной стены». Розу немцы убили, но она осталась жива под грудой трупов расстрелянных людей. Второй раз убивать Розу немцы почли бесполезным — они пытали ее, жгли электричеством, били, а когда она все же ничего не сказала, они сделали ее «полудуркой». Образ этой измученной, полубезумной девушки в нищем платье Платонов превратил в трогательное, поэтическое, светящееся существо.

Розу выпустили из тюрьмы, она приходила в чужой дом, там угощали её и одевали, но она уходила в ночь и опять попадала в комендатуру. А утром немцы выпускали ее из комендатуры снова нищей и голодной. Она приходила в новый дом, и там снова ее мыли, кормили и одевали, но она снова уходила, потому что «она хотела лишь уйти из города в даль, в голубое небо, начинавшееся, как она видела, недалеко за городом. Там было чисто и просторно, там далеко видно, и та Роза, которую она с трудом и тоской вспоминала, та Роза ходит в том краю, там она догонит ее, возьмет ее за руку, и та Роза уведет ее отсюда туда, где она была прежде, где у нее никогда не болела голова и не томилось сердце в разлуке с теми, кто есть на свете, но кого она сейчас забыла и не может узнать». Наконец она ушла из города. Какой-то маленький мальчик послушался ее и вывел в поле. Она встретила немецкий патруль, и один часовой сказал по-русски: «полудурка», а другой ударил ее ложем автомата. «Тогда Роза побежала... прочь. Она побежала в поле, заросшее бурьяном, и бежала долго. Немцы смотрели ей вслед и удивлялись, что так далеко ушла от них и все еще жива полудурка — там был заминированный плацдарм. Потом они увидели мгновенное сияние».

Роза не воскреснет из мертвых, но образ этой девушки жив, он светится, как луч, потому что

это образ создания, возвышающегося над злом, грязью и жестокостью.

Язык книги «В сторону заката солнца» проще, чем в «Рассказах о родине». Но он излишне стилизован. Это делает почти все рассказы однообразными.

Между тем писатель нередко находит слова, которые выражают мысль ярко и впечатляюще. Трудно решить: может быть, следовало командиру проще сказать свою речь бойцам перед наступлением, чем он это делает. «Я так считаю, — говорит командир, — что хватит огненному железу войны ползать по нашей земле — ей хлеб пора рожать!»! Прекрасными словами выразил автор состояние бойцов после этой речи: «Пора, — сказали бойцы, и души их тронулись болью и воспоминанием. И после заката солнца они пошли во тьму, нагруженные инструментом для работы и оружием против смерти». Как выразительно объясняют идею Отечественной войны эти слова: оружие против смерти».

Трудно придумать правдивее, значительнее и проще слов Ивана Толочко, в которых была бы

с такой силой выражена абсолютная уверенность в своей судьбе, беспредельный оптимизм.

Когда повар увидел Ивана Толочко живым и невредимым после его героической операции с танком, то сказал:

«— А мы думали, что тебя уж больше не будет».

— Нет, — ответил Иван Толочко. — Я буду постоянно, ты всегда пищу держи для меня».

Много есть в литературе описаний красоты женщины, но какими словами можно сказать лучше, чем теми, которыми Платонов говорит о Розе:

«Кто видел Розу, тот говорил, что она была красива собою и настолько хороша, словно ее нарочно выдумали тоскующие, грустные люди себе на радость и утешение».

Но, наряду со свежими образами, своеобразной речью, часто встречаются какие-то серые слова, скучные описания («Три солдата», «Бой в грозу»).

Андрей Платонов может лучше писать, чем написаны им некоторые рассказы сборника «В сторону заката солнца».

О КНИГЕ „ПОРТ-АРТУР“

А. СТЕПАНОВ



Я попал в Порт-Артур со своей семьей летом 1903 года. Отец мой из Новогорьковского (Модлина) был переведен в далекий и никому тогда не ведомый Порт-Артур. После длинного путешествия по железной дороге через всю Сибирь и Манчжурию мы попали в маленький захолустный провинциальный городок, затерянный на берегу Желтого моря. Артур тогда насчитывал всего жителей 15 тысяч русских, по преимуществу из числа семей военных и чиновников, волею судеб заброшенных за 10 тысяч километров от Центральной России, и 35 тысяч китайцев.

• Крепость еще только сооружалась, на рейде день и ночь дымила эскадра, одним словом, Артур был типичным военно-портовым городом, где все жило интересами армии и флота. Мой отец был назначен командиром батареи Электрического Утеса, а затем его перевели на Суворовскую мортирную батарею на Тигровом полуострове. Начальником артиллерии сначала был генерал Холодовский, а его помощником полковник Белый, комендантом крепости состоял генерал Волков, а начальником гарнизона Квантунского полуострова был генерал Стессель. Флотом командовал адмирал Старк. Главным лицом в Артуре считался наместник царя на Дальнем Востоке адмирал Алексеев.

Жили в Артуре тихо, мирно, и только кутежи в плохонких артурских ресторанах давали пищу разговорам местных жителей. В гарнизонном Собрании по субботам и воскресеньям устраивались семейные вечера и ставились любительские спектакли. Сооружалась крепость черепашьими темпами, но это никого не волновало. Никому и в голову не приходило, что какая-то маленькая полудивильзованная Япония осмелится напасть на русского великана.

Почти в каждой квартире русского можно было видеть дорогие китайские вазы, безделушки, веера, шелка, ковры — трофеи взятия Тяньцзиня и Пекина. Несмотря на быстрое военное и промышленное развитие этой страны, никто серьезно не относился ни к японской армии, ни к японскому флоту.

— Мы макак закидаем шапками, — убежденно говорили в Артуре.

Но не прошло и полугодия с нашего приезда, как неожиданно грянула война. Состояние благодушия и легкомысленного зазнайства сменилось страшной паникой. Чуть ли не на второй день войны большинство русских, не связанных непосредственно с армией и флотом, поспешили уехать из Артура, бросив свои квартиры и имущество на произвол судьбы. Настроение военной руководящей верхушки — генералов и адмиралов тоже было далеко не боевым. Отдавалось множество противоречивых приказаний, которые тотчас же отменялись. Никто толком не знал, что ему надо было делать, только у крепостных артиллеристов имелся план мобилизации на случай войны, но и он был разработан весьма неполно. Происходили бесконечные заседания в штабе крепости, управлении артиллерии, на флоте. Отец каждый день получал объемистые пакеты со всякого рода секретными и сверхсекретными приказами, которые вносили еще большую путаницу в общее положение. По городу ползли самые чудовищные слухи о высадке японцев около Артура, захвате ими соседнего города Дальнего, о пленении чуть ли не всей манчжурской армии и т. д.

Раз десять издавался приказ о немедленной эвакуации семей всех военных, но ему никто не подчинялся. Прошло примерно около двух недель, пока паника улеглась и приступили к планомерной эвакуации всех лишних лиц из Порт-Артура.

В начале апреля моя мать вместе с сестрами уехали в Россию, а я остался с отцом в Артуре. Мне, тогда едва четырнадцатилетнему подростку, конечно было крайне интересно побывать на войне, испытать ощущение боя. Сначала мой отец находился на береговых батареях, а затем его перебросили на сухопутный форт, на батарею Малого Орлиного Гнезда. Она была расположена между Залитерной батареей и Большим Орлиным Гнездом. Вооружение ее составляли четыре сорокадвухлинейные пушки.

Я исполнял при отце обязанности связного и ординара, по мере сил помогая работе солдат на батарее.

Часто ко мне заходила дочь генерала Белого, Варя, которая работала поблизости сестрой на

перевязочном пункте. Она была на два или три года старше меня, очень живая, веселая девушка, относившаяся ко мне, как к ребенку. В свою очередь я подтрунивал над ее частыми визитами на Залитерную, где находился ее будущий муж, выведенный мною в книге под фамилией Звонарева. Сначала она страшно сердилась за это на меня, а затем перестала обращать внимание, и я оставил ее в покое. В конце сентября мой отец заболел дизентерией и лег в госпиталь. Я остался без призора. Так как гарнизон сильно таял от всяких болезней, то на легкие работы в тылу стали привлекать подростков. Мне с двумя-тремя мальчиками поручили ухаживать за осликами, которые по ночам развозили по фортам воду. Мы должны были мыть большую сорокаведерную бочку, наполнять ее водой из колодезь и запрягать в нее осликов. С наступлением темноты мы собирались в определенном месте. Здесь бочки брали солдаты и везли на передний край обороны — Китайскую стенку и форты. Вскоре нам разрешили самим развозить воду по фортам. Мой участок был от батареи лит. «Б» до форта № 2. На объезд обычно уходило три-четыре часа, а затем мы возвращались к кирпичному заводу. Камеры гофманской обжигательной печи служили стойлами для осликов. Мы жили рядом в небольшом домике. В ноябре недалеко от нас упала одиннадцатидюймовая японская бомба, и наша хатка завалилась. При этом мне повредило ноги, и меня отправили в Марининский госпиталь Красного Креста. Я вскоре поправился, и отец взял меня к себе на одну из батарей Белого Волка, где он тогда находился. 2 декабря на форт № 2 был убит генерал Кондратенко, и вскоре Стессель сдал Артур японцам. Это были жуткие часы. Весь Артур гремел взрывами, горел со всех концов. Ни солдаты, ни офицеры не хотели сдавать крепость, и капитуляция для них была совершенной неожиданностью. Кроме стесселевских прихвостней из его штаба, все возмущались предательством коменданта крепости.

23 декабря я с отцом и его солдатами под японским конвоем отправились пешком в Дальний (Дайрен), до которого было около 60 километров. Стояли солнечные, морозные дни, дул довольно сильный ветер. Одежды все были плохо. На привалах японцы не разрешали разводить больших костров. В фанзах помещались лишь больные офицеры и солдаты. Истощенные после длительной осады люди очень плохо переносили трудности пути. Несколько сот солдат и офицеров умерли по дороге от истощения и слабости. Больных было еще больше. Едва половина солдат из роты отца добралась до Дальнего. Здесь русских разместили в больших нетопленных пакгаузах в порту, недалеко от пристани. Кормили плохо, давая по фунту хлеба в день на человека и чечевичную похлебку. Офицерам давали еще по банке мясных консервов и по полбутылке слабой японской водки. Никуда из барраков не выпускали. На третий или четвертый день подали пароходы и погрузили по две тысячи с лишком человек на каждый.

Серым январским утром 1905 года «Хайлор-Мару», так назывался наш пароход, прошел ми-

мо туманных берегов Артура, где у каждого осталось столько воспоминаний о мигнувших боях.

В Нагасаки меня отделили от отца и как несовершеннолетнего отправили в Россию к матери. Так для меня лично закончилась артурская эпопея.

★

Вернувшись на родину, я окончил сначала кадетский корпус в городе Сумах, Харьковской губернии, а затем Технологический институт.

Война 1914—1918 гг. застала меня отбывающим воинскую повинность в первой гвардейско-артиллерийской бригаде. После революции я сразу же перешел в Красную Армию и участвовал в гражданской войне.

В ночь на 17 марта 1921 года при штурме Кронштадта я провалился под лед и едва не погиб. После этого у меня развился туберкулез и тяжелая неврастения, и 15 сентября 1921 года я был демобилизован по болезни.

Последующие десять лет я работал как инженер в городе Краснодаре.

В 1931 году я тяжело заболел бруцеллезом, который на долгие месяцы приковал меня к кровати. Лежа, я невольно вспоминал свою прошлую жизнь. Оборона Порт-Артура конечно была одним из самых ярких воспоминаний моей далекой юности. Картины героизма и мужества русского солдата и младших офицеров, предательство Стесселя и его присных, развал царской России — все это ярко сохранилось в моей памяти.

Я томился, нервничал и тем еще более ухудшал состояние своего здоровья. Чтобы хоть чем-либо отвлечь себя от тяжелой действительности, я по памяти попытался написать о порт-артурской обороне. Пришлось приспособиться, лежа на спине, так как ворочаться мне было трудно. Сначала дело пошло будто бы хорошо. Я довольно быстро написал несколько десятков страниц, но затем убедился, что много из пережитого мною уже основательно позабыто, не было достаточно понято в свое время. Встал вопрос о подробном ознакомлении с интересующей меня проблемой. Кроме того, никакого литературного опыта я не имел, никогда ничего не писал и плохо представлял себе, как я справлюсь с такой трудной и большой задачей, но отступать перед трудностями мне не хотелось, и я решил во что бы то ни стало довести дело до конца.

Через Краснодарскую краевую библиотеку имени Пушкина я начал подбирать материалы о Порт-Артуре в библиотеках Москвы, Ленинграда, Ростова, Харькова, Воронежа. Книжки десятками присылались ко мне в Краснодар, я тщательно прорабатывал и конспектировал каждую из них.

В свое время о порт-артурской обороне много говорили и писали, но в условиях царской цензуры, при жизни ряда артурских героев в кавычках, пользовавшихся всеобщим покровительством, рассказать что-либо отличное от официальной версии было совершенно невозможно. Все написанное носило, если не офици-

альный, то официальный характер и зачастую не соответствовало действительности. Только в условиях советской действительности стало возможным написание истинной истории порт-артурской обороны. Необходимо было только найти правильный критерий в оценке собранных мною многочисленных материалов.

Через мои руки прошло свыше двухсот книг по порт-артурской обороне. Начал я с официальной истории русско-японской войны — «официальной обороны Порт-Артуры» Романовского и Шварца, затем перешел на мемуарную литературу. Ознакомился с десятками дневников, воспоминаний, писем. В числе их у меня имелись такие вещи, как дневник Стесселя, печатавшийся в 1906 году в московской газете «Столичное утро», дневник Сахарова, напечатанный в литературном приложении к военной газете «Русский инвалид». Мною были проработаны комплекты иллюстрированных журналов: «Нивы», «Синий журнал», «Огонек». Заглянул я даже в детский журнал «Задумчивое слово».

Широко использовал я и иностранные источники, по преимуществу английские и японские. Передо мною одновременно лежали отчет русского морского генерального штаба о действиях порт-артурской эскадры и отчет адмирала Того об операциях японского флота под Артуром. Сведения, сообщаемые русскими источниками, сопоставлялись с иностранными.

Много времени у меня ушло на соби́рание мелких разбросанных и давно забытых литературных материалов, относящихся к русско-японской войне. Из коротких статей и рассказов неизвестных авторов передо мной вставала величественная эпопея беспримерных подвигов простых русских солдат и офицеров, на далекой окраине отстаивающих русскую крепость, отрезанную с суши и моря.

Особое внимание я уделял стенографическому отчету о судебном процессе над Стесселем. Конечно, царский суд не мог и не желал подробно осветить то, что происходило в осажденной крепости, но подлинные свидетельские показания героев и предателей Артура неопровержимо доказывали, что крепость еще могла защищаться, что еще далеко не были исчерпаны ни запасы продовольствия, ни боеприпасы. Можно было смело рассчитывать по крайней мере на два-три месяца обороны. Такая затяжка в обороне лишила бы японцев возможности в феврале 1905 года одержать решительную победу под Мукденом и быть может решительно изменила бы ход войны.

Пожелательные от времени объемистые папки с материалами судебного следствия послужили мне ключом к пониманию очень многих эпизодов артурской обороны, тщательно замаскированные официальными данными и царской цензурой.

Списался я также с некоторыми участниками порт-артурской обороны и просил их поделиться со мною своими воспоминаниями, что многие из них охотно исполнили. Наконец, в моем распоряжении был семейный архив и личные воспоминания. Работа по сбору материалов заняла у меня пять лет.

Несколько оправившись от болезни, я снова стал работать как инженер. Днем я занимался техническими расчетами, а вечером собирал материалы. Литературный труд не давал мне никакого заработка. Но вскоре положение изменилось; литературный труд отнимал у меня все больше и больше времени, и неожиданно для самого себя я оказался литератором и лишь по совместительству инженером.

Материал у меня собрался огромный. Надо было приступить к критическому отбору нужных мне сведений. Я задумывался над вопросом, что же должно служить критерием в этой работе. Продумав самым тщательным образом этот вопрос, я пришел к убеждению, что таким стержнем должна быть политическая направленность задуманной мною вещи. И мне сразу все стало ясным: путеводной звездой во всей дальнейшей моей работе могли быть статья В. И. Ленина «Падение Порт-Артура» и соответствующие главы «Истории ВКП(б)». Только после этого я приступил к отбору собранного материала.

Чем больше я углублялся в изучение порт-артурской эпопеи, тем более поражался гениальной прозорливости ленинской оценки порт-артурских событий. Находясь за много тысяч километров от Артура, пользуясь лишь отрывочными, сбивчивыми и зачастую противоречивыми газетными сведениями, В. И. Ленин все же дал четкий анализ артурским событиям и с поразительной краткостью и точностью указал, что именно привело к падению Порт-Артура.

Как инженер проверяет и подкрепляет свои предположения математическими расчетами, так я с помощью ленинских тезисов проверял свой материал о Порт-Аргуре. Все, что вызывало сомнение, безжалостно мною отбрасывалось, хотя порою и было написано с увлечением. Остальное собиралось в строго хронологической последовательности.

К моменту начала Отечественной войны я закончил лишь вторую часть своей книги. На второй день мобилизации меня вызвали в военкомат для призыва в армию, но затем мне предложили сначала закончить книгу, а затем уж отправляться на фронт. Трудно было сосредоточиться, когда каждый день передавались волнующие сводки Совинформбюро о положении на фронте. С конца сентября начались налеты немецкой авиации на Краснодар. По несколько раз в день раздавались сигналы воздушной тревоги. Трещали зенитки, грохотали взрывы авиабомб. Приходилось покидать письменный стол и отправляться на наблюдательный пост на крышу дома.

В ноябре немцы заняли Ростов, создавалась прямая и непосредственная угроза Краснодару. Тем не менее книга была мною закончена, и ее решено было издать. В Новороссийске нашлась бумага, предназначенная для экспорта и в связи с войной застрявшая в порту; разыскали картон для переплета. Рабочие краснодарских типографий, не взирая на бомбежки, набирали рукопись; крайком партии оказывал всемерную поддержку этой работе.

1 января 1942 года вышел сигнальный экземпляр «Порт-Артура», и на следующий день

автор отправился в распоряжение военкомата. Военные обстоятельства все же значительно замедляли выпуск тиража, который был закончен только в начале июля 1942 года, а в первых числах августа фашистские орды наводнили Кубань. При приближении немцев к Краснодару я улетел на самолете в Москву, оставив на Кубани все свои рукописи, около пяти тысяч страниц.

Полгода тянулась темная ночь немецкой оккупации над казачьими станицами и хуторами, над Краснодаром.

Фашисты включили «Артур» в число книг, подлежащих уничтожению, так как в ней в неблагоприятном свете выведены немцы — Фок, Стессель, Рейс и другие. Особенно подозрительно относились немцы ко всяким рукописям, подозревая в них антифашистские листовки.

Но нашелся человек, который, рискуя жизнью, решил во что бы то ни стало сохранить мои рукописи. Сначала они были зарыты в землю, затем едва не попали в руки немцев при переносе в другое место, чуть не сгорели при пожаре, когда фашисты, уходя, подожгли город, и все же весь мой писательский архив до последней бумажки был полностью сохранен. Я считал, что все мои рукописи пропали бесследно, и не было границ моей радости, когда я узнал, что все цело и сохранно.

Такова краткая биография моей книги.



Теперь скажу несколько слов о композиционном построении моего исторического повествования. Прежде всего остановлюсь на выборе главных действующих лиц.

Передо мной стояли три основные задачи: показ героизма солдат и младших офицеров артурского гарнизона, показ развала и разложения руководящей верхушки артурских военных властей, показ тесно связанного с ними широко разветвленного в Артуре японского шпионажа. На примере Артура легко было продемонстрировать всю гниль правящей Россией самодержавной клики.

Представителями последней в Артуре явились прежде всего разнузданный хулиган и пьяница великий князь Кирилл Владимирович, затем супруги Стессель, олицетворявшие в Артуре фигуры царских сатрапов того времени. Рядом с ними стоит образ злого гения артурской обороны предателя-немца генерала Фока и верного исполнителя его вредительских планов, ловко маскирующегося предателя начальника штаба Стесселя полковника Рейса. Все трое недаром носят немецкие фамилии. Для царской армии было характерным это немецкое засилье верхушки генералитета выходцами из Германии или из прибалтийских немцев. Родственные связи царствующей фамилии с немецкими принцами и герцогами обеспечивали всем этим авантюристам «тепленькие» руководящие места в армии и быстрое продвижение по службе.

Чуждые России и всему русскому, они больше всего заботились о своей личной судьбе и

очень мало думали о пользе государства. К русскому народу в лице солдат и младших офицеров они относились с презрением, яростно ненавидели всех талантливых и одаренных офицеров и особенно генералов из русских, справедливо видя в них своих конкурентов.

Плечом к плечу со стеселевской кликой стоит фигура жулика, спекулянта и японского шпиона капитана Сахарова, типичного для Дальнего Востока дельца, у которого коммерция теснейшим образом сплетается со шпионажем. У Сахарова на побегушках состоит деклассированный князь, шулер и сутенер Гантимуров, протеже «всесильной» в Артуре Веры Алексеевны Стессель.

К этой же компании примыкал и сухопутный адмирал Алексеев, побочный отпрыск вырождающейся императорской фамилии Романовых. Правда, он действует больше издалека, так сказать, за кулисами, но тем не менее им направляется деятельность Стесселя, он покровительствует разлагающему влиянию великого князя, он активно проводит на Дальнем Востоке политику царского самодержавия во всем ее неприглядном виде. Он был равнодушен и чужд интересам России, хотя и осуществлял власть царя на этой далекой окраине обширной империи. Таков был зловонный букет исторических лиц, в руках которых находилась судьба русской крепости и жизнь и смерть десятков тысяч русских солдат и офицеров. В противоположность им мною выведены лучшие представители тогдашнего генералитета и офицерства.

Первое место среди них занимает колоритная фигура адмирала Степана Осиповича Макарова. Я собрал много материалов о биографии Макарова, ознакомился с целым рядом очерков и заметок о нем, с воспоминаниями и рассказами его сподвижников и очевидцев, участников артурской обороны. Передо мной ясно вырисовывался образ решительного, энергичного флотоводца, горячего патриота, смело вступившего в борьбу с предательской придворной кликой в Петербурге и ее клеветами в лице Стесселя. Макаров твердой рукой приводит в порядок разболтанную, потерявшую веру в себя и своих начальников порт-артурскую эскадру.

Ясно отдавая себе отчет о роли флота в этой войне, в необходимости самого тесного взаимодействия флота и армии, Макаров, вопреки всем уставам, создает у себя в штабе специальный военный отдел, который возглавляется талантливым полковником генерального штаба, профессором военной академии Агапеевым. Ему адмирал поручает прочно связаться со штабом генерала Стесселя. Не ограничиваясь этим, Макаров лично знакомится с крепостными фортами и батареями сначала берегового, а затем и сухопутного фронта. При этом он дает армейским генералам ряд ценных указаний, основанных на практике осады Плевны и личном здравом смысле.

Вскоре же Макаров убеждается в полной непригодности Стесселя к роли высшего военного начальства и без стеснения ставит перед Петербургом вопрос о замене Стесселя другим лицом и предлагает лично возглавить оборону всего Квантунского полуострова. Делается это отнюдь

не из личных целей, а в глубоком убеждении, что командующий флотом и является тем лицом, которое наиболее заинтересовано в сохранении Артурского порта, а с ним и эскадры.

Обладая прекрасным военным образованием и широким кругозором, Макаров хорошо понимал, что Артур проще всего и легче всего оборонять на дальних подступах к крепости, а не на линии фортов. Адмирал смело выдвигает идею обороны Артура на Кинжжоуском перешейке, наиболее удобном для обороны небольшими частями. Но эти совершенно правильные сами по себе мысли показались столь дерзкими и еретическими тогдашнему военному министру Куропаткину, что предложение Макарова было резко отвергнуто в Петербурге, а самому адмиралу предложено было заниматься морскими, а не сухопутными делами.

Нелепая, случайная, преждевременная гибель Макарова прекратила этот спор. Трудно, конечно, гадать, как бы сложилась оборона Порт-Артура, если бы остался Макаров в живых. Но с уверенностью все же можно сказать, что японцы не смогли бы фактически беспрепятственно высадиться 23 апреля 1904 года у Бидзюво и так быстро и легко отрезать Артур от России.

Вокруг Макарова, как около стального стержня, начали тотчас же сплываться и другие патриоты, болеющие душой за оборону Артура. К числу их прежде всего принадлежит генерал Роман Исидорович Кондратенко, прозванный впоследствии душой порт-артурской обороны. До порт-артурской обороны Кондратенко был известен лишь как исполнительный рядовой генерал, командир дивизии. Он не имел за собой боевого опыта, не писал ученых книг, а тянул обычную строевую ляжку армейского офицера и генерала. И тем не менее с первой же встречи с ним Макаров обратил свое внимание на невысокого молчаливого генерала с живыми глазами и угадал в нем верного помощника и друга. Сохранились сведения, что дружба их привела к исключению своего рода союза, в основном направленного против Стесселя и иже с ним. Волевой, энергичный Макаров и скромный до застенчивости, спокойный, дальновидный Кондратенко прекрасно дополняли друг друга. Вполне естественно, что Макаров намечал Романа Исидоровича в начальники своего штаба. Генерал до самой смерти вспоминал Макарова и его указания относительно обороны Артура, как бы продолжая проводить в жизнь стратегические идеи Макарова.

К этим двум замечательным военачальникам примкнул и седой, мудрый, такой с виду хмурый и неприветливый командир квантунской крепостной артиллерии генерал Белый. Из рядовых кубанских казаков он постепенно дослужился до генеральского чина и с честью сыграл решающую роль в обороне Артура. С Макаровым его сблизила общая борьба за крепость. Будучи связан родством со Стесселем, находясь в его непосредственном подчинении, Белый все же не только не примкнул к стесселевской клике, но и нашел в себе решимость стать в резкую оппозицию по отношению к своему начальнику. Впо-

следствии на суде над Стесселем Белый дал в письменной форме уничтожающую характеристику стесселевского руководства, но от дачи свидетельских показаний отказался, ссылаясь на свое родство с обвиняемым.

Интересно отметить, что Макаров, Кондратенко и Белый — все трое вышли из народа и не имели за собой ни знатных родственников, ни влиятельных покровителей. Макаров был сыном богмана Сибирского флотского полукипажа и начал свою службу юнгой на маленьком тендере. Отец Кондратенко был старым казачьим солдатом и своим горбом пробил дорогу в жизнь. Белый начал службу рядовым казаком в пластунском батальоне. Все трое прошли через трудную школу жизни, добились высокого положения длительным упорным трудом и в тяжелую минуту обнаружили большую нравственную силу и мужество, столь необходимые начальникам в осажденной крепости.

Если смерть Макарова в первый период войны парализовала активные действия флота, который после его смерти рискнул лишь два раза выйти в море для встречи с прогизником, то смерть Кондратенко была воспринята всем гарнизоном как конец обороны Артура. Не прошло и двадцати дней, как Артур был сдан черной кликой изменников во главе со Стесселем. Белому суждено было дожить до конца обороны, и за два дня до сдачи на военном совете он с необычайным для него красноречием и темпераментом отстаивал необходимость дальнейшей обороны крепости. Военный совет пошел за ним и высказался большинством голосов за продолжение обороны. Но Стессель, Фок и Рейс уже вполне подготовили свое предательство и поспешили в выполнении своих изменнических планов.

Несколько особняком стоит пороку комичная, порою трогательная, но в общем цельная и светлая фигура генерала Надеина. Он являлся в Артуре носителем старых, исконно русских боевых традиций первой обороны Севастополя. Материалов к его биографии очень мало, и этот образ мною написан больше по отзывам и воспоминаниям участников и своим личным воспоминаниям о чудачковатом генерале-архипере.

Интересно отметить, что этот богомольный генерал решительно воспрещал священникам появляться на передовых позициях, считая, что вид священнослужителей напоминает солдатам о смерти и тем подрывает их дух. По идее Надеина офицер должен быть не только командиром, но и отцом духовным для своих подчиненных. Этим-то и объясняется пристрастие генерала ко всякого рода молениям в присутствии солдат, ношение им на груди образа Спаса нерукотворного и т. д.

Из рядовых офицеров надо остановиться на образах Борейко, Эвонарева и Енджеевского. Первый является у меня лицом, если так можно выразиться, полунисторическим. В жизни существовал такой поручик Борейко, весельчак и скандалист. О его «подвигах» в Артуре ходили целые легенды. Служил он младшим офицером в роте моего отца, так что я мог близко и часто наблюдать его в дни мира и войны. Я не-

сколько приукрасил его, сделав его представителем стихийной русской природы, офицером, тесно связанным с солдатскими массами. Как и в действительности, Бореико очень любил солдаты, но он далеко не пользовался симпатиями начальства, с которым он всегда находился в плохих отношениях. Человек большой личной инициативы, храбрости, воли, Бореико страдал запоем и в такие минуты был совершенно невменяем. Солдаты понимали, что это болезнь и прощали поручику его пьяные выходки, но не прощало этого ему начальство. После войны он был уволен со службы и окончательно спился. Сам про себя Бореико говорил: «Дед у меня был поп и пьяница, отец был протопоп и тоже пьяница, а я сам хотя и не поп, но все же пьяница». Так этот одаренный человек, горячий патриот и храбрый офицер и погиб, живя в условиях офицерской касты царской армии.

В противоположность Бореико, Звонарев является представителем культурного офицерства. По мысли автора, это прекраснодушный интеллигент, нуждающийся в опеке народных солдатских масс. При этом он храбрый, толковый офицер, понимающий необходимость самой тесной связи со своими подчиненными.

В Артуре был такой призванный по мобилизации прапорщик. Поскольку он жив и по сию пору, то я по вполне понятным причинам вывел его под псевдонимом. Надо добавить, что судьба его прослежена мною до начала нынешней войны и послужила материалом для другой моей работы, которая быть может когда-либо будет опубликована.

Енджеевский — сын сосланного в Сибирь в 1864 году польского патриота и матери-сибирячки. Он принадлежит к числу тех прогрессивных офицеров, которые после Октябрьской революции сразу же перешли на службу в Красную Армию. Умер он на посту командира Красной Армии в 1919 году.

Моряки Дукельский и Акинфиев — тоже лица не вымысленные. Они представляют типы молодых, полных энтузиазма, веры в себя и свои силы морских офицеров, которые с первых же дней примкнули к Макарову, впили в себя его заветы и с честью пронесли их через все этапы тяжелой обороны крепости, вписав золотыми буквами свои имена в число героических защитников Порт-Артура.

Лейтенант Подгурский, славнейший из славных порт-артурских героев, увенчанный георгиевским крестом, явился талантливым организатором минно-шарового дела в самые тяжелые минуты блокады крепости.

Среди солдат следует отметить Блохина, размашистого, подчас безудержного, не укладывавшегося в обычные рамки человека. Во многом он перекакивается с образом Бореико. Из таких забубенных головушек иногда со временем вырабатывались волевые, инициативные руководители. Порт-артурская оборона многому научила Блохина, раскрыла ему глаза на классовую сущность самодержавия. Раздумывая над пережитым и виденным, Блохин постепенно превращался из политически неразвитого солдата в революционера. Пройдет 13 лет, и Блохин с от-

рядами моряков будет штурмовать Зимний дворец, устанавливать советскую власть в провинциальных городах. Затем мы увидели его в числе комиссаров Красной Армии во время гражданской войны, тех комиссаров, без которых, по словам товарища Сталина, не было бы и самой Красной Армии.

Рядом с Блохиным стоит Радионов, сумрачный, серьезный, несколько суховатый человек, из числа тех, которые в 1917 году брали смело в свои руки власть на местах. Тут же кержак-старообрядец Лепехин, который со своими бородачами, спокойно, без всякой рисовки, честно, до конца выполняет свой воинский долг, смертью своей запечатлев верность Родине.

Мягкий образ поэта-мечтателя Ярцева дополняет типы солдат. Такие сказочники имелись в каждой роте и батарее. Своими повествованиями, где была мешалась с небывлицами, они развлекали солдат в часы казарменного досуга. В своих сказках они ярко выражали чаяния и надежды солдат, отзывались на запросы повседневной солдатской жизни и тем скрашивали нудное казарменное сидение своих товарищей.

Из женских фигур на первом месте стоит жуткая фигура «некоронованной порт-артурской царицы» — Веры Алексеевны Стессель. Она изображена мною с особой тщательностью, так как играла большую роль в осажденной крепости.

Властная «мать-командиша», вместо мужа фактически командовавшая полком, была далеко нередкое явление в те времена. Вера Алексеевна как раз и являлась типичнейшей представительницей военных дам такого склада.

Выйдя замуж за молодого поручика, даже в полку носившего кличку «Тольки-дурака», В. А. решила сделать карьеру своему мужу. Дважды Стессель пыталась неудачно поступить в военную академию, но за отсутствием способностей не смог туда попасть. Тогда энергичная супруга настаивает на переводе его на Дальний Восток, где и служба легче, и выдвинуться проще.

Китайский поход 1900 года застает Стессель в чине полковника и командиром Сибирского стрелкового батальона. Еще моложавая и интеллигентная, Вера Алексеевна производит неотразимое впечатление на престарелого генерала Линевиича и зачисляется сестрой в его штаб. Стессель же получает георгиевский крест и чин генерала. Затем, с помощью того же Линевиича и своего друга по кадетскому корпусу Куропаткина, Стессель назначается начальником квантунского укрепленного района и прочно оседает в Артуре. С первого дня пребывания В. А. в Артуре, власть над крепостью фактически переходит в ее руки, и она с помощью Рейса и Фока руководит служебной деятельностью мужа. В Артуре все прекрасно знали, что слово В. А. является законом для ее мужа, а следовательно и его подчиненных. Перемены по службе, награды, повышения в чинах — все это еще в мирное время шло через цепкие руки В. А. Роль ее во время войны достаточно ярко освещена в моей книге, и надо сказать, что домислов там очень немного.

За Верой Алексеевной следующее по значению место в повествовании занимает образ Ва-

ри Белой. Она почти в точности списана с натуры. Кубанская казачка, она в детстве и юности больше походила на мальчишку, чем на девочку. Предпочитала вращаться в компании мальчишек, преисправно дралась, бросалась камнями и горько вздыхала почему она уродилась женщиной, а не мужчиной. Как ее храбрые прабабки-казачки, она вместе с матерью и сестрой осталась в осажденной крепости и бесстрашно переносила все тяготы и опасности блокады, посильно помогая гарнизону в качестве сестры милосердия.

Полюбив Звонарева, Варя преодолевает многочисленные препятствия на своем пути к браку и достигает поставленной цели. Я выбрал генеральскую дочку ведущей фигурой повествования потому, что это давало мне возможность глубже и шире показать руководящую верхушку Артура, к которой она принадлежала по своим родственным связям, — то, что могла делать и где могла бывать родственница Стесселя, было невозможно, скажем, для учительниц Пушкинской школы, этих скромных тружениц на ниве народной.

Впоследствии Варя, как и хотела, стала хирургом, участвовала в войне 1914—18 гг., в гражданской войне и дожила до наших дней, окруженная многочисленным попомством.

Образ Ривы, личности вымышленной, представлялся мне как некая антитеза Вари Белой. Мягкая, женственная, не потерявшая своего человеческого достоинства в жестких условиях тогдашнего времени, она невольно сыграла отрицательную роль в обороне крепости. Ее квартира стала одним из каналов японского шпионажа, так как ее домработница, маленькая, наивная на вид Куинсан являлась опытной японской шпионкой, ловко использующей доверчивость и болтливость ривинских гостей — офицеров.

Краткую биографию Харитины Короткевич мне удалось найти в мемуарах одного из полковых священников, и она дословно приведена в книге, равно как и обстоятельства ее смерти. Харитина была единственной женщиной-бойцом в Порт-Артуре, и тем не менее о ее жизни сохранились лишь весьма отрывочные данные. Нельзя не отметить, что Кондратенко относился к Харитине с особой заботливостью, ценя ее как замечательного разведчика. Фок же презрительно. История с убийством Чижа, а равно и сама Фигура Чижа выдуманы мною и в действительности не имели места. Образ Харитины сохранился в памяти у многих артурцев и по настоящее время.

Мальчик Вася Зуев существовал в действительности. О нем даже была написана статья в детском журнале «Задуманное слово». Впоследствии он стал инженером и возможно жив и по сей час.

Особое внимание я уделил японскому шпионажу. Японские офицеры генерального штаба

вплоть до генералов, под видом прачек, парикмахеров, полотеров и просто чернорабочих, наводнили русский Дальний Восток. Они завербовали к себе на работу многих китайцев и даже часть русских офицеров. Благодаря этому они прекрасно знали положен в русской армии и тылу.

Как Танака, так и Куинсан являются вымышленными лицами, но представляются мне собирательными типами японских агентов в Артуре. Эпизод с арестом и бегством Танаки, конечно, не имел места, но случаи отпуска за взятки заваченных шпионов бывали не раз.

После сдачи Артура Ноги и Идзита прислали на обед к Стесселю взамен себя представителей младших офицеров, оказавшихся хорошо известными в Артуре парикмахером и часовщиком.

★

Работая над собранным материалом, я стремился к возможной исторической точности, но использовал также различные анекдоты и легенды, характеризующие отношение современников к тогдашней действительности или дающие яркую характеристику событиям и лицам. Такой литературный прием кажется мне вполне оправданным. Вымышленные лица создавались мною по принципу типичности их в том или ином отношении.

Хорошо зная быт царской армии, я широко использовал личный опыт в описании бытовых сцен из офицерской и солдатской жизни.

Особенное внимание я обратил на хорошо знакомый мне солдатский язык, отличающийся чисто народной красотой. Свой литературный язык я выработал не сразу. Мне тут помог мой педагогический опыт. Ведя занятия с рабочими-производственниками, я приучился говорить простым, ясным, всем понятным языком.

В заключение могу сказать, что моя книга, конечно, далека от совершенства и требует в предстоящем переиздании основательной доработки и уточнения, а местами и коренной переработки. Но и сейчас для меня ясно, что и в нынешнем своем виде «Порт-Артур» представляет для читателей некоторый интерес.

Есть у меня и продолжение «Артура», которое я собираюсь озаглавить «Семья Звонаревых». Повествование охватывает период времени между 1907 и 1934 гг. Как показывает само название, главными действующими лицами в них являются уже знакомые читателю по «Порт-Артуру» супруги Звонаревы, затем Борейко, Блохин, Вася Зуев. Действие разворачивается на фоне империалистической войны 1914—18 гг., Октябрьской революции, гражданской войны и восстановительного периода. Заканчивается оно боями под Хасаном.

БИБЛИОГРАФИЯ

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА*

В своем историческом выступлении 9 мая 1945 года, в день всенародного торжества по поводу победы над фашистской Германией, товарищ Сталин сказал: «Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеяться великое знамя свободы народов и мира между народами».

В горниле освободительной борьбы с немецкими поработителями выковывался боевой союз братских славянских народов. Дальнейшее укрепление единства и дружбы славянских народов, их сплочение вокруг величайшей славянской державы — могучего Советского Союза — явится несомненно одним из наиболее важных факторов предупреждения и обуздания немецкой агрессии в будущем, упрочения мира во всей Европе. Необходимость дружбы и союза между славянскими народами особо подчеркнуто товарищем Сталиным в его беседе с делегацией населения Варшавы.

В важном деле сближения славянских народов большая роль принадлежит несомненно развитию между ними культурных связей, в частности взаимному ознакомлению с памятниками фольклора и художественной литературой, отображившими историческое прошлое славянских народов, их вековую борьбу с немецкой агрессией за национальную самостоятельность, их свободолюбие, героизм и патриотические традиции. В этом плане нельзя не приветствовать начин Гослитиздата, приступившего в 1943 году к ознакомлению советских читателей с наиболее значительным явлением фольклора и литературы славянских народов. Издаваемая с этой целью серия «Славянская библиотека» займет почетное место на полках наших библиотек. Она удовлетворит возросший интерес широких масс советских читателей к славянским литературам и фольклору.

* 1) Алоис Ирасек. Старинные сказания чешского народа, М., 1943. 2) Мария Конопницкая. Избранное. М., 1944. 3) Ян Неруда. Стихи и повести. М., 1944. 4) Болгарская народная поэзия. М., 1944. 5) Радуле Стиенский. Колыбель юнаков. М., 1945. 6) Иван Цанкар. Повести и рассказы. М., 1945.

В рассматриваемой серии чешская литература представлена Алоисом Ирасеком (1851—1930) и Яном Нерудой.

Из богатого литературного наследия Ирасека в данной книге публикуется его «Старинные сказания чешского народа» со вступительной статьей известного чешского ученого, президента чешской Академии наук профессора Зденека Неедлы. Книге Ирасека предпослано посвящение: «Памяти Анны Ирасековой, верной хранительнице литературного наследства А. Ирасека, казненной гитлеровскими палачами в Праге 23 июня 1942 г.». Полны глубокого и трагического смысла слова этого посвящения. Во вступительной статье профессора З. Неедлы Ирасек характеризуется как «лучший чешский прозаик» конца XIX и начала XX столетия, как создатель «нового типа исторической повести в чешской литературе». Ирасек не выдумывал — исторические сказания и легенды он отработывал, облакал их в художественную форму. Своими романами, повестями, рассказами, драмами, в которых отражены различные исторические события, Ирасек много содействовал развитию и укреплению национального самосознания в чешском народе. Вековая борьба чехов со своими исконными врагами-немцами была Ирасеку достаточно хорошо известна и нашла художественное воплощение в его произведениях. Этого было достаточно, чтобы гитлеровские громыли прониклись бешеной ненавистью ко всему, что прямо или косвенно относилось к одному из наиболее популярных писателей чешского народа Алоису Ирасеку.

«Старинные чешские сказания» Ирасека являются одной из наиболее увлекательных и поучительных книг этого писателя. В Чехии она пользуется огромной популярностью у читателей самых различных общественных кругов и возрастов. Имеющийся на русском языке перевод этой книги издания 1899 года давно уже стал библиографической редкостью. Собранные и обработанные Ирасеком сказания повествуют об устроителях чешской земли, о воеводе Чеха, княжне Либуше, о Пржемысле, об основании Праги, о войнах, которые приходилось вести чехам в борьбе за национальное существование, и о многом другом. Одно из легендарных сказаний («Знамя святого Вацлава») рассказывает о

том, как в XII веке чехи разбили немцев, замысливших вторжение в их страну. Свообразным стилем летописного героического сказа, которым написано большинство глав книги, автор рисует картину боя, жестокого поражения немцев и пленения их императора. Заслуживают быть отмеченными два пророчества из числа фигурирующих в книге. Одна из легенд повествует о встрече Карла IV с юношей-слепцом, одаренным пророческим духом. Среди начертанных слепым юношей букв имелись между прочим буквы «В» и «З», пророческий смысл которых раскрывается следующим образом:

«В» — «народ с востока, большой и могущественный, что будет воевать со своими соседями, но чешскому народу никогда не причинит зла».

«З» — «Эта последняя буква означает запад, с которого на чехов двинутся вооруженные полчища. Будут в них разные иноземные племена, и разразится последний великий бой. Чехи воззовут о помощи... Чужеземцы будут посрамлены и изгнаны. Наступит продолжительный мир. Чехи будут едины, и расцветет между ними согласие и терпимость. Униженный язык будет вновь возвышен и прославлен».



Вторая книга — «Стихи и повести» Яна Неруды (1834—1892)¹ — знакомит советского читателя с творчеством одного из крупнейших и наиболее влиятельных чешских писателей второй половины XIX века. Исключительно важное место, занимаемое им в истории чешской культуры, выясняется из следующих слов автора вступительной статьи проф. З. Неедлы: «Национально-освободительное движение 60-х годов было одним из самых ярких событий в истории чешского народа и чешской культуры. Во главе этого движения стояли три великих художника, до сих пор остающиеся величайшими классиками чешского искусства: в литературе это был Ян Неруда, в музыке — Бедржих Сметана, в живописи — Йозеф Манес».

В книгу вошли отдельные стихи писателя и отрывки из пользовавшихся большой популярностью в чешском народе «Малостранских повестей» — художественно-бытовых очерков из жизни мелких людей родной писателю Малой страны. В своих стихах Неруда выступает глашатаям свободолобных тенденций славянских народов, в них «воля к свободе солнечной силой таится в груди».

Неруда ждал, что придет «заря с востока». В стихах с таким заголовком он выражает непоколебимую веру в прогрессивную, освободительную миссию славянских народов, как борцов за мир и против национального гнета:

Если славянство встало на страже,
Кто б нарушителем мира ни будь,
Как бы он ни был хитер и отважен, —
Грудь разобьет о славянскую грудь.

¹ Стихи Я. Неруды вышли в переводах Н. Асеева, М. Зенкевича, С. Обрадовича, Я. Кейхгауза, Ив. Новикова, В. Звягинцевой и Л. Остроумова.

О, человечество, сон твой столетний,
Сон о рассвете, сон о свободе
Близок к свершению: сумрак рассветный
Брежит с востока — ночь на исходе!

Неруда любил свой народ неугасимой и верной любовью сына. Немало исполненных горечи и тоски строк написано им о порабителе чешского народа — немцах, стремившихся онемичить чешскую культуру так же, как и культуру других славянских народов. В «Малостранских повестях» Неруда отобразил немецкое засилье в Чехии, подавление национальной культуры чехов: «Чешской речи больше не было слышно, разве только люди, абсолютно доверявшие друг другу, убежденные в том, что их никто не подслушивает, перекинутся каким-нибудь чешским словом на лестницах или в затхлом архиве. Можно подумать — мальчишки, которые тайком начали курить и бояться, что им за это попадет».

Наблюдая страдания и муки чешского народа, Неруда, однако, не терял бодрости духа, оптимизма, глубокой веры в славное будущее чешского народа. Многие его стихи представляют восторженный гимн этому будущему, проникнуты неистребимой верой в грядущее освобождение чехов от немецких порабитителей и в новый расцвет чешской национальной культуры. В стихотворении «Мой цвет — красный и белый» Неруда писал:

Светлый орел Пржемысля, полный силы
могучей,—
Это народ наш, как божество, справедливый!
Дай нам на долю ужас войн, мужество наше
пытая, —
Но вслед пусть утро забрезжит над нашим
краем,
Солнце над чешским полем взойдет, и тогда
будут —
В Чехии белый день и красные розы всюду.



Из польских писателей в вышедших книжках серии представлена Мария Конопницкая (1842—1910)¹. Включение произведений этой необычайно талантливой и тонкой поэтессы в число издаваемых Гослитиздатом книг славянских писателей безусловно оправдано. В истории новой польской литературы Марии Конопницкой принадлежит несомненно почетное место. Верная дочь польского народа, она запечатлела в своих произведениях страдания и муки, выпавшие на долю ее народа. В частности огромное место занимает в ее творчестве польское крестьянство. Многие стихотворения Конопницкой, посвященные этой теме, являются великолепной художественной иллюстрацией к одному из характернейших моментов исторического бытия польского крестьянства — его забитости, бедности, прозябанию под панским гнетом, наконец, вопиющему безземелью, продолжавшему существовать вплоть до наших дней наряду с огромными латифундиями

¹ Стихи М. Конопницкой даны в переводах А. Коваленского.

польской магнатории. Только новая демократическая Польша впервые в истории польского народа разрешила эту важную и болезненную проблему.

Созерцание беспросветной доли польского народа окрасило многие произведения Конопницкой в тона глубокой печали. По словам поэтессы, песнь ее бредет «стопой босою», она «живет печально, как черным хлебом». Стихотворение «На родине» Конопницкая заканчивает такими словами:

А ныне взор мой, как прежде, в печали
Поник тоскливой,
Хоть он и видел зеленые дали,
Золото нивы, —

Затем, что всюду — у зрелого ль жита,
У роз ли пышных —
Народ встречал он угрюмый, забитый,
И хаты нищих...

Подобные мотивы, однако, не являются единственными или преобладающими в творчестве Конопницкой. Ее поэзия знает вдохновляющие призывы в самоотверженной борьбе с врагами родины. В стихотворении «Присяга» поэтесса гордо и с глубокой убежденностью заявляет:

Не отдадим родной страны,
Родимой речи польской, —
Мы — польский люд, ее сыны,
Мы — польских Пястов войско!

Конопницкая выступает против исконных врагов поляков и всех славян — немцев. Заявляя о готовности польского народа «до капли кровь отдать в боях» с тевтонами, стремившимися к онемечению польского народа, поэтесса выступает со словами, исполненными мужества и горячего патриотизма:

Не плюнут немцы нам в лицо,
Детей не онемечат —
В оружие встанет строй бойцов,
Дух поведет нас в сечу —
Лишь золотой затрубит рог, —
Идем же, — с нами бог!

Немцы стремились овладеть польскими землями, чтобы тем скорее поработить польский народ, онемечить его. При этом они, наряду с прямой вооруженной агрессией, когда это им было нужно, не отказывались и от форм «мирной» экспансии. Этот момент отражен в стихотворении Конопницкой с характерным заголовком «Непродажное»:

Ходят сюда немцы,
Ходят, хлопов мучат:
«Кто продаст нам землю,
Червонцы получат!
Платим мы за хату,
Платим мы за поле,
Завалим деньгами
Твой нищенский столик!»

Однако подлинный смысл «мирного» проникновения немцев не оставался скрытым от польского народа. На свое предложение большой платы польским крестьянам за землю, немцы получают такой ответ:

— Ах, немец ты, немец.
Напрасно ты крутишь:
Ни земли, ни хаты
Вовек не получишь!..
— Нет! Не дам ни пяди!
Спрячь-ка, немец, деньги:
Кто вам землю продал, —
Отчизне — изменник!

Поэзии Конопницкой присуще чувство братства славянских народов. Одно из ее стихотворений посвящено важному событию в истории борьбы славянства с немецкой агрессией — знаменитой Грюнвальдской битве (11 июля 1410 г.), в которой против тевтонских крестоносцев силы русских, поляков, литовцев и чехов выступали в братском боевом союзе:

И не знает крестоносец, —
Польский витязь меч заносит,
Чех иль русский
Пандырь прусский
Разрубил сплеча?..

Главный герой Конопницкой — Польша и польский народ. Им посвящены ее наиболее проникновенные стихи. Горе народное, его бедствия и неустрашенность, тяжкий социальный гнет — все это отбразено поэтессой в запоминающихся, глубоко волнующих стихах.

Вглядываясь в современную ей жизнь Польши, Конопницкая спрашивает:

Как народу там живется?
Омелела ль слез река?

Всей силой души она мечтала для поляков о том времени: «... когда изба любая сад получит, лут и двор...»

Кроме стихотворений из разных книг, в сборник вошли отрывки из крупнейшего произведения Конопницкой — поэмы «Пан Бальцер в Бразилии».

В дни великой войны с немецко-фашистскими поработителями поэтическое слово Конопницкой оказалось «мобилизованным». Воины дивизии имени Костюшко, ставшей первоначальным ядром Польского войска, усвоили «Присягу» Конопницкой в качестве боевого гимна, с которым они шли в смертный бой с врагом.

★

Книга «Повестей и рассказов» Ивана Цанкара (1876—1918) знакомит нашего читателя с образцами литературы небольшого словенского народа — одного из членов содружества народов Югославии. В лице Цанкара словенская литература имеет несомненно крупнейшего своего представителя. Вместе с тем творчество Цанкара бесспорно выдающееся явление на общем фоне славянских литератур. Словенский поэт и исследователь С. И. Урбан, выполнивший в данной книге переводы произведений Цанкара и снабдивший их своей вступительной статьей, приводит высказывание сербского профессора Анчелича, который следующим образом определяет значение Цанкара: «Цанкар не только самый великий, но и самый плодовитый словенский писатель. За сорок два года своей жизни он напи-

сал сорок томов. С 1900 года начинается огромная литературная активность Цанкара. Он пишет баллады и романсы, очерки и сатиры, романы и повести, работает и над драмой, и над социальной комедией, занимается литературной критикой.

Творчество Цанкара отличается глубокой и сильной лиричностью. В психологическом углублении своих образов он реалист, но не книжный и не программный. Его реализм поэтичен и национален.

Вошедшие в рассматриваемую книгу произведения Цанкара «Батрак Ерней и его право» и «Повесть о Симоне Сиротинке» развивают сюжеты, почерпнутые из жизни народа. Герои этих произведений — это люди труда. Личный жизненный опыт дал им ощутить всю тяжесть социального гнета, но они еще не созрели для четкого понимания корней господствующей социальной неправды и для активной борьбы с нею. Большею частью эти люди, даже тогда, когда они пытаются заявить прямой протест против существующей социальной неправды, терпят в жизненной борьбе поражение и гибнут. Некоторые рассказы Цанкара («Мать», «Как я стал социалистом») носят автобиографический характер и с этой стороны представляют большой интерес. В рассказе «Человек с того берега» автор не без издевки, смешанной с горечью, высмеивает безвременье, в условиях которого ему приходилось выступать на общественной арене. Большой интерес представляет рассказ Цанкара «Курент». В своеобразной форме древнего сказа с использованием элементов сказочности и фантастики (продажа героем рассказа Курентом своей души черту, получение от последнего чудесной скрипки и т. п.) автор развертывает перед читателем «суровую и трудную» историю словенского народа. Устами своего героя автор говорит: «Крепок ты, о, словенский народ! Тысячу и пятьсот лет истекаешь ты кровью, и еще не иссякла она в твоих жилах. Другой, изнеженный народ давно бы уже погиб, но ты, тысячи раз израненный, только закалился в страданиях. Под тяжестью вражеского кулака только поводишь печами: «Бросьте, эта шутка стара, ей уже тысяча лет!».

Цанкар был убежденным и горячим сторонником объединения югославских народов. В одном из своих выступлений во время первой мировой войны он заявил: «Если дойдет когда-нибудь до политического объединения югославских народов, — а это не только мое горячее желание, но и мое твердое убеждение, что к этому объединению мы действительно идем, — то это осуществится не иначе, как тогда, когда они объединятся как равноправные и равноценные народы». Не случайно, когда в Югославии образовалась для борьбы с гитлеровцами партизанская бригада, состоявшая из словенцев, она приняла имя любимого писателя словенского народа Ивана Цанкара.



Из ныне здравствующих славянских писателей в рассматриваемой серии изданы произведения Радуге Стиенского (родился в 1903 г.).

Черногорский поэт и активный антифашист, член Всеславянского комитета, Стиенский знаком советскому читателю по его стихам, печатавшимся в периодической печати, и по ряду опубликованных им в разные годы отдельных книг. Вышедший в данной серии сборник «Колыбель юнаков» включает в себе, наряду со стихами, посвященными Великой Отечественной войне, также и некоторое количество стихов, созданных поэтом в довоенный период¹ и две сравнительно большие по объему поэмы: «Служская крепость» и «Зеленый меч».

Большое место в творчестве Стиенского занимает родная ему Черногория и черногорский народ. Следует тут же отметить одну особенность творчества Стиенского. В его стихах весьма существенную роль выполняет устное народное творчество. Фольклорная стихия врывается в поэзию Стиенского мощной струей. Он охотно и широко использует сюжеты и мотивы народной поэзии южных славян. Существа и образы, почерпнутые из арсенала славянской мифологии (вилы, водяницы, Див и др.), фигуры легендарных юнаков — богатырей сербского эпоса (Марко Краевич, Релья Крылатый, Рашевич Дуро, Милош Обилич и др.), обилие локальных терминов, обнаруживающих в авторе близкое знакомство с этнографией родной ему страны (часто встречающиеся наименования гор, рек, местностей, селений), упоминания о различных предметах и явлениях народного быта (одежда, музыкальные инструменты, оружие, игры и т. п.) — все это, претворенное в поэтические формы, также близкие к поэтике фольклора, придает стихам Стиенского особые черты, составляющие их неотъемлемое и неповторяемое своеобразие.

В стихах поэт славит свою отчизну — Черногорию. Он тоскует и рвется к родному краю. Поэт прославляет вековую храбрость черногорцев, он полон несокрушимой веры в то, что враги его родины будут уничтожены и черногорский народ вновь добудет себе свободу:

Слушай, черногорец, черногорка:
Без любимой что ты, парень горький?
Что ты, птица, без просторной доли?
Черногория, без волевой воли?
Что ты, рыба, коль иссякнут воды?
Что ты, черногорец, без свободы?

В огромном большинстве своих стихов Стиенский то вплотную, то издали вновь и вновь подходит к теме, которую можно характеризовать как генеральную тему его творчества, определяемую словами: Черногория, юнаки-партизаны, ненависть к фашизму, славянское братство. И о чем бы поэт ни писал, какие бы он ни затрагивал темы из далекого прошлого своей родины, говорит ли он о юнаках сербского эпоса, о хайдутах или об исторических персонажах — во всех этих случаях его адресат по существу один и тот же, ибо его поэзия живет

¹ Нельзя, кстати, не выразить сожаления, что ни одно из стихотворений сборника не датировано, точно так же, как и две помещенные в нем поэмы.

наиболее животрепещущими интересами современной эпохи, наиболее острыми и назревшими нуждами его народа и славянских народов вообще. Эти первоочередные нужды поэт усматривает в необходимости уничтожить фашизм, открыть народам возможность мирного и свободного развития. Поэт верит: «душегубам не спастись от кары», день победы придет.

И в этот день славянский ветер буйный
Развеет мрак, нависший над землею,
И солнце лучезарное свободы
Взойдет над окровавленной Европой...

Стийенский подчеркивает момент единства славян как важный фактор победы над фашистской Германией и сохранения независимости славянских народов.

**Над просторами Востока пахнет порохом
Поднялись на бой великий рати грозные славян.
И над Русью над могучей плещет вновь победы стая.**

РОМАН ДЖЕМСА ОЛДРИДЖА*

Нет такой разновидности фашизма на всем земном шаре, которая бы не представляла опасность для человечества. Нельзя ограничивать масштабы борьбы с фашизмом рамками одного государства, одной национальности. Полное и окончательное уничтожение его — прямая задача всего прогрессивного человечества.

Эта идея пронизывает роман Олдриджа, придавая ему целеустремленность и злободневность. Действие «Морского Орла», как и первого романа Олдриджа «Подписано их честью» (вышел в 1942 году), происходит в Греции, точнее — на Крите.

По обрывистым склонам Юткаса, через Омфалийскую долину — зеленую и прохладную, мимо белых домиков селений, которые нужно старательно обходить, пролегал путь австралийских солдат Эгнеса Берка и Стоуна и случайного спутника их, грека Ниса — основных героев романа Олдриджа. Они идут на юг... Только на юг... К морю. Быть может, там удастся достать лодку и добраться на ней до берега Египта.

Для австралийцев это единственная возможность избежать участи своих товарищей, убитых или плененных немцами, захватившими Крит. Для Ниса, Египет — арена большой, справедливой войны, ибо он убежден, что пока «нет смысла воевать с метаксистами, когда есть железноголовые. Железнодорожные — вот главный враг».

Сюжетная линия романа строится на попытках этих людей осуществить свой план. Они сталкиваются с немецким патрулем, убивают часового, охраняющего лодки, выходят в море, вступают там в борьбу со стихией, которая вынуждает их временно отступить... Затем они те-

Серб и русский бьются рядом, украинец,
чех, поляк.

Грозный путь их триумфален, их единый
клич: вперед.

Их великий маршал Сталин в битву верную
ведет.

Всего Гослитиздатом выпущено семь книг «Славянской библиотеки»¹. Ряд крупнейших славянских писателей еще не изданы. Начатое издательством знакомство советских читателей с творчеством славянских писателей и фольклором славянских народов — дело крайне важное и нужное. Хотелось бы выразить пожелание о том, чтобы творчество издаваемых писателей было представлено полнее и, как правило, сопровождалось обстоятельными вступительными статьями (стихи Радуле Стийенского почему-то вышли без такой статьи).

Л. Благинин

ряют лодку, расстрелянную из пушки забавляющимися эсэсовцем, и участвуют в штурме фортов Гавдоса, сражаются с греческими фашистами и освобождают их узников — крестьян и рыбаков-антиметаксистов.

А когда борьба кончается, только одному из трех, Эгнесу Берку, удается воспользоваться лодкой.

Во время скитаний Берка, Стоуна и Ниса по острову Олдридж знакомит нас со своими героями. Делает он это мягко, не навязчиво, избегая экскурсов в прошлое и родословную персонажей, отказываясь от авторских отступлений и публицистических высказываний. Но Берк, Стоун и Нис предстают перед нами живыми, полнокровными людьми, и мы близко узнаем их, а через их посредство, и самого Олдриджа.

Молодой австралийский писатель не принадлежит к числу «прекраснодушных», верящих в гомеопатию и косметику, как в средства противодействия фашистской доктрине. Он — участник событий, описанных в романе, и, если ему не пришлось, как Берку и Стоуну, с «солотерном» в руках сражаться с фашистами на Крите, он сражася с ними своим полновесным, правдивым и гневным словом.

«Молодой орел» — Нис — сын знаменитого мятежника Галланоса, казненного метаксистами, пробывший три года в тюремных стенах Лариссы, борец по натуре, человек решительных действий...

«Заключение не научило его страху, чувству опасности, как не научила этому нелегальная перевозка оружия из Кувейта. Оно научило его только решительнее действовать, яснее пони-

* Джемс Олдридж. «Морской Орел». Журнал «Знамя», 1944 г., №№ 11, 12.

¹ О сборнике «Болгарская народная поэзия», не рассмотренном выше, см. нашу рецензию в журнале «Новый мир» № 2—3 за 1945 год.

мать, что он делает, и сильнее, гораздо сильнее ненавидеть».

Поток быстро сменяющихся, но вытекающих одно из другого событий захлестывает Ниса. Он уговаривает Берка, Стоуна и англичан принять участие в гавдосской операции. Он сам, ежедневно рискуя жизнью, принимает активное участие в схватке за Гавдос. Он встречается с метаксистами, приехавшими из Египта, и становится свидетелем смерти Стоуна и антифашиста Хаджи Михали от томпсоновских пуль, выпущенных рукою метаксиста.

И вот, Нис стоит над телом Хаджи Михали... «Отец литтосийских рыбаков и всех антиметаксистов. Человек без возраста, который так легко отходил после вспышек и умел смеяться от души и от души обласкаться, но знал и суровость и гнев. Постоянный, не остывающий гнев, но только против метаксистов. И за все это томпсоновская пуля вошла теперь ему в глаз и раздробила череп и мозг».

В эти трагические мгновения решение, давно уже созревающее в душе «молодого орла», отливается в законченную форму и немного позже, когда ветер надует паруса лодки, готовой унести Берка, англичан и его — Ниса, туда, в Египет, для великой борьбы, он просто и проникновенно объясняет Берку, почему он не может покинуть Крит.

Берк, этот коренастый, круглолицый человек, всегда немного внутренне скованный, недоверчивый и насмешливый пришел из далекой Австралии, понял теперь все. Так же хорошо, как Хаджи Михали, как — немного раньше — простодушный и непосредственный Стоун, как сам Нис...

Правдиво и глубоко раскрывает Олдридж процесс созревания новых духовных качеств в Берке и Стоуне.

В начале повествования они только солдаты-одиночки, стремящиеся спастись от врага и скорее соединиться с такими же, как и они, людьми, в форме цвета хаки, выходцами из Сиднея или Мельбурна.

Все на этом острове, где были разбиты их полки и дивизии, чуждо и далеко их сердцам. Берк, например, не желает понять, что когда рыбак-крестьянин отдает им свою лодку, то добровольно обрекает себя и свою семью на нищету.

«Послушайте, — сказал Берк, — речь идет о том, оставаться ли нам на этом острове до окончания века или выбраться отсюда как можно скорее».

Для Эпнеса Берка в этом была неопровержимая логика и здравый смысл. Если уж они сделали это один раз, то тем более необходимо сделать и второй».

Однако оказалось, что существует еще логика братства в освободительной борьбе. Она властно и неумолимо опровергает разумный эгоизм Берка.

За солдата, убитого Берком и Нисом, немцы подвергают тотальному уничтожению весь рыбачий поселок.

«А над вторым, высоким пролетом моста висели два тела. Рыбак Спада, отдавший австра-

лийцам и Нису свою лодку, и его молоденькая жена — Смаро...» Вид страшной виселицы разбивает рассудочную отчужденность Берка. «Это он, Берк, потерпел последнее, непоправимое поражение. Это был полный крах... Сам не зная почему, он принимал все это, как свое, личное».

У Стоуна все несравненно проще. Видя тела греческого рыбака и его жены, Стоун испытывает такое чувство, «словно он побил собаку, обидел ребенка... И в нем закипел такой гнев, что он вскочил на ноги. Ему хотелось голыми руками вцепиться кому-то в горло. Зубами рвать тех, кто повесил Спада и Скороспелку там на мосту. Он неистовствовал от бессилия и омерзения».

Рыжеволосый Стоун, великан Стоун, с добрым и ясным взглядом голубых глаз — подлинный представитель трудящегося народа сражающейся Австралии. У него широкий шаг, и он интуитивно избирает самый прямой путь к тому, к чему Берк приходит извилистыми тропинками.

Впрочем, жизнь сурово учит Берка... И хотя он продолжает цитировать Уайльда и поглядывать на окружающее с легкой скептической усмешкой, разум его звучит в унисон с сердцем Стоуна. Так, предложение принять участие в освобождении антиметаксистов из крепости Гавдос, переданное Хаджи Михали через Ниса, он принимает просто и довольно охотно: «Ладно, если уж так непременно нужно, чтобы мы спасли кого-то с какого-то острова, давайте же спасать. Только чем скорее, тем лучше».

Он уже не тот Берк, с которым мы встретились в начале романа. В сознании его произошел перелом. Берк убеждает группу английских солдат и офицеров принять предложение Хаджи Михали.

Он еще говорит о необходимости достать лодку, но не в ней теперь дело. Не как наемный ландскнехт, но как товарищ греков по оружию, участвует Берк в штурме фортов Гавдоса. И Стоун тоже. Шотландец Макферсон, маленький кошки и ловец губок Сарандаки гибнут в этой операции. Берк выстрелом из «Солотерна» убивает метаксистского солдата, чтобы тот не мог застрелить Хаджи Михали. Все это звенья одной цепи.

А потом последний удар — встреча с метаксистами, приехавшими из Египта, высокомерными, фальшивыми негодаями, и чепелая, страшная гибель Хаджи Михали и Стоуна от руки одного из них.

Но, пожалуй, даже без страшной гибели Хаджи Михали и Стоуна, вместе зарытых в красную литтосийскую землю, Берк смог бы принять то решение, которое без колебаний принял он на площади литтосийской деревни, в час казни метаксистских убийц — до конца бороться с фашистами любой национальности.

В конце концов они поняли и приняли друг друга. Два любимых героя Олдриджа: австралиец Берк и грек Нис. Расставаясь, они стали гораздо ближе друг другу, нежели тогда, когда плечо к плечу брели по дорогам Крита, делили хлеб и глоток воды...

Их сблизил кровь Стоуна и Хаджи Михали, смерть Сарандаки и английских солдат, пролившая за общее дело.

Отныне они товарищи по совместной борьбе с фашизмом, всюду, где бы она ни шла: на Крите и в Северной Африке, в Италии и в Германии...

У Олдриджа лаконичный, точный, выразительный язык, без напыщенности и красивости, стремительное развертывание сюжета, скульптурное изображение характеров...

Берк, Нис, Стоун, Хаджи Михали, Сарандаки — по-настоящему живые люди, с ярко выраженными индивидуальностями. Писатель сумел найти краски для того, чтобы оттенить своеобразные характеры, и это придает им особую убедительность и свежесть.

Переводчику романа Е. Калашниковой, в свою очередь, удалось найти ключ к писательской манере Олдриджа, к его сильному и своеобразному почерку.

Она не просто перевела «Морского Орла» на русский язык, но нашла средства для того, чтобы подчеркнуть и оттенить в переводе литературную манеру Олдриджа.

Нам кажется, что советский читатель, впервые встретившийся с Джемсом Олдриджем, «примет» его, как принимают в нашей стране все честное, смелое и талантливое, поднявшееся для великой борьбы за свободу, честь и счастье народов, населяющих землю.

В. Дмитриевский

СТИХИ А. СУРКОВА*

Говоря о стихах Суркова, написанных в годы Отечественной войны, хочется напомнить слова, произнесенные им на съезде писателей в 1934 году: «Будем держать лирический порох сухим!»

Его стихи военных лет можно назвать поэтическим выполнением этой присяги. Печатавшиеся в тревожные дни 1941 года в «Правде» и «Красной Звезде», они вошли в сознание народа: Москва выстоит и победит.

До войны «музе» Суркова многие критики откладывали в большом чувстве и проникновенности. Но когда пришли дни великих испытаний и потребовали от писателей слова, зовущего на подвиг, именно Сурков оказался среди тех, кто своим поэтическим вдохновением воодушевлял в борьбе.

На нескольких вариациях одного и того же сюжета — расстрел советского человека, его поведение перед смертью — можно проследить, как изменился стих Суркова.

В стихотворении 1933 года «Шестой» (речь идет о пражданской войне) поэт пишет:

Хорошие были ребята,
Ребята были на ять,
Замедленно падал пятый,
Шестой остался стоять.
Шестой пошатнулся сутуло
(Шаг в сторону, шаг назад)
И рыжему есаулу
Взглянул исподлобья в глаза.
Сказал, улыбаясь косо:
Промазал, собачий глот,
Ужо вот тебя матросы
Почище пустят в расход.
Упал на мягкую мятую
Под выстрелами в утробу.

Хорошие были ребята,
Кремневые, на подбор.

Несмотря на то, что сейчас стихотворение это кажется лишенным психологической глубины, в нем без труда можно подметить зарождение целеустремленной героической патетики. Стихотворение построено на «взгляде со стороны». Поэт как бы присутствует при расстреле и выражает в стихах свое возмущенное чувство.

Позднее, в стихах «Ночной разговор» и «Разведчик Пашков» поэт по-другому решает задачу — рассказ о казни ведется от первого лица. Мысли и ощущения приговоренного к смерти получают освещение более сильное и проникновенное. В «Разведчике Пашкове» в ткань повествования очень тонко и умно вводятся характерные детали, интонации. Тем самым создается яркая индивидуальность с ее неповторимыми чертами:

Видно, был я в тот вечер в разведке плох.
Видно, в хитрости я ослаб.

Заманили в засаду, взяли врасплох,
Притащили к начальству в штаб.

Парабеллум приставили мне к виску:

— Говори, подлец, не крути!

Сколько красных в лесу?

— Как в море песку.

— Сколько пушек?

— Пойди, сочти!

Тут начальник всердцах раскроил мне
бровь,

Приказал щекотать штыком.

— Отвечай на вопросы, собачья кровь,

Не прикидывайся дураком!

В трех соснах, — тозорит, — подлец, не
кружись,

Отвечай, подлец, не грубя.

Скажешь правду — в награду получишь
жизнь,

Утаишь — пеняй на себя...

Если быют тебя наотмашь — боль сильна;

Это надо, браток, понять.

Я прикинул в уме — дорота цена —

И решил на себя пенять.

* «Россия карающая». Стихи. «Советский писатель», 1944 г., стр. 100. «Песни гневного сердца». ОГИЗ. Ярославское областное издательство, 1944 г., стр. 376.

Здесь патетика получила самое высокое выражение — она воспринимается, как дыхание живой жизни.

В сборнике «Россия карающая» тоже есть рассказ очевидца о мученической смерти — на этот раз солдаты Прасковьи. Но, в отличие от «Шестого», рассказ стилизован и своим народным колоритом создает характер рассказчика более резко, чем характер самой героини. По одним только интонациям угадываешь, что рассказчик — старый, потрясенный жестокостью немцев человек:

Три ствола,
Три огня
Непокорная, падая, видела.
Не запачкала душу,
Соседей своих не обидела.
Партизанские думки
Врагам на распяты не выдала.
Вот и весь мой рассказ...
Что задумалась? Спи на здоровье,
А ребятам в полку
Расскажи о солдатке Прасковье.

Так изменялся стих Суркова, становясь все более действенным, достигая все большей психологической глубины.

Стихи Суркова воздействуют своей напряженной динамичностью. Достигает он этого чаще всего сближением:

Даже ельник на стуже насквозь продрог,
Даже звезды жмутся к луне.
А они идут вперед без дорог,
По сугробам, по целине.

Динамичны и маршевые ритмы некоторых стихов:

Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.

Но как ни тяжелы контрасты, как ни сильны «прямые и жесткие слова», иногда поэт испытывает неудовлетворенность — ему кажется невозможным выразить всю глубину ненависти:

Здесь немоют слова, здесь песня
бессильна,

Здесь железо, кара, должно кричать.

Противопоставляя мечтам о будущем самые тяжелые испытания действительности, поэт отдает свои симпатии последней. Любовь к реальности имеет свои истоки в прошлом. Не даром герой Суркова сначала

Ходил в рядовых при большой революции,
Подпирая плечом боевую эпоху,

а потом стал солдатом Великой Отечественной войны и натруженными руками добился победы. Герой этот — безразличен, кто он, генерал или солдат, артиллерист или сапер — проходя по земле, повседневно встречаясь с горем, страданиями, смертью, всегда стоит на пути к победе:

Будет пуля с рассветом искать человечью
судьбу,
Будет писарь под вечер в списках гасить
имена,
Смерть и горечь утраты прорежут морщины
на лбу,
Седина под фуражкой отчетливей станет
видна.

Но свинец для победы хранится в ружейном
стволе
И война — есть война. И суровы законы
борьбы.

Вот почему поэт так настойчиво возвращается к теме единоборства со смертью.

В последних стихах Суркова начинает проявляться новая черта — события даются им в исторической перспективе.

Русская мать, умирая, говорит палачу:

Труд твой напрасный. Меня убьешь —
Россия будет жива.
Россия тысячу лет жила,
Множила племя свое.
Сила твоя, лядящий, мала,
Чтобы убить ее.

Эти слова призваны раскрыть природу стойкости русского человека. Правда, не все попытки Суркова в этом отношении удачны. Конкретные исторические лица, к которым обратился поэт, не ожили. Стихотворение о четырех адмиралах (Корнилове, Нахимове, Истомине и Лазареве), следящих за подвигами своих правнуков-матросов, нельзя назвать ни современным, ни историческим. Поэтического сродства двух эпох не получилось. Но там, где поэт не увлекается конкретным материалом, в его стихах живет ощущение исторического бессмертия русского человека.

Все как прежде, как в древние войны:
Поселенцы уходят в леса,
И звучат в деревнях беспокойных
Причитающих баб голоса.

Ночью зарев кровавых свеченье,
Днем по селам расправа и суд,
Упокойников вниз по теченью
Тихо русские реки несут.

Но из русского ратного стана
Стежки к стану врага не видать.
К сапогам чужеземного хама
Не приходят послы припадать.

От обиды, утраты и боли
Не ступилось ни сердце, ни меч,
С Куликова старинного поля
Веет ветер невиданных сеч.

Что можно поставить в упрек поэту? Среди страданных, ярких строк нередко встречается у него написанные по инерции, безжизненные словосочетания: «яростные битвы», «грозовые дни» и т. д. Попадают невыразительные образы:

Нашу нежность злоба не выгнала,
если в сердце любовь цветет,

или:

Из-за речки Ольховки прохладный
сентябрьский рассвет
Он в родное село принес на солдатских
плечах.

Но эти и некоторые другие недостатки поэзии Суркова относятся к частностям, останавливаться на них нет оснований. Когда победа с нами, когда отчетливо вспоминаются усилия, которыми она была добыта, нужно признать, что своими стихами Сурков помогал борьбе.

О. Боровкова

НОВЫЕ КНИГИ



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БРАУН, Н. — *Морская слава*. М., Л., Военмориздат, 1945, 72 стр., ц. 2 руб. — «Морская слава» — сборник лирических стихов поэта, написанных в 1941—1944 гг. С самого начала Отечественной войны творчество Н. Брауна связано с жизнью Краснознаменного Балтийского флота. В тяжелые дни блокады Ленинграда поэт сотрудничал в газете «Красный Балтийский флот». Большинство включенных в сборник стихов печаталось в этой газете. Основные темы поэта — традиции и героическая борьба советского военно-морского флота, доблестная оборона Ленинграда.

ВАДЕЦКИЙ, Б. — *В морях твоя дорога*. Военмориздат, 1945, 149 стр., ц. 2 руб. 75 коп. — «В морях твоя дорога» — историческая повесть о лицейском товарище Пушкина — Федоре Матюшкине, который был одним из замечательных русских людей XIX века. Человек энциклопедической образованности, он стал страстным мореходом, участником славных экспедиций, обогативших нашу отечественную науку. Жизнь Матюшкина ярка и интересна.

Автор повести обнаружил хорошее знание исторических документов и биографии Матюшкина. С точки зрения познавательной повесть Вадецкого представляет интерес. Что же касается глубины художественной «разработки» характеров, то с этой стороны повесть вызвала критическую оценку.

В изображении характера главного героя не вполне раскрыта его индивидуальность. Художественное повествование порой подменяется суховатым изложением. Являясь первой работой о выдающемся русском мореплавателе, повесть Вадецкого будет встречена читателем с интересом.

ВАСИЛЕВСКАЯ, ВАНДА. — *Просто любовь*. Перевод с польского Е. Усиевич. Гослитиздат, 1945, 112 стр., ц. 3 руб. — Имя писательницы Ванды Василевской, автора популярных произведений «Земля в яре», «Пламя на болотах», «Радуга», широко известно нашему читателю.

В повести «Просто любовь» автор изображает богатство духовного мира и благородство советских людей в дни испытаний, порожденных войной. Героиню повести Марию постигает тяжелое горе. Самый близкий и дорогой ей человек, Григорий, после тяжелых ранений стал калекой, лицо его обезображено до неузнаваемости. Василевская рисует сложные переживания героини. Писатель не скрывает суровой истины — колебаний и раздумий Марии. Но цельность и благородство натуры героини побеждает. Все лучшие качества ее души воспитаны советским строем, ей чуждо непостоянство и равнодушие. Мария остается до конца верной своему чувству и находит с Григорием подлинное счастье. Повесть кончается картиной победного салюта в Москве: «Открылась прямая и ясная дорога... и эта дорога была дорогой счастья».

ВИНОГРАДОВ, А. — *Три цвета времени*. Роман в 4-х частях. Предисловие М. Горького. Гослитиздат, 1945, 512 стр., ц. 10 руб. — Книга А. Виноградова достаточно известна нашему читателю. Ее достоинства и личность героя-классика французской литературы Стендаля всесторонне охарактеризованы М. Горьким.

«Проницательность ума и сила воображения Стендаля позволили ему прекрасно видеть лицемерие, живность мещанства, непримиримость противоречий мещанского строя. А. К. Виноградов совершенно прав, указывая, что буржуазная критика закрывала глаза на опасные выводы Стендаля. Он был чужим человеком в литературе его эпохи и, понимая это, шутили, но почти безошибочно сказал: «Меня будут читать в 1935 году».

Читать и понимать его стали раньше, но литераторы учились на его книгах всегда и еще долго будут учиться. И, кажется, еще долго будут судить о нем, исходя из оценки французской критики, как это случилось с талантливым Стефаном Цвейгом, который причислил Стендаля к «певцам своей жизни», не заметив в нем поэта и апологета творческой энергии.

Молодым нашим литераторам особенно полезно учиться у человека, который умел из обычного факта уголовной хроники развернуть широкую, яркую картину своей эпохи.

Предлагаемая книга показывает Стендаля таким, каков он был и каким его не видели до сей поры.

ГРИБОЕДОВ, А. С. — *Горе от ума. Детизд, 1945, 150 стр., ц. 3 руб. 50 коп.* — Комедии Грибоедова предпослан биографический очерк В. Орлова. В очерке популярно изложены основные этапы жизни и творчества писателя и кратко определено значение комедии «Горе от ума» в истории русской культуры:

«Грибоедов принадлежит к числу великих и славных сынов русского народа. Он был пламенным патриотом, глубочайшим образом проникнутым чувством национальной гордости. «Мне не случилось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы так пламенно, так страстно любил свое отечество, как Грибоедов любил Россию, — рассказывает один из его друзей. — Он в полном значении обожал ее. Каждый благородный подвиг, каждое высокое чувство, каждая мысль в русском приводила его в восторг».

Этой страстной любовью к родине и к родному народу проникнуто все творчество Грибоедова и прежде всего — его гениальная комедия «Горе от ума». Он хотел видеть Россию в силе и славе, очищенной от всяческой скверны, от всего, что угрожает уму, блатородству, чувству человеческого достоинства. Он обличал мир Фамусовых и Молчалиных во имя лучшего будущего родного народа, во имя его счастья и благоденствия».

Характер вступительной статьи говорит о том, что книга предназначена главным образом для учащихся средней школы. Для лучшего понимания творческого замысла и содержания комедии ее текст сопровождается приложениями: статьей И. А. Гончарова «Мильон терзаний» и выдержками из писем Грибоедова к С. Н. Бегичеву и к П. А. Катенину.

ДНИ БОЕВЫЕ — *Рассказы и стихи о Великой Отечественной войне. Детиздат, 1945, 167 стр., ц. 8 руб. 50 коп.* — «Дни боевые» — сборник избранных рассказов, поэм, баллад советских писателей о героических эпизодах Великой Отечественной войны. Произведения и отрывки, вошедшие в эту книгу, рисуют картины недавнего прошлого, рассказывают о событиях того времени, когда советский народ героически очищал родную землю от немецких захватчиков. Предназначен сборник для учащихся неполной средней и средней школы. Произведения, включенные в книгу, хорошо известны советскому читателю. В сборнике представлены: Михаил Шолохов («Солдатская дружба»), Конст. Симонов («Сын артиллериста»), А. Толстой («Русский характер»), Сергей Михалков («Мать»), Аркадий Гайдар («Фронтовые записки»), Леонид Соболев («Два-У-два»), Н. Тихонов («Баллада о трех комму-

нистах»), М. Исаковский («Легенда»), Лев Кассиль («Вдова корабля»), В. Лебедев-Кумач («Комсомольцы-моряки»), «Старшина второй статьи»), И. Френкель («Баллада о дружбе», «Давай закурим») и другие. Сборник иллюстрирован художниками К. Арцеуловым, М. Тарановым и В. Щегловым.

МАЯКОВСКИЙ, В. — *Владимир Ильич Ленин. Поэма. Гослитиздат, 1945, 96 стр., ц. 1 руб.* — Поэма «Владимир Ильич Ленин» написана под непосредственным впечатлением смерти Ильича и занимает центральное место в творчестве Маяковского.

В поэме освещен революционный путь Ленина на фоне крупнейших исторических событий. Первые революционные рабочие кружки, первые шаги партии, революция 1905 года, борьба с реакцией, Циммервальдская конференция, социалистическая революция в октябре 1917 года, гражданская война, социалистическое строительство — все это, как образно говорит поэт, «шаги Ильича от победы к победе» и одновременно все это — шаги от победы к победе главной партии большевиков, созданной и выпестованной Лениным. Каждый этап исторического движения нашего народа в революционную эпоху связан с творческой ролью Ильича.

Кончается поэма «Владимир Ильич Ленин» картиной похорон Ильича. Мужественные стихи эти в памяти у каждого. С огромной силой провозглашает поэт решимость партии и народа идти по тому пути, который указан Лениным. В этом глубочайшая правдивость и народность поэмы. Поэтому она проникнута такой бодростью, оптимизмом, искренностью.

Нужно пожалеть о том, что эта замечательная поэма издана в непривлекательном, сером оформлении.

НАВОИ, АЛИШЕР. — *Лейли и Меджнун. Перевод с узбекского и вступительная статья Семена Липкина. Гослитиздат, 1945, 212 стр., ц. 5 руб.* — Творения великого узбекского мыслителя и поэта XV века Алишера Навои представляют выдающееся явление в мировой художественной литературе. Он оставил свыше тридцати произведений в прозе и стихах. Его «Хомса» («Пятирца») состоит из пяти поэм. Одно из них является «Лейли и Меджнун». В основу ее положена арабская легенда о юноше Хойсе, прозванном за свою безумную любовь к Лейле безумцем, «меджнуном». В поэме Навои утверждается неистребимая вера народа во всепобеждающую силу чистой человеческой любви. Глубокое философское содержание поэмы сочетается с живописностью и музыкальностью слова. Как говорит переводчик в предисловии, он стремился «донести до русского читателя особенности поэтики Навои и раскрыть основной замысел поэмы великого гуманиста и поэта узбекского народа».

О ЛЕНИНЕ — *Сборник художественных произведений. Гослитиздат, 1945, 215 стр., ц. 4 руб.* — Материал сборника расположен в хронологическом порядке соответственно основ-

мым этапам жизни и деятельности Ленина. Это дает возможность читателю проследить в художественных образах биографию Ильича, глубже понять великое историческое значение его бесмертных идей.

Книга открывается исторической речью И. В. Сталина «О Ленине», произнесенной 28 января 1924 года на вечере кремлевских курсантов. Товарищ Сталин яркими, впечатляющими словами воспроизвел облик Ленина — близкого, родного человека и гениального революционера. Живой образ Ильича нарисовал вслед за товарищем Сталиным А. М. Горький в воспоминаниях о Ленине.

Деятельности Ленина в годы революции и гражданской войны в сборнике посвящено несколько произведений. Это рассказ А. Кононова «Праздник», К. Федина «Рисунок с Ленина», отрывки из повести А. Толстого «Хлеб», из романа Всев. Иванова «Пархоменко», картина из пьесы А. Корнейчука «Правда». В рассказе Кононова показан торжественный момент встречи народом своего вождя — 3 апреля 1917 года — у Финляндского вокзала, где Ленин с броневика произнес историческую речь, призывая массы к социалистической революции.

Деятельность Ленина в восстановительный период иллюстрируется картинками из пьесы Н. Погодина «Кремлевские куранты», стихотворениями М. Исаковского «Докладная записка» и А. Твардовского «Ленин и печник».

В сборнике напечатан ряд произведений Маяковского. В 1923 году, после первых сообщений о тяжелом состоянии здоровья В. И. Ленина, В. Маяковский написал стихотворение «Мы не верим!» Потрясенный смертью вождя, он создает поэму «Владимир Ильич Ленин». Ленину Маяковский посвящает ряд других прекрасных стихотворений: «Ленин с нами», «Разговор с товарищем Лениным». О Ленине говорит он в поэме «Хорошо».

Художественная проза представлена отрывками из романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Ленин не является действующим лицом этого романа, но через героев Островского мы ощущаем величие Ленина как вождя народа, всеобщую любовь трудящихся к нему.

Книга завершается циклом стихотворений и рассказов о Ленине, созданных в годы Великой Отечественной войны.

ПАСТЕРНАК, Б.—*Земной простор. «Советский писатель», 1945, 46 стр., ц. 4 руб. 50 коп.*— В новой книге Пастернака напечатаны и стихи, написанные в последние годы. Первая часть книги составляет цикл «На ранних поездках». В стихах этого цикла еще и еще раз повторяется излюбленная лирическая тема поэта. Тонкое изображение подмосковного пейзажа («Сосны», «Летний день») сменяется программным стихотворением, излагающим поэтическое кредо поэта («Дрозды»), бытовыми лирическими картинками («Вальс со слезой», «На ранних поездках»).

Вторая часть книги названа «Стихи о войне». В появившихся критических отзывах (напр.,

статья А. Тарасенкова, «Знамя», 1945 г., № 4) высказано мнение, что военная тема художественно «разработана» Пастернаком, по сравнению со стихами первого цикла, несомненно более слабо. Многие стихи Пастернака о войне страдают риторичностью и сухостью («Смелость», «Смерть сапера», «Преследование», «Разведчики», «Неотглядность»). Указывается, что налицо расхождение в степени поэтической силы и убедительности между стихами первой и второй части книги «Земной простор».

СЕМПЕР, ИОАННЕС.—*Стихи. Перевод с эстонского. Гослитиздат. 1945, 69 стр., ц. 1 руб.*— Иоганнес Семпер — выдающийся поэт, критик, публицист и общественный деятель Эстонии. За тридцать лет литературной деятельности им опубликовано несколько сборников стихов и романов, ряд литературно-критических работ.

В настоящем сборнике помещены избранные стихи из трех основных сборников поэта: «Солнце в канаве» (1930 год), «Колесо ветров» (1937 год) и «Не могу молчать» (1943 год). Многие из этих стихотворений были в свое время переведены на ряд европейских языков.

Профессор Тартуского университета, редактор (в течение десяти лет) самого крупного литературно-художественного журнала в Эстонии «Творчество», Иоганнес Семпер в июне 1940 года принимает активное участие в организации советской власти в Эстонии. Он — член Верховного Совета ЭССР и нарком просвещения Эстонии. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на то, что поэту приходится вести большую организационную и общественно-политическую работу, Семпер создает целый ряд замечательных поэтических произведений. Именно в эти годы в поэзии Семпера получает особенно яркое звучание тема родины. Страдания пораженной немцами Эстонии, «как пылающий уголь», жгут сердце поэта. Родина стоит перед его внутренним взором, как «нива, побитая градом», вызывающая к мести. Гневные строки поэта полны непоколебимой веры в победу Красной Армии и освобождение родной страны от ненавистных захватчиков.

Сборник стихов Семпера сопровождается статьей Л. Блюмфельд, в которой содержится краткая характеристика поэта и его творчества.

СОЛОВЬЕВ, Л.—*Иван Никулин — русский матрос. Кино-сценарий. Госкиноиздат. (Библиотека кино-драматургии), 1945, 109 стр., ц. 5 руб.*— Кино-сценарий «Иван Никулин — русский матрос» написан Соловьевым по мотивам его популярной повести о бессмертных подвигах советских моряков в тяжелые дни фашистской оккупации.

Минер Иван Никулин, оказавшись в окружении, сколотил из моряков партизанский отряд и совершил с ними много славных дел. Отважный моряк погиб смертью героя, но его имя получило легендарную известность.

Сейчас на экранах кино-театров нашей страны с успехом идет фильм, поставленный по сценарию Л. Соловьева.

СТАНЮКОВИЧ, К. — *Морские рассказы. Книга 7-ая. Военмориздат, 1944, 462 стр., ц. 8 руб. 50 коп.* — Седьмая книга «Морских рассказов» Станюковича — одна из последних в этом издании. В нее вошли сцены из морской жизни — «Вокруг света на «Коршуне», «Жертвы моря», «Пожар на корабле» и неопубликованное стихотворение к гибели броненосца «Гангут» — «Кто виноват», разоблачающее самодержавные правительственные сферы старой России.

Книга Станюковича «Путешествие вокруг света на «Коршуне» — любимая настольная книга юношества. Она построена в традиционном плане морских путешествий.

К. М. Станюкович по праву считается родоначальником и «флагманом» русской морской литературы. Он как бы «открыл» для читателей морскую жизнь во всей ее полноте, быт и душу русских моряков. Герой Станюковича — матрос русского парусного флота прошлого века. Немного найдется и в иностранной литературе произведений, где бы жизнь на море была изображена с таким проникновением и знанием.

Внимание Станюковича к душе простого русского человека — матроса воспитано в писателе идеями его учителей, революционных демократов Чернышевского, Добролюбова. Это придает его рассказам какую-то особую душевность и ясность взгляда.

Станюкович не только изобразил жизнь и душу русского матроса, но и создал великолепные картины морской стихии. Несмотря на некоторое однообразие, они не превзойдены по реальности изображения. Станюкович — летописец целого периода в истории нашего флота. В этом смысле сбылось пожелание отца писателя, «беспокойного адмирала», о сохранении навсегда фамилии Станюковичей в списках русского флота.

ФОНВИЗИН, Д. — *Пьесы. «Искусство», 1945, 154 стр., ц. 10 руб.* — Книга издана в честь двухсотлетия со дня рождения замечательного русского писателя Д. И. Фонвизина (1745 — 1945). В нее включены классические пьесы, успешно выдержавшие длительнейшее испытание временем — комедии «Бригадир» и «Недоросль». «Недоросль» по праву считается шедевром русской комедии. С этой сатирой преемственно связаны творения Грибоедова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Гоголь, сравнивая комедию Фонвизина с «Горе от ума», писал:

«...огнем негодования лирического заглясь беспощадная сила их насмешки. Это — продолжение той же брани света со тьмою, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольным ратником света».

Патриотизм сатиры Фонвизина видел и Пушкин, заметивший, что «Недоросль» остается «единственным памятником народной сатиры» в эпоху Екатерины II. Пушкин писал брату Льву

о Фонвизине: «Он русской, из перерусских русской».

Драматургические достоинства комедии Фонвизина принесли ей исключительную популярность у зрителей. Как пишет один из исследователей театра Фонвизина: «Дальнейшая сценическая жизнь обеих комедий Фонвизина сложилась необычайно счастливо — они ставились часто на всем протяжении XIX века, и в них играли почти все замечательные деятели русской сцены, в том числе и М. С. Щепкин. Выдающимися Митрофаном и Скотининым на петербургской сцене были Давыдов и Варламов. Скотинина играл Пров Садовский на московской сцене, которая дала и других интересных исполнителей ролей «Недоросля», в том числе Рыбакова — Простакова и др. В «Бригадире» эта же сцена дала таких исполнителей, как Садовская, Никулина, Правдин и др.»

Советские драматурги ценят в Фонвизине одного из учителей сценического реализма. И советские читатели видят в сатире, по выражению Пушкина, «друга свободы», любимца передовых людей своего времени. Книга Д. Фонвизина «Пьесы», выпущенная издательством «Искусство», оформлена культурно и производит хорошее впечатление.

ЧУКОВСКИЙ, Н. — *Ночи на острове. М., Л. Военмориздат, 1945.* — Книга Н. Чуковского — дневник военного журналиста, свидетеля ожесточенных боев на одном участке обороны Ленинграда. Писатель затрагивает события от самых напряженных дней блокады до наступления войск Ленинградского фронта, которые прорвали вражеские силы, окружавшие героический город, и погнало их на запад. Герои Н. Чуковского — преимущественно летчики. Нужно сказать, что автору не удалось добиться широких художественных обобщений. Книга носит очерковый характер. Написана она в обычной сдержанной писательской манере Н. Чуковского, хорошо владеющего технологией слова, но чрезмерно скупого в воспроизведении лирического начала человеческой души. Это явственно сказывается и на общем тоне книги, и на характерах героев.

ШТЕЙН, АЛЕКСАНДР. ЗЕЛЬЦЕР, ИО-ГАНН. — *Подводная лодка Т-9. Кино-сценарий. Госкиноиздат, (Библиотека киноматериала), 1945, 80 стр., ц. 4 руб.* — Кино-сценарий «Подводная лодка Т-9» рассказывает о тяжелом и самоотверженном труде советских подводников в годы Отечественной войны. Сюжетом сценария служит боевой поход подводной лодки под командованием капитан-лейтенанта Кострова. Авторы сценария нашли типичный эпизод, живо и интересно построили действие. Это определило благоприятное отношение зрителей к вышедшему на экран фильму, поставленному на основе кино-сценария «Подводная лодка Т-9».

ЩИПАЧЕВ, С. — *Домик в Шушенском. Поэма. «Советский писатель», 1945, 19 стр., ц. 1 руб.* — Поэма С. Щипачева «Домик в Шу-

шенском» рисует облик Владимира Ильича Ленина в годы сибирской ссылки и чувства советских людей, связанные с именем великого вождя.

Конец прошлого века. Крестьянская изба в селе Шушенском. Здесь, в далеком Енисейском крае, Ленин провел три долгих года сибирской ссылки. Здесь он закончил труд «Развитие капитализма в России». «Домик в Шушенском» — поэма С. Щипачева — свидетельствует о значительности каждого факта из биографии Ильича. Поэтическое воображение уносит нас в избу, где «окно бело от снега». За полночь, при свечке торопливо пишет Ильич.

Искренним преклонением перед вождем дышат строки поэмы, посвященные гениальности предвидения Ленина. Еще железной рудой в недрах земли лежат те пушки, которые будут на «Авроре», но

Сквозь выюги девятнадцатого века,
Двадцатый век, он разглядел тебя.

Прочные нити протягиваются из Шушенского в Петербург, в Тбилиси, во все концы огромной страны.. Глухой ночью за Нарвской заставой собираются ученики и соратники Ленина — участники «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В те годы, рассказывает поэт, юноша Сталин несет идеи ленинизма народу. Поэма образно говорит о значении Ленина и Сталина в судьбах нашей родины. Она передает высокие чувства советского человека, победившего под знаменем Ленина—Сталина злейших врагов нашей родины. Заканчивается поэма выразительными, проникновенными словами:

«Стена Кремля седого — рядом с нами,
Вперед простерта Сталина рука:
— Пусть осенит вас ленинское знамя...—
И эхом вторят Сталину века».

ИСКУССТВО

ЗОТОВ, А. — Александр Иванов. «Искусство», (Массовая библиотека), 1945, 31 стр., ц. 2 руб. — Картины живописца Александра Иванова (1806—1858) заняли место в ряду лучших произведений русской живописи, но многие стороны творчества художника еще не истолкованы. Брошюра А. Зотова не приоткрывает завесы над тем, что остается «загадочным» в творческой деятельности художника. В ней живо изложена биография Иванова в том объеме, как это необходимо для популярного издания. Анализ произведений А. Иванова дан несколько скупой. Все внимание автор сосредоточил на характеристике главного художественного труда Иванова — картины «Явление мессии народу». Большое достоинство брошюры — стремление ее автора тесно связать деятельность художника с историей передовой русской общественной мысли.

Иванов в свое время стремился возглавить передовую художественную школу, формировавшуюся тогда в России. Он стал задумываться над эстетической и общественной программой нового, демократического искусства. «Искусство, развитию которого я буду служить, будет вредно для предрассудков и преданий, — сказал он Чернышевскому. — Это заметят и скажут, что оно стремится преобразовывать жизнь... Оно действительно так». В этих словах уже содержатся принципы русской художественной школы второй половины XIX века, творческие идеи продолжателей и последователей Иванова — художников Крамского, Ге, Поленова, Репина, Сурикова.

За гробом художника шли Н. Г. Чернышевский, А. Н. Добролюбов, Н. А. Некрасов, художники, ученые, литераторы и многочисленная молодежь. Среди них был и юный Крамской — будущий организатор и идейный руководитель «передвижников».

Книжка оформлена скромно, но культурно: на хорошей бумаге, шрифт четкий, клише напечатаны вполне удовлетворительно.

НЕДОШИВИН, Г. — Федотов. «Искусство», (Массовая библиотека), 1945, 35 стр., ц. 1 руб. — Книжка за книжкой выходит в свет массовая библиотека, посвященная деятелям живописи и театра, начатая в прошлом году издательством «Искусство». Биография родоначальника новой эпохи русской живописи Павла Андреевича Федотова (1815—1852), изданная в этой серии, заинтересует каждого любящего искусство. Автор правильно определяет место Федотова, видя в создании художника начало реалистического искусства XIX века. Открыв для живописи сферу повседневной жизни и придав искусству бытового жанра большое значение, Федотов вместе с тем одним из первых определил в своих картинах нравственный и гражданский долг художника.

В книжке Недошивина популярно изложена биография художника и дана характеристика его выдающихся картин («Игроки», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Разборчивая невеста», «Утро после пирушки», «Вдовушка», «Смерть Фидельки», «Автопортрет» и др.) В каждом произведении Федотова автор раскрывает светлый образ художника, который стремится к добру и правде и страстно любит жизнь. По сравнению с другими книжками массовой библиотеки «Искусства», книжка о Федотове издана менее тщательно: бумага серая, репродукции неясные.

ЧАПЛИН, ЧАРЛЬЗ СПЕНСЕР. — Материалы по истории мирового киноискусства. Т. II — Американская кинематография, Госкиноиздат, 1945, 205 стр., ц. 30 руб. — Чаплин, творчеству которого посвящен второй том «Ма-

териалов по истории мирового киноискусства», — один из крупнейших современных художников кино.

Его фильмы — не только биография одареннейшего мастера. Они отражают процессы, которые происходили и происходят в американской кинематографии. Чаплин не только мастер кино, но и художник-демократ, друг Советского Союза. Он прекрасно выразил настроения и чувства передовых художников США:

«Я приветствую тебя, Советский Союз, за величественную борьбу, которую ты ведешь во имя свободы».

Несмотря на клевету, которая чернила дело, за которое вы боретесь, вы выросли мужественными и свободными, явились вдохновляющим примером для обыкновенных людей. Добрая сила скрывается за поступками людей, она выходит за пределы человеческих возможностей. Эта сила — стремление к добру».

«Передовая линия демократии, — говорил Чаплин, — проходит на русском фронте. Они

(русские) сражаются не только за свои принципы понимания жизни, но и за наши».

Так художник Чаплин, посвятивший всю свою творческую жизнь борьбе за счастье «маленького человека», сливается с Чаплиным-гражданином, который активно борется за идеалы демократии.

Книга делится на две части. Первая состоит из статей и исследований о Чаплине (М. Блейман «Образ маленького человека», Г. Козинцев «Народное искусство Чарли Чаплина», С. Юткевич «Сэр Джон Фальстаф и мистер Чарльз Чаплин», Эйзенштейн «Charles the Kid»). Во второй части книги публикуется документация, состоящая из высказываний самого Чаплина о себе и своем творчестве: «Автобиография», «Мой секрет», «Что же любит публика», «О моей работе», «Вдохновение», «Как заставить людей смеяться», «Будущее немого кино» и т. д. В конце книги прилагается подробный перечень фильмов, поставленных Чаплиным.

ИСТОРИЯ—ФИЛОСОФИЯ—ЭСТЕТИКА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ. — Выпуск 14-й. Издательство Академии наук СССР, 1945, 201 стр., ц. 10 руб. — Открывается 14-й выпуск «Исторических записок» статей Б. Д. Грекова «Волжские болгары в IX—X вв.» На основании новых материалов автор освещает различные стороны жизни государства болгар — одного из многочисленных европейских средневековых государств, выросших в результате общественно-экономического развития нескольких народов, поселившихся на берегах среднего течения Волги и ее притоков.

Н. П. Шокальский выступает в сборнике со статей «Договоры Новгорода с Норвегией». Скандинавские историки много писали о борьбе новгородского государства с Норвегией в стране саамов. Однако работы скандинавских ученых, проникнутые духом буржуазного национализма, во многом отходят от истины. Цель статьи Шокальского пересмотреть некоторые русские и западные исторические источники, чтобы иметь возможность восстановить общую картину отношений Новгорода и Норвегии в стране саамов в XIII—XIV вв.

С большим интересом читается также исследование Л. В. Черепнина «Смута и историография XVII века». Автор показал, что в XVII веке на Руси велись серьезные историографические работы, сосредоточенные главным образом при патриаршей кафедре и в посольском приказе. При чем автор выясняет, что официальная концепция Смутного времени, окончательно сложившаяся в третьем десятилетии XVII века, надолго определила подход к изучению событий крестьянской войны и польской интервенции XVII в. со стороны некоторых школ в последующей историографии. Кроме отмеченных работ, в «Исторических записках» напечатаны еще следующие исследования: К. В.

Базилевич «Новгородские помещики из послужильцев в конце XV в.», К. Н. Сербин «Книга Большого чертежа и ее редакции», И. С. Макаров «Пушной рынок Соли Вычегодской в XVII в.» и С. А. Токарев «Происхождение сельской общины у якутов».

КРАЧОВСКИЙ, И. Ю. — *Над арабскими рукописями.* Издательство Академии наук СССР, 1945, 118 стр., ц. 6 руб. 50 коп. — В живой и увлекательной форме автор — академик Крачковский рассказывает о своих работах над старинными арабскими рукописями. Расшифровка и исследование их показаны И. Ю. Крачковским как в высшей степени интересное и плодотворное дело, способное возбудить горячий энтузиазм. Книга покоряет своей свежестью и богатством творческих эмоций. Она занимательна в одинаковой степени и для юношества, так как в ней, кроме узкой исследовательско-профессиональной темы, ярко освещена всечеловеческая тема — романтика труда. Вместе с тем она вся проникнута и романтической познания: в этом отношении велико и общее воспитательное значение книги И. Ю. Крачковского.

Автор следующим образом характеризует смысл своего труда: «Мне прежде всего хотелось показать, что переживает ученый в своей работе над рукописями, немного приоткрыть те чувства, которые его волнуют и о которых он никогда не говорит в своих специальных трудах, излагая добытые научные выводы. Мне хотелось рассказать о радостях и огорчениях кабинетной работы, про которые многие и не подозревают, считая ее скучной, сухой, оторванной от жизни».

Может быть, в моем рассказе увидят слишком много сентиментальности и романтизма, но я не

боюсь этого упрека: так я переживал свою работу и так о ней вспоминаю...

Я не скрываю, что хотел немного пропагандировать свою область, полным голосом заговорить про восточную филологию. По мере сил я старался показать, что в ней работают люди не только потому, что к этому влечет их субъективный, как думают некоторые, спранный вкус, что к ней стремятся не только любители экзотики или уходящие от жизни отшельники. Вспоминая свои переживания над рукописями, я не мог не говорить о том, как малейшая деталь работы здесь связывается с широкими вопросами истории культуры, как все в конечном итоге вливается в мощное движение на пути к высоким идеалам человечества.

В дополнение к этим словам ученого мы можем сказать, что его труд вполне достиг цели.

Подполковник СИДОРОВ В. И. — *Разгром немцев на Севере, Госполитиздат, 1945, 31 стр., ц. 80 коп.* — В брошюре освещается наступательная операция войск Карельского фронта в Заполярье (октябрь 1944 г.). В результате этой операции 20-я лапландская армия немцев была полностью разгромлена. Тысячи гитлеровских солдат и офицеров нашли себе могилу в болотах Заполярья.

Разгромом северной группировки немцев и занятием войсками Карельского фронта Печенгской области была ликвидирована опасность, угрожавшая Мурманску.

Нашими войсками был освобожден от немецких захватчиков важный для Советского Союза военно-экономический район. Одновременно с занятием основной немецкой базы в Баренцовом море — Киркенеса и района Варангер-фиорда значительно была ослаблена опасность, грозившая морским коммуникациям Советского Союза на Севере.

Красная Армия получила возможность протянуть руку помощи союзной Норвегии.

Разгром немецкой группировки на Севере является блестящим образцом высокого боевого мастерства Красной Армии.

Советское правительство отметило боевые заслуги воинов, защищавших северные подступы нашей родины. Президиум Верховного Совета СССР учредил специальную медаль «За оборону Советского Заполярья». Эта медаль украсила прудь героических защитников Советского Заполярья, самоотверженно выполнивших свой воинский долг. В. И. Сидоров нарисовал последовательную картину событий и описал трудные условия Севера, в которых пришлось воевать нашим солдатам.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, Н. Г. — *Антропологический принцип в философии. Госполитиздат, 1944, 88 стр., ц. 2 руб.* — «Антропологический принцип в философии» (1860) — одно из наиболее выдающихся философских произведений великого русского социалиста, предшественника российской социал-демократии, Николая Гаврило-

вича Чернышевского. Работа эта была написана и опубликована в разгар борьбы против крепостного права в России. Пытаясь примирить все борющиеся стороны, видный идеолог народничества П. А. Лавров выступил со своей «практической философией», представляющей эклектическую смесь из воззрений философов самых разнообразных течений и направлений. Это и побудило Чернышевского выступить с большой статьей «Антропологический принцип в философии», в которой он дал глубокую критику идеализма, эклектизма, субъективизма Лаврова, разоблачил реакционный характер философских учений Фихте, Шопенгауэра, О. Конта, Прудона и др. и развил важнейшие положения своей теории познания, близкой к теории познания диалектического материализма. Ленин высоко ставил теорию познания Чернышевского и противопоставлял ее гносеологической схоластике российских махистов, как пример материалистической теории познания.

«Чернышевский, — писал Ленин, — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее, не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса» (Ленин, Соч., т. XIII, стр. 294—295).

В истории передовой русской общественной мысли Чернышевский сыграл исключительную роль. И знание наследия вождя революционных демократов 60-х годов немислимо без изучения «Антропологического принципа в философии».

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, Н. Г. — *Эстетические отношения искусства к действительности. Госполитиздат, 1945, 158 стр., ц. 4 руб. 50 коп.* — Появление в свет массового издания знаменитой диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» имеет огромное положительное значение.

Блестящий ученый, историк, экономист, философ, критик, беллетрист — Николай Гаврилович Чернышевский занимает почетное место среди политических деятелей русской истории, среди представителей русской, а также мировой науки и литературы.

Знаменитая диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» была боевым манифестом передовых русских демократов шестидесятых годов, выступивших против всяких видов порабощения человека.

Диссертация начинается с разбора важнейшего эстетического понятия — понятия прекрасного. Исключительное внимание критика-материалиста к учению о красоте вполне понятно: главное назначение искусства современные ему идеалистические системы эстетики видели в изображении прекрасного. Понятие прекрасного, существенное во всякой теории искусства, в

идеалистической эстетике представлялось исчерпывающим содержание искусства и противопоставлялось действительности.

«Эстетические отношения» — в высшей степени полемическое, воинствующее произведение. На материале теории искусства Чернышевский критикует основы старого взгляда на жизнь и защищает новое материалистическое мировоззрение революционной демократии. Поскольку проблемы общего мировоззрения излагались на материале эстетики, то разбор основной категории теории искусства — понятия прекрасного — представлял дело первостепенной важности. Только показав односторонность и, как следствие этого, несостоятельность идеалистического понимания красоты, Чернышевский мог опроки-

нуть общее учение идеалистов об искусстве и развить основы своего положительного материалистического мировоззрения.

«Прекрасное есть жизнь»: формула эта — центр всего эстетического воззрения Чернышевского. Для него неприемлем идеалистический взгляд на жизнь, обедняющий ее, отвлекающий от стремления построить ее лучше.

В эстетике Чернышевского, как и в эстетических суждениях Белинского, русский реализм нашел мощную опору для своего дальнейшего движения. И выход в свет нового издания исследования Чернышевского во многом помогает новым кругам читателей глубже понять пути развития русской общественной мысли.

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. Н. Толстой.
К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А 21135.

Подписано к печати 16/VIII-45 г.
8 1/2 печ. листов.

Тираж 31.000.

Зак. № 2015.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва.